ISSN 0131–6656

СМЕНА

ВЛАДИМИР НАБОКОВ • ВОЛШЕБНИК • МАРИНА КРЕТОВА • ПРЕКРАСНЫЙ СФИНКС

АЛЕКСАНДР БАХРАХ • РАЗГОВОРЫ С БУНИНЫМ

4-6'92

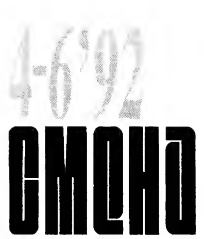
ЛАРИСА ИСАРОВА • ЗАПОНКИ ИМПЕРАТОРА

МИХАИЛ ЛАРИОНОВ. Лучистский пейзаж.

ЗЕРНА ЦВЕТА

(Читайте стр. 60)

Еврейская Венера.



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
Основан в январе 1924 года.

Сдано в набор 25.12.91.
Подписано к печати 26.03.92.
Формат 84×108 1/32.
Бумага газетная «Тампресс».
Печать офсетная.
Усл. п. л. 15,54.
Усл. кр.-отт. 17,64.
Уч.-изд. л. 23,10.
Тираж 2 416 000 экз.
Заказ № 1255.
Цена свободная.
101457, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14
212-15-07 — для справок
212-11-27 — отдел писем
212-23-79 — отдел молодежных проблем
251-04-10 — отдел литературы и искусства.
Типография издательства «Пресса», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
Рукописи, фото и рисунки не возвращаются.

4—6 (1530-32) АПРЕЛЬ — ИЮНЬ

В НОМЕРЕ:

На нашей обложке: Фотоэтюд ВЛАДИМИРА ПЧЕЛКИНА

К ЧИТАТЕЛЯМ «СМЕНЫ»

Те начальные прогнозы относительно будущего нашего журнала, о которых мы писали в №№ 1—3 с. г., к сожалению, начинают сбываться в худшем варианте. В связи с резким удорожанием всех работ и услуг издательство «Пресса» проинформировало нас о том, что денег для подписной кампании-92 хватает только на выпуск и рассылку трех номеров. Вот почему мы вынуждены в первом полугодии выпустить сдвоенные номера.

Наше обращение к Президенту Украины Л. М. Кравчуку с просьбой об оказании финансовой дотации Киевскому почтамту на доставку журнала украинским подписчикам тоже не принесло утешения. Из Киева получен вежливый отказ, мотивированный отсутствием источников доходов для финансирования доставки журнала украинским подписчикам до конца 1992 года. И хотя мы сообщали в предыдущем номере о том, что нами получены кое-какие дополнительные финансы для выпуска журнала, и их, увы, оказывается недостаточно в условиях нынешних инфляционных процессов. Все государства СНГ повысили тарифы на пересылку, экспедирование и доставку периодики, и получилось, что эти непредвиденные расходы легли тяжким бременем на плечи редакции. Но денег таких (а это десятки миллионов!) у нас не было и нет. Выходит, без вашей помощи и поддержки нам не обойтись.

Кстати, высказанное в № 2—3 предположение о том, что нам все же придется обратиться за финансовой поддержкой к вам, нашим читателям, нашло понимание с вашей стороны. Каждый, кто позвонил или написал в редакцию, прекрасно понимает, что те 24 руб. 60 коп., которые вы заплатили за «Смену-92», сегодня уже не деньги, и потому готов на дополнительные расходы, чтобы получать свой журнал. А другого выхода, дорогие наши читатели, поверьте, и быть не может. Очередной виток инфляции принесет изданию миллионные убытки, компенсировать которые можно только повышением подписной цены на него, а значит, необходимо оформление переподписки.

Итак, после тщательнейших расчетов наших экспертов-экономистов установлена цена одного номера «Смены» для жителей России — 23 рубля. Следовательно, на второе полугодие с. г. вы можете переоформить свою подписку по новой цене: на 3 месяца — 69 рублей, на 6 месяцев — 138 рублей. Причем сделать вам это надо обязательно до 25 мая с. г., ибо редакция должна рассчитываться с издательством «Пресса» заранее.

А вот цена одного номера «Смены» со II полугодия для читателей стран СНГ несколько выше — 25 рублей. Следовательно, стоимость переподписки на 6 месяцев — 150 рублей.

Конечно, мы понимаем, что кому-то из наших читателей сумма доподписки будет не по карману (кстати, можно ведь скооперироваться с соседями по дому, коллегами по работе, друзьями и знакомыми — тогда это будет меньшая сумма), кто-то просто осерчает на всех и вся и прекратит это бесполезное занятие — чтение газет и журналов, и все же надеемся, что своим искренним и честным отношением к главному делу жизни — изданию «Смены» — мы сохраним большинство наших подписчиков.

ГНЕЗДО

ВАЛЕРИЙ МАЙОРОВ

Ферму Сеппов в Коленковцах сыскать нелегко...

Село большое, по обе стороны от центрального, заасфальтированного большака уходят, плавно взбираясь на холмы, многочисленные улицы и проулки. Дома — в зелени садов, в каждом дворе колодец под оцинкованным верхом, украшенным затейливой резьбой,— своеобразный знак достатка и благополучия.

Даже памятник погибшим в войну односельчанам несет на себе какой-то подтекст уюта: на вершину классически строгой стелы «насажено» аистиное гнездо, свитое из хвороста столь искусно и прочно, что его не берут ни градобои, ни вихри, зарождающиеся от циклонов и антициклонов над соседними карпатскими массивами.

Что любопытно, не могли его в предыдущие «идеологически выдержанные» годы одолеть и те, кто усматривал в наличии гнезда на памятнике зловещее святотатство. Говорят, один важный заезжий чиновник даже особое внимание этому уделил — сильно нервничал...

Усадьба Сеппов, не отличающаяся от соседских, стоит на исходе одной из улиц. Ферма — в сотне метров вверх по косогору, стекающему по другую сторону в живописную долину, заросшую высокими травами.

В отличие от жилого дома ферма, прямо скажем, не ахти что из себя представляет. Но то, что им досталось в аренду, Сеппы довели до ума: ветер под крышей не гуляет, двери из петель не вываливаются. Какой-либо современной механизации в помещении нет (да и откуда ее взять за рубли, да по нынешним-то ценам), но животина — коровы, бычки, свиньи — содержится, как и подобает у настоящих хозяев. Впрочем, какой разговор! Могло ли быть иначе у людей, избравших фермерский образ бытия не с бухты-барахты, не в силу новомодных экономических поветрий, а подведенных к этому выбору всей предыдущей жизнью...

Неординарно складывалась она и у Марии, и у Вольдемара. Ход их судеб не отличается каким-то чрезмерным драматизмом, но если вглядеться, видишь упрямый до самоотверженности прорыв из убогого, серого существования к жизни, не просто материально обеспеченной, но соответствующей их характерам, натурам.

— Я родилась в тот год,— вспоминает Мария,— когда здесь только-только стали организовываться колхозы. Мой дедушка был, пожалуй, самым бедным и, видать, непутевым из всех сель-

АИСТА

Фото ИГОРЯ ЯКОВЛЕВА

чан. Его называли фантазером и мечтателем. А он даже расписаться не умел...

Она росла без родителей. В четырнадцать лет пошла работать в колхоз. Еще четырнадцать лет прошло, и, схоронив деда и бабку, оставив родственникам так и не получивший достатка домик, уехала из Коленковцев. Да не куда-нибудь — аж в Эстонию, которую «расписала» ей одна из подруг. Было это почти два десятка лет назад...

— Не хочу вдаваться в политику,— продолжает Мария,— но и тогда эстонцы жили по своим особым меркам. Московскую власть как бы не замечали, а своей не боялись и не ломали шапки перед начальством. Да и жизненный уклад отличался от нашего. В том же колхозе «Июни Выйд», где я работала дояркой, не было пьянства, растащиловки. Там я впервые почувствовала на себе, что такое культура в труде, в быту, в человеческих отношениях. Эстонский язык освоила довольно быстро, со многими сдружилась...

А чем приходится Эстония Вольдемару? Он эстонец. Правда, не коренной. Сибирского происхождения. Что, однако, не связано с обстоятельствами сталинских репрессивных времен. Еще в прошлом веке прадед Вольдемара переселенец Вильям Ливак, получив ссуду от царского правительства, основал поселение-факторию в томской тайге. Эстонцы, раскорчевав отведенный участок леса, растили хлеба, картофель, овощи. Развели сады. Держали скот. Занимались зимой охотой, пушным промыслом... С началом сталинских пятилеток на их благополучии был поставлен, естественно, крест. Одних «раскулачили» со всеми вытекающими последствиями. Других «переориентировали» на лесоразработки без отрыва от места проживания. Здесь, но уже в брежневскую пору, и начал трудовую жизнь Вольдемар. Понятно, без каких-либо радужных надежд, но с мыслью о возвращении на родину предков.

Так в «Июни Выйд», кроме доярки с Буковины, появился и тракторист из Сибири. Вскоре они сыграли свадьбу...

Построили Сеппы в Коленковцах красивый и просторный дом. С гаражом, пристроенным загодя («Жигули» в нем появились лишь в прошлом году). Обставили мебелью, привезенной из Эстонии. И, по их выражению, зажили, как все.

— Потом и сюда дошли перемены. И мы бросились в омут фермерства,— говорит ироничный Вольдемар.

Три года назад они были в числе первых смельчаков, что решились хозяйствовать самостоятельно, хотя и по сию пору под этим



Черновцы.
Дождливый
полдень...



Новая мода
на старой улочке.

следует подразумевать целую систему больших и малых зависимостей от колхоза, от сельсовета, от районных и областных властей. Что в России, что на Украине — картина одинакова: реформы в сельском секторе экономики, несмотря на уже солидную нормативно-правовую базу, идут нелегко. И дело, понятно, не только в сопротивлении консерваторов. Надолго бы их хватило, если бы не инерция общинного мышления, укорененного в народном сознании? В начале прошлого года по всем колхозам и совхозам области прошло анкетированное обследование: изъявило желание стать арендаторами, фермерами около ста семей. При том, что сельских дворов — 190 тысяч...

На стороне защитников командно-колхозной системы есть и другие доводы. Во-первых, худо-бедно, но все хозяйства области справляются с планами и не ходят в должниках. Во-вторых, и так немалую долю в продовольственный баланс Буковины вносят личные подворья и приусадебные участки. (Например, в них производится сорок процентов молока, почти пятьдесят — мяса, свыше шестидесяти процентов — яиц.) Ну, а в-третьих, что самое главное, область малоземельна. В пересчете на каждого жителя приходится лишь по 38 соток пахотной земли... Да при таком раскладе вообще нельзя говорить о переходе к фермерской системе хозяйствования!..

Нет уж, извольте, оппонировали консерваторам голоса из демократического стана, имеющего немалое число своих депутатов в городском и областном Советах. Вы говорите о малоземельности? Но аналогичные показатели в Бельгии, Голландии, немецкой Баварии. Причем там треть угодий не используется, находясь — как того требуют наука, современная технология — в резервном фонде. У нас же колхозы варварски используют землю, она истощается. Надолго ли ее хватит? Подсобные хозяйства — безусловно, подмога. Но проценты выглядят оптимистично лишь на фоне невысокого уровня производства мясо-молочных продуктов в области, специализирующейся на сахарной свекле и льне (в горных районах). В абсолюте же 66 тысяч коров и 12 тысяч свиней, приходящихся на 190 тысяч дворов,— эти цифры не свидетельство ли упадка? А если сравнивать продуктивность голландского, скажем, гектара с нашим? Да что тут цифры вообще? Продовольственные карточки и пустые прилавки лучше любой агитации и наглядности...

Один из лидеров демократического движения, профессор Черновицкого университета Тарас Кияк, говорил мне:

— Частная ферма, колхоз ли, артель — пусть люди сами выбирают формы хозяйственной деятельности. Но одно бесспорно: у земли должен быть хозяин, истинный владелец. Заинтересованный, умеющий использовать ее с расчетом и умом, с нравственной заботой о том, что останется наследникам. Есть такие люди на Буковине? Конечно. К счастью, в нашем крае не выбита до основания предпринимательская жилка в людях. И еще не сошло на нет поколение, которое несет в себе живую память о прежних хозяйственных особенностях и традициях Буковины.

...Я поинтересовался, а как к ним, Сеппам, относятся сельчане. Ответила Мария:

— Некоторые сторонятся. Косо смотрят. Видно, думают, что денег куры у нас не клюют. Да и наезды всяких инспекторов и контролеров подливают масла в огонь:

дают пищу для пересудов. Но это все политика. Пройдет. Переработать надо...

Мне понравилось это — не пережить, а ПЕРЕРАБОТАТЬ. Да ведь в этом и есть, наверное, смысл текущего, как говорится, момента.

А работают Сеппы много, со вкусом, без выходных. Их хозяйство: 4 коровы, 20 бычков, столько же свиней. И 16 гектаров земли. Есть техника — два трактора (колесный и гусеничный) и, чему могут позавидовать другие, минитрактор харьковского производства. Часть техники продана в рассрочку колхозом, часть сами купили, взяв в банке ссуду. Шестую часть всех долгов уже погасили. Мы прикинули: если бы все колхозы страны работали с такой интенсивностью и производительностью, то полмира могли бы кормить.

Их продукция: около 30 тонн мяса в год, 50 литров молока ежедневно. Продукцию сдают колхозу — по его, разумеется, расценкам. Если б выходили напрямую к покупателю или торговцу, доход увеличился бы как минимум в полтора раза.

— Не обидно? — спрашиваю.

— А что обижаться? Колхоз сам в тисках находится... Что у нас проблема с запчастями, что у них... Пройдет.

Не было б в это веры, что наступит лучшее, разумное время, стоило б тогда Вольдемару добиваться разрешения рядом с их земельным участком вырыть небольшой ставок, зарыбить его карасями и карпами? Людям для красоты и пользы...

— Начнем с «Парижа»... Этот отель был в угловом здании, на котором сейчас вывеска «Товары для мужчин». В его цокольном этаже размещалось кафе «Габсбург» — любимое место встреч литераторов и журналистов. Правее, там, где книжный магазин, был отель «Бельвю». За ним, по другую сторону улицы,— «Централь». Сразу за ратушей — «Россия». Отель «Верховина», который прямо перед нами, назывался «Черный орел», позже — «Золотой лев». Служил резиденцией для коронованных особ и лиц государственной важности. Вот там, возле церкви Параскевы, был отель «Молдавия», имевший зрительный зал, где давал спектакли первый в истории города театр...

Этот рассказ я слушал на Центральной (Ратушной) площади Черновиц, любуясь старыми зданиями, окружающими ее по периметру. Мой добровольный гид Александр Масан, встречи с которым я искал, прочитав несколько его статей в местных газетах, симпатичный бородач средних лет — знаток истории Буковины и особенно Черновиц. Знает массу интереснейших деталей и подробностей. А рассказать действительно есть о чем. Даже историко-политическая судьба этого края уникальна, на территории бывшего Союза нет ей аналогий и подобий.

«Советский энциклопедический словарь» сообщает о Черновцах предельно коротко и скупо: с 1408 по 1775 год город находился в составе Молдавского княжества. Затем до 1918-го — в составе Австро-Венгерской империи. Потом до 1940 года — в Румынии...

Оч-ч-чень неудобная для господствовавшей идеологии история. Настолько, что составители и редакторы даже забыли упомянуть тот «выигрышный» факт, что появление предшественника города — поселения Черн на берегу Прута относится к десятому веку, времени расцвета Киевской Руси, простиравшей свои земли от Балтийского до Черного моря, от Карпат до Оки и Волги. Забыли





Сладок мед в прекрасном улье...

и о том, что имя Черновиц упомянуто в «Списке дальних и ближних русских городов», относящемуся к 1396 году. Не посчитали нужным даже сообщить, вследствие чего в сороковом году нашего столетия Черновцы вошли в состав Украины.

Ну да ладно. Дело не в исторических тонкостях. Для интересующихся они не представляют секрета. Равно как не предоставляют шансов не в меру горячему политику разыграть их в пользу какой-либо запредельной стороны.

Интереснее и важнее другое.

Вот цитата из большой статьи немецкого историка и журналиста Георга Гайнцена, опубликованной в феврале прошлого года в газете «Райнишер Меркур»: «Черновцы — это город, который был негласной столицей Европы, где пели лучшие колоратурные сопрано, а улицы подметали букетами цветов, где собакам давали имена олимпийских богов, а голуби склевывали с тротуаров стихи Гельдерлина».

Саша Масан, как истинный патриот своего города, не позволяет себе восторженности:

— ...Здесь процветали народные ремесла и торговля. Один штрих: в Черновцах были две биржи, считавшиеся крупнейшими в Европе,— лесотоварная, куда за строевым лесом приезжали даже из Африки, и крупного рогатого скота. Отсюда вышли все прародители нынешних высокопродуктивных мясных и молочных пород.

Наверное, удивлю читателя, но в четырех странах — Польше, США, Израиле, Германии — существуют специальные институты Буковины, собирающие и изучающие материалы по истории, экономике и этнографии этого небольшого края.

В нашем государстве, как вы понимаете, все это замалчивалось, давилось на корню.

Тут я предоставлю слово еще одному моему собеседнику — Петеру Зигмундовичу Деманту, живущему ныне в Москве. Правда, перед этим надо сказать и о нем самом...

Ему сейчас 74 года. Родился в Италии, но с младенческих лет жил в Черновцах, считая город этот фактической родиной. Сын блистательного штабного офицера австро-венгерской армии, которому после поражения и распада империи — согласно принципам Версальского договора — предложено было служить под румынской короной. Закончив гимназию, Петер учился в институтах Брно и Аахена. В 40-м вернулся с дипломом в Черновцы и стал работать в местном краеведческом музее научным сотрудником этнографического отдела, специалистом по истории оружия и народных обычаев. (Такая деталь: экспозиция по истории гуцульского быта, демонстрировавшаяся в начале 41-го года в Британском музее, была подготовлена Петером Демантом...)

— Отличительной особенностью Черновиц было то,— рассказывает Демант,— что здесь сошлись, существуя самодостаточно и в то же время тесно соприкасаясь друг с другом, несколько национальных бытовых культур. Мирно, дружественно соседствовали украинцы, румыны, поляки, евреи, немцы — это что касается наиболее крупных общин. Каждая из них имела облюбованную часть города, слободу, но в целом городское пространство было неделимым, общим. Никогда не возникало каких-либо межнациональных конфликтов. Не было проблем и в языковом общении. Все независимо от социального положения говорили на трех-четырех

языках. Не будучи полиглотом, невозможно было поступить на государственную службу. Особо надо сказать и о той толерантности, которая царила, став естественным состоянием, в религиозной сфере. В Черновцах было представлено такое количество конфессий, как нигде в мире, разве что можно сравнить с теперешним Нью-Йорком. Православные, католики, греко-католики, армяно-католики, протестанты, лютеране, иудеи, иеговисты, пятидесятники — и все это не в каком-то фантастическом мегаполисе, а в городе небольшом, чье население едва достигало двухсот тысяч.

— С началом войны,— продолжает Петер Зигмундович,— равновесие нарушилось. Как теперь известно, пактом Молотова — Риббентропа была предрешена и судьба Северной Буковины. Сначала из Германии прибыли эмиссары, организовавшие выезд черновицких немцев в фатерлянд (с разрешенными пятьюдесятью килограммами багажа на каждого). Тут объявились и антисемиты, гонители других вероисповеданий... Ну, а с сорокового года началась новая история города.

Его отца уже не было в живых. Мать уехала на родину, в Вену, уговаривая и сына последовать за ней. Но он остался. Вскоре Северная Буковина вместе с Бессарабией вошла в состав Союза...

Сотрудник Черновицкого областного архива Сергей Халаим, знакомивший меня со старыми документами, разыскал газету, о которой вскользь упомянул как-то Демант. В одном из апрельских номеров 1941 года «Радянська Украина» напечатала снимок с подтекстовкой: «Лаборант Черновицкого краеведческого музея П. Демант осматривает старинный турецкий карабин XVII столетия. Такими ружьями были вооружены запорожские казаки».

Вскоре после этой публикации Петер, снимавший квартиру на улице Русской, был арестован НКВД. Срок закончился с началом хрущевской «оттепели». Но вернуться в Черновцы ему было не суждено. В западных областях страны не прописывали бывших зэков, не имеющих здесь прямых родственников. У Деманта в Черновцах уже не было ни прямых, ни косвенных.

Негласными инструкциями предусматривался еще один путь к возвращению: через покаянное письмо с восхвалением советского строя, с обязательной публикацией сего в местной печати. Но в чем ему было каяться? В том, что закончил лучший в Германии университет? Что не уехал с матерью в Австрию? Что, воспитанный с детства в спартанском духе, физически сильный и выносливый, не сгинул в лагерях Дальстроя, а потом на Колыме?

В Черновцах на улице Русской, начинающейся от Ратушной площади и метров через пятьсот подводящей к недавно отреставрированному и заново открытому храму, я побывал не один раз. По соседству с тем домом, где полвека назад жил Демант (в войну город почти не пострадал, судьба, как и во все предыдущие ратные периоды, словно бы выбрала его для уцеления, оградив от пронесшихся рядом сражений), находится «территориальное межотраслевое производственное объединение».

Так традиционно длинно, скучно и малоразборчиво называется одно из новых управленческих подразделений горисполкома. Сотрудников тут немного, еще меньше кабинетов, но есть кое-какая оргтехника, без которой сегодня деловым людям не обойтись. Эта


Узоры жизни.



контора (не вкладываю тривиального смысла в слово) призвана сыграть немалую роль в становлении нового хозяйственного механизма в области.

— Мы ищем предприимчивых людей, помогаем им создать предприятия, наладить связи...— говорит заместитель начальника объединения Василий Долгов.— Вряд ли у нас реформы будут проходить столь стремительно, как в России. Пока что мы стараемся развить широкую сеть муниципальной собственности. Наши директора, менеджеры, предприниматели увязывают интересы собственного бизнеса, интересы свободного рынка, с экономическими и социальными интересами области, города. Например, как создать в каком-нибудь поселке предприятие, если там элементарно нет свободных помещений? Значит, необходимо строить их... Вот мы и делаем упор на создание в области небольших заводов, малых предприятий по изготовлению кирпича, строительных деталей из древесины...

— У вас есть план, утвержденный кем-то вышестоящим?

— Упаси господь... Все на чисто предпринимательских началах. Но программу развития разработали. При объединении работает специальная экспертная группа, которую возглавляет кандидат экономических наук Ольга Степанова. Нашим опытом, кстати, заинтересовались в других регионах республики...

Сейчас (а это сентябрь 1991 г.— В. М.) в области действует около двухсот кооперативных и малых предприятий. Выпускают спортинвентарь, бытовые товары из пластмассы, инструмент и оснастку для домашних и садовых работ, коляски для инвалидов. Нашлись мастера, наладившие производство конных повозок и таратаек. Все это производится в невеликих количествах, и проблем с сырьевыми ресурсами, материалами при этом — снежный ком. Но важно то, что ледяная глыба сдвинулась с места. Подтаяла, покрылась трещинами и промоинами. Хватило бы свежего ветра и ясной погоды, чтоб быстрее вытолкнуть ее к большой воде!

Заместитель председателя горисполкома Евгений Кривой оптимистичен:

— Мы получаем статус территории наибольшего содействия во внешнеэкономической деятельности. Сказывается опыт культурных и экономических связей области с канадской провинцией Саскачеван. Там проживает много выходцев из Северной Буковины. Да что говорить, если нынешний генерал-губернатор Канады Рамон Гнатишин и председатель Черновицкого облисполкома Иван Гнатишин — братья... Укрепляются связи и с европейскими странами — Германией и Австрией в первую очередь.

Согласен, оптимизм не на пустом месте. Уже возродилась (воспользовавшись прежним именитым названием) Буковинская универсальная биржа, которая подстегивает производителей выпускать товаров больше и лучшего качества. «Воскрес» скотный рынок в Клишковцах. Год-два — глядишь, заработает он в Новоселице, куда съезжались скотоводы и торговцы со всей Буковины...

Придет свой час и для Сеппов Мария и Вольдемар уверены в этом.

Все познал этот благодатный край. Блеск славы и почитания. Мир, трудолюбие и естественность людского сосуществования. Жестокость и нетерпимость фанатиков и палачей.

Из этого города шагнули к вершинам вечной памяти потомков люди, ставшие национальной гордостью трех народов. Украинцев — писательница Ольга Кобылянская. Румын — поэт Михай Эминеску. Французов — поэт Пауль Целан. В этом городе провел счастливые дни Ференц Лист. И здесь закончилось подвижничество великого русского ученого Николая Вавилова.

Саша Масан показал мне окно того гостиничного номера, где был арестован знаменитый генетик.

Он по всему миру отыскивал хлебные злаки, чтобы найти и сгенерировать в будущих урожаях лучшие качества зерна. Его образ мне представляется символичным в наши тревожные дни, когда на одной шестой земной суши бродит призрак вражды и погибели.

Насчет призрака, может, и преувеличено. Под воздействием памяти о другом, капитально рассыпавшемся призраке, что когда-то привиделся основоположнику «всепобеждающего» учения...

Мы все сейчас живем словно в черновике. Не дай Бог, если в то, что хотим создать, перекочует основополагающий марксистский постулат насчет того, что без антагонизма невозможен прогресс. Он опровергнут историей.

И нашим печальным опытом.

А чем же закончилась история с аистиным гнездом? Важное лицо, чертыхнувшись в сердцах, уехало. Аисты остались...

КОНКУРС ДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

ВЛАДИМИР СОРОЧКИН
ОЛЕГ ДОБРОВОЛЬСКИЙ
ЛЮДМИЛА ДЕСЯТНИКОВА-МАРИНИЧ
ЮЛИЯ НОВОСЕЛОВА

СЕРГЕЙ ЗРИНЧЕК
НИНА ВИНОГРАДОВА
СВЕТЛАНА ОРЛОВА

ВЛАДИМИР СОРОЧКИН,

30 лет,
механик-проводник,
Брянск

БЕЛЫЕ УЛИЦЫ

Наши встречи начертаны снегом:
Не узнать ни единой черты,—
И метель переменчивым бегом
Не спеша заметает следы.

И неведом исход поединка
За себя, и у всех на виду —
Только снег, только снежная дымка
Да слова, как костер на ветру.

Все ей мало, зиме,— как ни прочишь,
А повсюду — нехоженый наст,
Все позволит — чего ни попросишь,
Да назад ничего не отдаст.

И метет, и метет... Тлеет утро,
И теряет остатки примет,
И стоим мы с тобою, как будто
Лишь сейчас появились на свет.

Но я знаю, как всякий безумец,
Что среди переметных снегов
Белый бог замороженных улиц
Не оставит своих должников...

ОЛЕГ ДОБРОВОЛЬСКИЙ,
16 лет, учащийся,
Москва

Глядится ночь в окно насмешником заплечным,
Снега спокойно спят, укрывшись синевой,
И звезды говорят на призрачном наречье,
Грядущему вручив державный посох свой.

Из мыслей о себе я изгоняю славу,
Снега спокойно спят, и не скрипит порог.
В оркестре врет труба, и Моцарт пьет отраву,
И на вопрос: «Судьба?» — мне отвечают: «Бог».

ЛЮДМИЛА ДЕСЯТНИКОВА-МАРИНИЧ,
27 лет, работник
архива, Бердянск

Не проклинаю, просто люблю.
Молитвы и просьбы — все мимо ушей.
Ну что же. Вина пригублю.
Поставлю капкан на мышей.
И черные мысли — за двери взашей.
Губы намажу. Глаза подведу.
На ужин сварю вермишель.
И буду сидеть, никуда не пойду,
И буду глядеть, пока не войду
В глаза твои, два переулочка,
Два тупичка, где я дурочка.
Соли достану. Хлеба куплю.
Не проклинаю. Просто люблю.

ЮЛИЯ НОВОСЕЛОВА,
18 лет, студентка,
Екатеринбург

ЖЕЛТАЯ ПЕСНЯ

Пожелтевшие звезды
похожи на желтые ямы
и на желтые лики
деревянных святых.

Облепиха созревшая
почему-то не гроздьями,
хотя тоже на желтый мотив.

А когда синяки
на руках пожелтеют,
я сама пожелтею
и стану листом,
а мой стих
кто-то в желтую
глину посеет,
там,
где раньше стоял
мой облупленный дом.

СЕРГЕЙ ЗРИНЧЕК,
28 лет, врач,
Санкт-Петербург

ГОЛОС

Крыши и мосты. Звезды — в перерыве.
Голос на ветру
Вот уже на срыве.

Ночь! Она — пластом... Ледяны объятья.
Лучше обойдем
Стороной, не глядя.

Звезды на мосту. В небесах — секиры.
Память на посту — порванная Лира.

НИНА ВИНОГРАДОВА,
33 года, машинистка,
Харьков

ТРЕТИЙ СОНЕТ

Я знаю, сколько стоит тот покой,
что осеняет раковину рта:
владенье языком, владение собой.
Герб — старый дом, и в доме —
пустота.

Я знаю, что окрашивает щеки:
то не румянец и не блеск зари,
то отраженье светофоров одиноких,
когда машин уж нет, а он — горит.

Я знаю перечень для нас запретных тем
и не осмелюсь задавать вопросы
о той непостижимой высоте,
где дух твой зиждется на дыме папиросы.

Мне кажется: там, наверху, столь чистый
кислород,
что каждый, кто хоть раз его глотнул —
умрет.

СВЕТЛАНА ОРЛОВА,
30 лет, преподаватель,
Кемерово

═

Вырыскивали звери, высвистывали птицы,
Свои цветы выпрастывал
какой-то куст колючий,
А мой прозаик праведный вымудривал страницы,
Вышагивал по комнате и половицы мучил.
Вышаливались дети, высмеивались лица,
Вышаривало солнышко — куда бы лишний лучик,
А мой прозаик праведный вымудривал страницы,
Вышагивал по комнате и половицы мучил.
Вышучивались люди, выглаживая ситцы,
Вынашивали женщины в душе
счастливый случай,
А мой прозаик праведный вымудривал страницы,
Вышагивал по комнате и половицы мучил.

За пыльной, плотной шторою он о весне писал.

ЧИТАТЕЛЬ•«СМЕНА»•ЧИТАТЕЛЬ

«Мама, нет на свете милей тебя»?
Работа – не роскошь...

Нас в семье четверо — сестер трое и наша мама, милая, добрая и хорошая наша мама. Нашу семью смело можно отнести к числу так называемых малоимущих. Иначе и быть не могло. Отец бросил нас сразу после рождения младшенькой, бабушка вскоре умерла. Так что помощи ждать было неоткуда. Ох и тяжело было нашей мамочке. Вырастить троих — это в наше время подвиг! Сколько себя помню, мама постоянно в работе. И в праздники, и в выходные, да еще по две смены. Она, хорошая наша, видела, знала, что мы тоже хотим конфет и фруктов, что нам хочется платье, как у соседской Юли. Она все понимала. Так что мы не были обделены: были у нас и красивые куклы, и чудесные книжки с картинками, и веселые разноцветные карусели... Но были и такие дни, когда мы жили, в полном смысле слова, на воде и хлебе, бывало, что зимой приходилось ходить в туфлях. Естественно, донашивали вещи друг за другом, так что младшая иногда ходила в латаном пальто... Всякое бывало.

Но вот мы стали взрослыми (старшая уже замужем). Маме сейчас пятьдесят. Не скопила она за свою жизнь даже двухсот рублей, а ведь лодырем и тунеядцем ее не назовешь. Она, бедненькая, в свои пятьдесят плохо видит, страдает болезнью сердца, почек, у нее больные ноги. И все это от непосильного труда.

Теперь все мы работаем и учимся.

У нас много друзей, много интересов, много планов на будущее. А вывела нас «в люди» мама. Свое здоровье и лучшие годы жизни она отдала нам, и я уверена, что не одна наша мама такая. Слава Богу, на земле живет много похожих на нее женщин, святых матерей-тружениц. И пусть не скопила она тысяч за свою жизнь, пусть в гардеробе у нее одна юбка и кофта, от этого не станем мы ее меньше любить. Я не представляю, как можно бросать своих матерей. Ведь это же самое родное, самое близкое, что есть у нас. Бросать матерей на произвол судьбы — это преступление! И я просто прошу всех-всех: не обижайте, не бросайте матерей. Вспомните бессонные ночи, которые проводили они с вами, вспомните их счастливые лица, когда удача и успех улыбаются вам, вспомните их грустные глаза, когда вы невольно их чем-то обидели. Берегите матерей, чтобы у их гроба не рыдать и не проклинать себя за небрежное отношение к ним.

Я хочу пожелать счастья

и радости, много улыбок и побольше здоровья всем матерям, а особенно моей мамочке — Любови Алексеевне Ефимовой.

МАРИЯ ЕФИМОВА, Киев

Много лет на моем сердце лежит тяжесть — злая мать. Может, вам трудно представить это? Даже сейчас, в тяжелые дни, когда семьи испытываются на прочность, в стране нашей, как ангелы Божьи, живут милые, ласковые, добрые, терпеливые женщины. Они стоят в бесконечных очередях, они устают на работе, им трудно, но они умеют радоваться маленьким удачам, когда думают о своем муже, детях, родных. Эти женщины несут в семью радость. Они счастливы уже потому, что облегчают своим теплом жизнь близких людей. Храни их Бог!

Но есть и другие, они-то при любой жизни, даже при отсутствии бытовых проблем, умеют отравлять жизнь ближним. Нет, на работе они часто добросовестные, исполнительные, но дома — постоянно раздраженные, вечно злые, орущие. Мне больно об этом рассказывать, но такая женщина 19 лет назад стала по воле судьбы моей матерью. Окружающим наша семья кажется образцовой — просто мы с отцом не привыкли жаловаться. Вот и коплю я в себе свою боль. Среди подруг, в институте, я всегда веселая, вне дома пытаюсь отдохнуть душой, никогда не позволяя себе выйти из дома с заплаканными глазами. Как не хватало мне в детстве нежности, ласки, материнской любви. Если у матери бывали неприятности на работе, в семью она приходила волком. Все раздражение, всю злость она срывала на мне и моей бабушке (своей матери), потому что сорвать зло на отце моем было опасно — мог и ударить. Мои родители никогда не пили, не гуляли, но от матери я почти каждый день слышу мат. В детстве она никогда не ласкала меня, а когда я пыталась ее обнять, то грубо меня отталкивала и кричала, что я дура и б... Теперь кричит, чтобы я сдохла. Но я чиста перед Богом и собой, у меня никогда не было друзей-мужчин, я пресекаю знакомства на корню, хотя я красивая; я хочу остаться девственницей и к сорока годам уйти в монастырь, стать невестой Христа. Спасибо моей бабушке, она не смогла заменить мне такую мамочку, о которой я мечтала, но воспитала меня по-старинному, в строгости. У меня высокие нравственные принципы, я нахожу утешение и счастье в вере в Бога: только вера уже десять лет дает мне желание жить.

Я пытаюсь помогать своим подругам чем могу, и очень благодарна им за то, что они не отвергают мою помощь. Чем больше плохого делает мне мать, тем больше моя душа стремится жалеть подруг. Но я очень боюсь, что когда-нибудь стану такой же, как мать. Я по характеру такая же злая, как и она, часто раздражаюсь по пустякам, во мне копится злость и ищет выхода — тогда я иду в храм, только там находя успокоение. В детстве моя мать пыталась сделать так, чтобы я беспрекословно ей подчинялась, поэтому я теперь стала очень нерешительной и не могу уйти из семьи и попытаться жить самостоятельно — смелости не хватает. Я пытаюсь

быть не похожей на мать, мне очень плохо дома, но каждый день я иду домой, не имея сил изменить свою жизнь.

Я должна жизнью искупить грехи матери, иначе я передам эту муку своим детям. Я создана по образу матери, но не хочу быть такой, как она, и поэтому мне, к сожалению, нельзя иметь семью, мне никогда не позволит совесть погубить мужчину и детей своих, как делает это каждый день мать со мной и с отцом, который стал полностью ей подчиняться.

Если вы опубликуете письмо, то я прошу таких же несчастных, как я, написать мне. Я сумею психологически поддержать страдающих.

СВЕТЛАНА ЕГОРОВА,
Санкт-Петербург

Уважаемая редакция!

Я, бывший шахтер, в результате плохой организации труда и изношенности шахтного оборудования получил увечье (лишился пальцев на левой руке). Я зарабатывал 500 р., а теперь у меня вместе с компенсацией 150 р. Врачи запретили работать по специальности (я электрик), другой специальности нет, а я человек практически здоровый и хочу работать, но ни одна организация меня на работу не берет.

Вступил в общество инвалидов нашего города, где есть кооператив, в нем работают тоже инвалиды. Ребята оттуда согласны меня взять на работу, если я куплю для их видеомагнитофона фирмы «Хитачи» видеокамеру той же фирмы или любой японской, как объясняют, только с большими кассетами.

Мои родственники собрали 25 000 рублей, если не хватит — помогут друзья-шахтеры, но как мне найти эту камеру, минуя комиссионный, где цены мне недоступны?

Хотел заняться бегом или плаванием, чтобы отвлечься, но с такой рукой неудобно выходить на улицу, мне нужен протез, который бы меня не оскорблял. В Оренбурге мне сказали: «У вас неудобная культя, вот если бы отрезать еще последний палец, то мы помогли бы с протезом», но я не согласился, тогда они развели руками.

Я не знаю адреса пункта протезирования, где мне помогли бы. Дорогая редакция, если не трудно, дайте хоть какой-то совет.

ГАФУР САИТОВ,
г. Гай Оренбургской обл.,
ул. Ленина, 52, кв. 7,
или общество инвалидов г. Гая

От редакции. Публикуя это письмо, мы очень надеемся, что найдутся люди, которые дадут Гафуру не только добрый совет, но и окажут ему конкретную, осязаемую помощь.

В рубрике «Читатель — «Смена» — читатель» меня до глубины души возмутило письмо ветерана И. В. Мартынова из г. Иваново (№ 10 за 1991 год). В одном я с ним полностью согласен: да, сейчас много говорят и пишут о милосердии, о благотворительности, но только говорят, демонстрируя понимание проблем жизни инвалидов, и сразу забывают о сказанном, как только надо переходить к делу.

Сколько законов, указов, постановлений остается на бумаге, как только дело касается нормализации жизни инвалидов. Есть, например, постановление о двухпроцентной квоте рабочих мест для инвалидов, а при переходе на хозрасчет еще три

года тому назад с российских предприятий уволили около 100 тысяч инвалидов. При переходе к рыночным отношениям нас, инвалидов, первыми сокращают, а трудоустроиться просто невозможно. Надомный труд — это самое настоящее издевательство и прямая эксплуатация, самая низкооплачиваемая, механически однообразная, грязная работа. К примеру, предприятие «Автодеталь», переданное в ведение областного правления ВОИ, предлагает для изготовления на дому висячий замок. Это ручная клепка на дому, слесарная обработка деталей, масло, каустик и другие прелести в квартире панельного дома и всего за 4,5 копейки. Образование получить хотя и с огромным трудом, но можно, а кто-нибудь хотя бы раз подсчитал, сколько дипломов с отличием лежит у инвалидов без пользы? Среди нас много экономистов, врачей, биологов, историков, юристов и т. д. Прежде всего я говорю об инвалидах 1-й группы и инвалидах 2-й группы с нарушением опорно-двигательного аппарата. Что толку в высшем образовании и умелых руках, когда выйти из квартиры без посторонней помощи нет возможности?! Государство сознательно лишило инвалидов социальных и правовых гарантий, и никакими подачками это не возместить.

Общество инвалидов, созданное почти четыре года назад, первым делом занялось и до сих пор занято выколачиванием средств на огромный административно-командный аппарат, шестьдесят пять процентов которого составляют бывшие управленцы и партаппаратчики, инвалидность получившие с уходом на пенсию. В Нижегородской области 58 районно-городских правлений ВОИ плюс одно областное, и съедено ими за год от 500 до 700 тысяч рублей. Вот и посчитайте, во сколько это обходится бюджету России. Было, правда, постановление СМ РСФСР № 42 о снятии ВОИ с бюджета и переводе на самофинансирование. В Нижнем Новгороде под это постановление областному правлению передано уже пять предприятий, но инвалиды даже здесь, в городе, от этого ничего не имеют. Прибыль с этих производств пойдет на оплату управленческого аппарата. Создать у себя в районе предприятие невозможно — нет средств.

Бастовать инвалиды не могут, голодовку объявить? — чудовищная мера. Что же делать? Сейчас еще многие держатся, реставрируют старую обувь и одежду, ну, а когда будет нечего латать?

Е. КОЛМАКОВ,
Нижний Новгород

В № 3 «Смены» за 1990 год была напечатана статья Ольги Кузьминой «Шаг от боли», в которой рассказывалось о работе биотерапевта Николая Константиновича Кузьменко. Я благодарю вас за эту публикацию, потому что я и мои дети прошли курс лечения у Кузьменко, и в результате мы избавились от изнурительных хронических заболеваний: я — от долго мучивших болей позвоночника, рук, ног, головы; сын, страдавший энурезом, уже полтора года здоров в этом отношении, перестал он и заикаться; дочь, постоянно страдавшая от бронхитов, также полтора года чувствует себя прекрасно.

Мы низко кланяемся доктору Кузьменко Н. К. за его талант, терпение, доброту.

Г. Б. ЕГОРОВА,
Москва



МАРИНА КРЕТОВА

ПРЕКРАСНЫЙ СФИНКС

«Я бы сказал, что Вы сфинкс, но он не довольно красив».

(Из письма И. С. Тургенева Ю. П. ВРЕВСКОЙ.)

«Свято-Троицкая община сестер милосердия с прискорбием извещает, что в г. Белая (Болгария) скончалась после тяжелой болезни вследствие неусыпных трудов по уходу за ранеными и больными воинами сестра Красного Креста, прикомандированная к Свято-Троицкой общине, баронесса Юлия Петровна Вревская».

Когда я первый раз взглянула на фотографию Юлии Петровны Вревской, ее лицо меня поразило. Ничего еще не зная о ней, привыкая только к звуку незнакомого имени, я уже предчувствовала что-то тайное, неясное, трагическое в ее глубоком, темном взгляде, в складке у губ, в руках, скрещенных на белом фартуке сестры милосердия.

Что же привело баронессу, придворную даму, первую красавицу Петербурга, богатую, чуждую любому физическому труду, утонченно воспитанную и образованную, в Болгарию, в военный госпиталь и побудило выполнять грязную, изнуряющую каждодневную работу сестры милосердия? Мыть, чистить, кормить, стирать, утешать, хоронить... и снова мыть, убирать, стирать...

Рисунок ИГОРЯ ГОНЧАРУКА

Зачем, отвергая уговоры сестры, брата, друзей, высокопоставлеииых особ, добивалась оиа отправки иа фроит, продала Орловское имение и иа свои деиьги собрала санитарный отряд?

Несколько писем н одиа фотография. Пожелтевшая, истоичнвшаяся бумага, выцветшие чериила; еще иемиого времени, и все это нстлеет. Также и Ваш дагерротип. Коиечио же, спасибо этой едииствеииой уцелевшей фотографни (их было миого, Вы любили сниматься, вот н Тургеневу посылали), что можио увидеть хотя бы застывший слепок с Ваших черт (вот чем со временем стал ваш снимок), но, родись Вы иемного раньше, нашему воображеиию ие за что было бы зацепиться. Хотя кое-кто пару слов о Вашей внешиости все же сказал. Например, граф Соллогуб в письме поделился с адресатом, что Вы прелестны н не только внешне; некто Ободовский сообщил, что черты Ваши «чнсто русского типа», да Ваш будущий супруг, Ипполит Александрович, в письме брату похвастался, что юиая иевеста высока, лицом бела, голубоглаза и белокура. И еще добавил: успокойся, дескать, ие я придумал, что она красавнца, таково миеиие общества. Значит, вообще был склоиен к преувеличениям. Да и сказать о женщине, что оиа голубоглаза и белокура,— зиачит почти ничего не сказать, так как каждая третья женщина иа Руси такова. Да н «прелестна» Соллогуба тоже смахивает иа светскую отписку. Что же вы, господа, не иашли слов для ее глубокого н темного от задумчивости взгляда, для смелого разлета бровей, для иежиого рисуика большого чувствениого рта, безукоризиениого овала щек, чистого и ровного пробора в густых волосах? Что же вы ничего не сказали о грации ее походкн и умении сидеть, как сидят королевы, значнтельио и иебрежно, чуть склонив голову к правому плечу, вольио бросив левую руку иа колеио, когда каждая складка платья, каждая часть тела находится в гармоиии ие только друг с другом, ио и с духом обладательницы. Что же вы ничего ие сказали о ее избраииости в зиачении прямом, то есть «лучшее, отбориое», о ее аристократизме, которым в конечном итоге и объясияются все ее поступки (от сдержаниости в письмах и чувствах до умеиия выбрать н прннять с достоинством любую судьбу, от опалы при дворе до стирки гнойных, пропахших мочой рубах н, наконец, до уннчтожения личного архнва в случае смерти)? Что же вы ие сказали о главном в ней, господа? А ведь вы же видели ее живую, горячую от кровн; видели, как она смеется, и слышали, как говорит, какой у нее голос — высокий или низкий, грудиой или резкий,— как мало вы обращали внимания, а считалось, что влюблены...

В одной газетной заметке писали: родилась в 1841 году на Кавказе, что выглядит вполне достовериым, а в статье Вылчо Куртева (болгарского профессора) по-другому: родилась в Старице, уездиом городе Тверской губериии, год рождеиия тот же — 1841-й. И. А. Вревский в 1855 году пишет брату о скорой женнтьбе: «Жюли будет 18 лет...» Тогда получается, что родилась оиа в 1837—1838 году?

И ведь очень важно зиать, где имеиио. Детство иа

Кавказе, в тыловом или военном городке, и детство в мирной среднерусской Старице — два разных детства.

Конечно, хотелось бы знать, какой был дом, слуги; правда, история сохранила имя экономки — мисс Босс. Были ли богаты? Судя по всему, не очень, иначе не торопились бы выдать замуж блестяще образованную дочь за пожилого генерала незаконного происхождения.

Поскольку в реконструкции образа героини присутствует какая-то просто необозримая свобода, почему бы не представить усадьбу, такую среднестатистическую, не очень богатую, в меру запущенную, где-нибудь на окраине Старицы, со двором, обнесенным кленами, с рябиновым садом и липовой аллеей. Аллею, как водится, можно довести до поля, а в глубине представить пруд, заросший, но рыбный. Перед домом разбить клумбу, а в гостиную поставить огромное трюмо да посадить за вышивание девочек: Жюли и Натали. Уютно и красиво. Даже если не правда.

Так, наверное, и шло детство Юлии Петровны, с прогулками по липовым аллеям, вязанием букетов, редкими гостями, лаской матери и умеренной строгостью отца — свою долю родительской любви она наверняка получила.

Каким в старости был генерал-майор Варпаховский, неизвестно. Может, так и остался свирепым солдафоном, секшим крепостных, а может, это был оттаявший, добродушный человек, временами удивлявшийся своему прошлому: картам, ссорам.

Можно допустить, что матушка Юлии воспитывала дочь в уважении к заслугам и увечьям отца, и тогда становится понятно, почему молодая девушка легко вышла замуж за пожилого человека. Ипполит Александрович Вревский вполне мог оказаться его приятелем по Кавказу.

Вот и у Н. П. Вревской (1876—1961) в последней рукописи сказано, что Юлия Петровна познакомилась с И. А. Вревским в Ставрополе, на Кавказе, где жила с родителями после окончания Смольного института. И в Старицком уезде Вревские имели имение «Малинники». Так что могли быть соседями.

Вревский специализировался на набегах. Быстро продвигаясь по службе (значит, хорошо набегал), уже в 1845 году сделался командиром Навагинского пехотного полка (его «невесте» 4 года). Еще несколько лет непрерывных набегов, разорений, вылазок — и он командир 1-й бригады 19-й пехотной дивизии. С 1852 года уже начальником Владикавказского военного округа успешно охранял русскую пограничную линию от покушений Шамиля.

С 1856 года — генерал, назначенный командовать войсками Лезгинской кордонной линии. Женился на Юлии Петровне, юной, нежной и прекрасно образованной, но из формы не вышел: весь пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой годы удачно воевал. В 1858 году окончательно прижал Шамиля, разорив сорок аулов и взяв три каменных укрепления с орудиями. Когда он возвращался в крепость, в крови и копоти, что чувствовала его юная жена? Бежала ли ему навстречу, бросалась ли на шею?

20 августа 1858 года при штурме аула Кетури уложила барона чеченская пуля. Ипполит Вревский так увлекся атакой, что

забыл, как опасен укрепленный аул, где каждая сакля — крепость. Его погубил азарт человека, любящего драться. Сослуживцы отмечали, что это «...чуть ли не единственный пример в Кавказской войне смерти в бою генерал-лейтенанта».

В Телави его привезли на арбе. Через два дня он умер.

Воспоминаний о «рыцаре без страха и упрека» немного. Точнее написали о нем только двое. Декабрист А. П. Беляев (с которым задумывалось похищение пушки в сороковом году) и личный секретарь Вревского штабс-капитан Зиссерман. Их воспоминания сходятся в оценке личной храбрости барона — «всегда сам командовал батальоном и выбирал опасные позиции»,— его азарта и страсти в бою.

О Юлии Петровне Зиссерман высказался однозначно: «...сиявшая молодостью, красотой, образованием». Он встретил супругов где-то за Ростовом, они возвращались на Кавказ из орловского имения. Генерал катил с юной женой и ее сестрой в открытом шарабане. На дорогах была распутица — март месяц, дорожный плащ барона сплошь заляпался весенней грязью. Он сам правил лошадьми — женщины пищали и хохотали — и казался очень счастливым. За четыре месяца до своей смерти.

Ипполит завещал похоронить себя рядом с братом Павлом в Успенском монастыре в Крыму или во Владикавказе около храма, возведенного на его средства. Сослуживцы же и грузинская знать хотели распорядиться по-своему и уговорили юную вдову похоронить его в Телави.

С Вревским поступили очень своевольно; он бы не потерпел, если бы мог сопротивляться. Однополчане не успокоились и принялись сооружать генералу памятник. В архиве Вревских сохранилась записка, отражающая все страсти, которые разгорелись вокруг этого. Сослуживцы и именитые кавказцы сами так поверили в то, что растроганно наговорили заплаканной вдове о его славе и «великой чести», которой он заслуживает, что стали доказывать: именно памятник достойно увенчает память героя. А поскольку герой знаменитый и народный — за пожертвованиями дело не станет.

Далее в «записке» сказано, что «...осуществить преднамеренное дело не представлялось возможным (не собралось достаточно средств)». Деньги собирали четыре года. Потом брат покойного дал 600 рублей, и дело пошло на лад. Он и теперь стоит в городе Телави — чугунный, с решеткой, заказанной в Париже.

Все это сказано не для того, чтобы заставить усомниться в достоинствах генерала, а для того, чтобы наглядно показать ту разницу, какая существует между легендой и жизнью.

«...Я понимаю, как трудно получить согласие государя; я боюсь, что в наше время эта милость даруется чрезвычайно редко, но умоляю Вас и Н. И. Вольфа и других, знавших И. А. и имевших влияние, добиться этого. Я, конечно, смотрю на этих детей, как на своих собственных, никогда их не оставлю своим попечением и постараюсь, насколько мне это будет возможно, сделать их людьми, достойными их отца...» — писала юная вдова Вревская брату мужа Борису о присвоении фамилии

отца детям Ипполита Александровича (незаконнорожденным от черкешенки Терской), носившим фамилию Терских.

В это время, в 1858 году, Юлия Петровна с семьей — тремя приемными детьми, старший из которых был ей почти ровесник,— жила в Тифлисе. Можно представить ее отчаяние, растерянность перед будущим и ту нечаянную радость, когда государь откликнулся на просьбу. Она получила приглашение ко двору и глубокой осенью отправилась в Петербург.

Петергоф, низкие, тяжелые облака, на душе тоскливо; она без любопытства смотрела на дворец, на расчищенный от снега парк и закутанные фонтаны; экипаж остановился перед подъездом у дворца, и холодно-вежливая фрейлина провела в низкую комнату с темной мебелью и крошечными окнами; не решаясь сесть, Юлия Петровна подошла к зеркалу — поправить прическу — и увидела позади себя императора. Это было так неожиданно, что она застыла, не в силах оборотиться. Он подошел ближе и ласково заговорил с ее отражением. Все ушло: и серость дня, и неловкость, и тревога. Случилось то, отчего каждый вечер, стоя на молитве, она будет повторять: «Господи! Спаси Царя и услыши Ны, в он же аще день призовем Тя».

Дети были приняты в привилегированные учебные заведения, получили фамилию отца и наследовали земли Баталпашинского округа, которыми был награжден их отец, а сама она стала почетной дамой в свите императрицы.

Девочка из незнатной дворянской семьи, прекрасно образованная, но не имевшая случая блеснуть, вдруг обрела возможность жить соответственно, общаться со светскими людьми, не только придворными, но и лучшими людьми искусства, военными, учеными; и, в свою очередь, была ими замечена. Вот что писал известный литератор граф Соллогуб: «Ведя светский образ жизни, Юлия Петровна никогда не сказала ни о ком ничего дурного и у себя не позволяла никому злословить, а напротив, всегда в каждом старалась выдвинуть его хорошие стороны.

Многие мужчины за ней ухаживали, много женщин ей завидовали, но молва никогда не дерзнула укорить ее в чем-нибудь, и самые злонамеренные люди склоняли перед нею головы. Всю жизнь свою она жертвовала собой для родных, для чужих, для всех.

Юлия Петровна многим напоминала тип женщин Александровского времени, этой высшей школы вкуса,— утонченностью, вежливостью и приветливостью. Бывало, слушая часто незатейливые, но всегда милые речи, я думал: как желательно в нашем свете побольше таких женщин и поменьше других».

Жизнь придворной дамы — не такое простое дело, именно дело, а не развлечение. Жизнь на виду, когда все время подчинено выполнению многочисленных обязанностей, от скучных до приятных, но всегда почетных; на взгляд пролетария все это было пустой тратой денег, а между тем это была одна из великих традиций, без которых нет государства.

...Дармштадская принцесса — будущая российская императрица — предмет обожания молодого цесаревича, восхитившая грацией и умом В. А. Жуковского,— эта девочка вместе с великими княжнами и свитой в сороковом году подъезжает к Петер-

бургу. В ридикюлях у них меховые маски, чтоб не обморозить лицо, у охраны — наизготове ружья, чтобы отстреливаться от волков, а в сундуках русские платья, в которые они переоденутся, въехав в русскую столицу. Ей предстояло научиться любить щи и кашу, а поверх одеяла класть не плюмо (покрывало на пуху), а по русскому обычаю — шелковый салоп.

Венчалась Мария Александровна в белом шелковом сарафане, на голове сиял драгоценными камнями русский кокошник.

Зимними ночами любила кататься в карете в одном только домашнем платье, а вернувшись, залпом выпивала большой стакан ледяной сельтерской воды и принимала холодный душ в шкафу. Была добра, и это качество сохранила до конца своих дней. Именно при ней сотнями стали ехать на жительство в Россию немцы-соотечественники, и всех она старалась принять и помочь найти занятие. Вскоре просителей сделалось столько, что Мария Александровна, поначалу не умевшая отказать, пряталась от них, а потом, по воле императора, издала указ, что в России могут жить только те, кто имеет занятие, а прочим давала денег на обратную дорогу. О ее характере говорит небольшой эпизод: она назначила пожизненную пенсию 400 рублей камер-юнгфере, укравшей дорогое жемчужное ожерелье. Посочувствовала пылкой любви воровки к молодому проигравшемуся врачу, для которого та пыталась, продав жемчуг, достать деньги.

Мужа любила до самоотречения. Не отсюда ли это желание быть близкой, русской, своей? Если он с утра уезжал в государственный совет и возвращался только вечером — обедать, она даже не завтракала без него и целый день ходила голодная.

После Екатерины II русские царицы не правили Россией, но занимались благотворительностью — Мария Александровна вместе с хирургом Пироговым создала общество «Красный Крест», которое живо до сих пор,— и попечительством об образовании молодежи. Была и еще одна сторона деятельности, малоизвестная в русском обществе,— покровительство людям искусства. Любимым обществом Марии Александровны были (защищенные поэтому от произвола цензуры) князь Вяземский, Федор Тютчев, граф А. Толстой. Поэты сложили ей вроде гимна:

Встречай же в солнце и лазури,
Царица, радостные дни,
И нас, певцов, в годину бури,
В своих молитвах помяни!

Согревала домашний очаг; как простая крестьянка, родила восьмерых детей; трудилась на ниве образования, медицины, милосердия; а могла и в ноги государю броситься и просить за кого-нибудь — сохранить чью-то жизнь. Такая бы и в Сибирь пошла. На серебряной свадьбе сказала: «Да, я имела много печали, но также много счастья и благополучия».

Маршруты царской семьи известны: Царское село, Петергоф, Павловск, куда императрица с императором ездили в английском экипаже послушать музыку в павильоне. Государь сам правил лошадьми. Ездили в Гатчину, в Александрию, летом в Ливадию, в Крым, но самым любимым было Царское Село. Еще был Монплезир — маленький дворец на берегу Финского залива... В саду пили чай, разливала какая-нибудь фрейлина

(может быть, и Юлии Петровне выпадала удача быть хозяйкой за царским самоваром), а с моря неслись русские песни — это кадеты в шлюпках подплывали совсем близко; дамы вышивали, кто-нибудь читал вслух.

Каждый год — путешествия за границу. За годы своей придворной жизни Вревская побывала вместе с императрицей во Франции, Италии, Сирии, на лучших курортах Европы, в Африке, в Палестине, Иерусалиме. Ее альбомы тех лет пестрят автографами политиков, принцев, пашей, знаменитых певцов и поэтов. Путешествия сделались ее страстью; она собиралась съездить в Индию, Испанию, Америку, о чем после не раз писала Тургеневу.

А зимой — Петербург с его чопорным этикетом, Зимний... Холодный блестящий паркет, по нему, цокая когтями, впереди императора бегут две собаки — рыжая и черная. Все, кто знал царскую семью, обязательно отмечали, как она проста в обращении,— это признак высшего тона, Вревская сама была такой.

В Пасху императрица выходила в парадную залу в белом чепце, в кашемировом капоте с бриллиантовой брошью на груди и с корзиной, полной фарфоровых яиц. Государь позволял целовать себя в щеки, но, как правило, яиц не дарил, может, только изредка доставал из корзины красное мраморное и подавал бледной красивой рукой в знак особого расположения.

Во время войны императрица отказалась шить новые платья, а все сбережения отдала вдовам, сиротам, раненым и больным. А через два года «сухо и долго кашляла. Зародыш ее смертельной болезни разрастался. Ее катали на кресле по комнатам, и несколько раз в день она вдыхала кислород посредством воздушных подушек для облегчения дыхания. В 1880 году, 22 мая, на пятьдесят шестом году жизни скончалась. В суматохе не успели позвать детей. Она очень жалела об этом».

Приемный сын Юлии Петровны барон Терский-Вревский окончил Пажеский корпус и служил в чине камер-юнкера. Женой его стала Наталья Варпаховская, сестра Юлии, красавица с античным профилем.

Ни Наталье, ни Николаю брак этот счастья не принес. Черкесская кровь не мирилась с фривольными намеками на ее прошлое, он ревновал жену, бил и без конца упрекал. Служить не хотел. Одно время увлекся исцелением страждущих в невской воде. Его вообще тянуло к воде. И, считая свою жизнь ненужной и конченой, он оборвал ее, бросившись с городского моста.

Императрица по-своему истолковала неудачную семейную жизнь сестры своей приближенной дамы, усмотрев в ней подтверждение придворным слухам о том, что Наталия до брака испытала внимание Высокого лица. И поступила, как поступает всякая женщина: удалила Юлию Петровну от себя, но, видимо, потом чисто по-русски раскаялась в своем поступке — во время войны интересовалась ее делами, выражала, как и император, заботу о ее судьбе и здоровье. Вревская тяжело перенесла незаслуженную опалу. Уехала на год в деревню, в Орловскую губернию; вообще все время опалы много жила в деревне, ездила на Кавказ, за границу.

«Ваше Императорское высочество,— писала Ю. П. Вревская великому князю Константину Николаевичу,— *вот уже два месяца, как я в Петербурге, где я снова поселюсь, и до сих пор не имела счастья ни встретить Вас, ни увидать даже издали.*

На первой неделе поста я была один раз в церкви, в Мраморном дворце, но на следующий день письмом от ген. Комаровской получила запрещение от Е. В. Великой княгини когда-либо приходить туда.

Не умею выразить, как мне было это больно, обидно, грустно; тем более, что в этот день именно я горячо молилась о счастье всех, которые близки Вашему сердцу.

Простите... неуместность этих строк. Я ничего не прошу. Это от полноты душевной хотелось выразить Вам беспредельную и, к несчастью, ненужную преданность. Да пошлет Милосердный Господь Вам здоровья и удачи во всем.

Вашего Императорского Высочества
верноподданная Баронесса Юлия Вревская

Литейная
№ дома 27».

В середине семидесятых Вы, Юлия Петровна, снова возвратились в Петербург, пожив достаточно и в деревне, и за границей. Все эти стремительные передвижения выдают в Вас человека деятельного, нетерпеливого и совершенно свободного. Никакой долг, кроме собственного желания жить в том или ином месте, Вас не обременяет. Наверное, не густо с деньгами, но одной прожить не так сложно?! Вы наняли у грека десять комнат в бельэтаже дома на Литейной, 27 (частым гостем здесь сделается Иван Сергеевич Тургенев).

Столицу лихорадило. Газеты гудели, как раскаленный самовар, чуть ли не распаиваясь по швам, и разбрызгивали кипяток новостей. Этот кипяток обжег, наверное, и Ваше сердце. Сербия волновалась, турки резали болгар, те простирали руки к России. Говорили о массовом истреблении славян, о прекращении одной из славянских наций. И вдруг сошлись былые спорщики и порешили — быть войне. Славянофилы — с плохо скрываемым торжеством, западники — с гордостью от того, что им дороги не амбиции, а истина. Помимо истины и те, и другие переживали комплекс «крымской войны», и теперь, когда армия была реорганизована, им не терпелось всем поколением испытать славу победы. «Война — то, что даст нам самоуважение».

Появились и первые герои. Волонтер, отставной генерал Черняев, положивший перед войной 2000 молодых отборных дворянских жизней и объяснивший по-простому, что «мы идем не отличаться, а умирать». Генерал Скобелев — «Белый генерал». Сколько в этом звании солидного, седовласого, мудрого. Да и портрет... Пышные длинные усы и густая борода, высокий лысый лоб, глаза чуть навыкате — крупные черты лица всегда старят. В год смерти ему исполнилось тридцать девять лет.

Был знаком с Ипполитом Александровичем Вревским. Его батюшка Скобелев-старший божился, что один Вревский стоил четырех конных дивизий. Знал и Юлию Петровну. Да и она писала о нем сестре: «...Скобелева слава велика, и о нем говорят и много хорошего, и много дурного; и то, и другое, говорят,

правда, но все же говорят, что он человек, отмеченный судьбой на великие подвиги, ему всего 33 года, он уже генерал с белым орлом».

Они были почти ровесниками*. Поговаривали, что влюблен в нее. Разумеется, тайно.

Сейчас никто не скажет о нем и двух слов, разве только то, что генерал, а тогда... Под него одевались, на него молились, подражали и завидовали славе.

Мишенька любил военные награды, часами сидел над любимой книгой и выучил наизусть статус Георгиевского креста. Уже с детства почувствовал призвание — быть героем. И стал. Но не сразу.

В двадцать четыре года штаб-ротмистр Скобелев получил приказ объехать с дозором Бухарскую границу. Объехал, нкого не встретил, это показалось ему несправедливым, н в реляции он написал, что разгромил огромный отряд разбойников. Вышел скандал — распекли сверху, высмеяли снизу, советовали из военных податься в сочинители, даже дуэль была, после которой, слава Богу, все остались живы. Оставаться в полку сделалось невыносимо его самолюбию, и он добился нового назначения.

В Хивинском походе Скобелев решил действовать наверняка. Генерал Кауфман был немало удивлен, когда мимо иего с криками «ура», вздымая облака пыли, в блеске сабель промчался на штурм эскадрон во главе со Скобелевым. Удивился геиерал потому, что несколько часов назад город был сдан и он ехал получить ключи от города, а жители, проведав о русских обычаях, уже приготовили хлеб-соль.

Все же кавалером Георгиевского креста Скобелев стал, немногим позже, в Кокандском походе сбылась мечта мальчика.

— Вы исправили в моих глазах прежние ошибки,— заметил генерал Кауфман, отмечая наградой,— но уважения моего еще не заслужили.

— Ничего,— без обиды ответил молодой офицер,— буду ждать. Я ждать умею.

Слукавил. Он ничего и никогда не умел ждать.

Поначалу русско-турецкая война не сулила генерал-майору с Георгием на шее славы: смеялись, мол, и роту солдат опасно доверить этому мальчишке, н отправили под иачало к отцу, Дмитрию Ивановнчу Скобелеву, осторожному, дисциплинированному старому генералу, чем смертельно обидели сына.

Скобелев-младший нзнывал от скуки н бездействня, больше всего на свете он хотел воевать, а даже приказа перейти Дунай все не отдавали — река была в разливе. И вот в воспаленном от страсти, бессонницы н жажды славы мозгу родилась прекрасная идея. Он потребовал созвать военный совет и выступил с предложением... переплыть Дунай казачьим полкам вместе с лошадьми.

— Невозможио, перетонем,— раздался голос.

Все засмеялись, а старик Скобелев от стыда за сына склонил голову к столу.

Но Скобелев поплыл. С ним — еще несколько безумцев. Ледя-

*М. Д. Скобелев родился в 1843-м, умер в 1882 году. (Прим. авт.)

ная вода быстро отрезвила их, все повернули обратно, Скобелев не мог — стыдно.

Несчастный отец бегал по берегу и кричал:

— Миша, воротись, утонешь! Миша!

Но Скобелев плыл. Лошадь его утонула. Вблизи от берега его приняла лодка. Он переплыл Дунай.

На этом, как по волшебству, кончаются чудачества молодого Скобелева и начинается другая история, где ошельмованный когда-то штаб-ротмистр за несколько месяцев сделался народным героем, добыв отличия свои и звания не протекциями, а подвигами и удачей в бою.

Он командовал отрядом под Плевной, потом дивизией при Шипке — Шейново. Эти два сражения, по существу, определили победу русских в войне. Его напор и нечеловеческая храбрость ошеломляли врага. Его не брали пули, и сам вид его в белом мундире на белой лошади вселял в турок мистический ужас. Белый генерал — белая смерть.

Кто-то нагадал ему, что на белой лошади не возьмет его пуля. Так и носился по полю, надушенный, не наклоняя головы, но на БЕЛОЙ. Во время атаки под Плевной лошадь под ним пала — запалил. Ему подвели другую.

— Это что за гнедая стерва?— грозно прорычал генерал.— Не хочу! Нет ли белой?

Белой не оказалось, пули и ядра жужжали, как мухи, сошла тут и «гнедая стерва». Унесла от смерти не хуже белой.

Говорил не много, но метко. «Россия — единственная страна, где достаточно идеализма, чтобы воевать из-за чувства». Усталая от внутреннего бесплодного раскола интеллигенция искала нового символа для единения. И Скобелев подсказал: «чувство». В интеллектуальном багаже России накопилось достаточно чувства, пора было его соединить с делом. Чувство не только воевать, но и освобождать. Страна, где нет теперь рабов, шла освобождать от рабства других. Шла по чувству. Логики здесь немного (свои штаны не успели натянуть, а уж бежим на пожар), но в России все устали от логики.

Скобелев знал, что у него много завистников, знал, что многие ненавидят его за удачливость, как огня, боялся этой зависти и словно хотел ее задобрить. На главной квартире или в штабе на него жалко было смотреть: шинель скособочена, фуражка съехала на затылок, сутулится, смотрит в пол, часто моргает — сирота с паперти да и только. Когда друзья спрашивали, что это за диковинное превращение, он воровато оглядывался и оправдывался приглушенным басом: «Чтоб хоть щегольство в вину мне не ставили». Как ставили храбрость.

Вообще же робел до трусости перед высоким начальством. Перед парадом ничего от разумного человека в нем не оставалось: метался по комнате, заучивал наизусть команды, приемы, уловки этикета, вертел что-нибудь в руках, за столом весь хлеб сминал в мякиш и нервно катал по скатерти. Все мысли о том, какое впечатление он произведет на великого князя, не наговорят ли на него, не оболгут, не будет ли он выглядеть посмешищем без знания тонкостей парадного учения. Как школьник, до поздней ночи зубрил, где ему, бедному, встать!

К чести Скобелева, он никогда не рисковал чужой жизнью попусту, а если и рисковал, то шел всегда впереди.

— Коли будут упрекать, что не штурмовал с одним полком,— оправдывался он в том, что совесть не позволила ему вести на верную смерть людей,— подам в отставку.

Можно себе представить, что такое с его темпераментом — «не штурмовать». Но, как только действие перемещалось с боев на интриги, дела его становились совершенно плохи. Он так и норовил влипнуть в какую-нибудь скверную историю, и здесь уж только советы близких друзей его хранили. Советы ценил.

Только закончилась русско-турецкая война, а уж Скобелева зовут занять пост военного министра в Болгарии, чтобы снова затеять войну с Турцией и снова втянуть туда Россию. Скобелев страшно загорелся, он всегда загорался, когда речь шла о войне, и искренне считал, что чем больше будет драк, тем больше для России счастья. Ему отсоветовали, и он потух. Вообще же его вмешательства в государственные дела никому не были нужны. Хоть и прекрасно владел он языками, знал литературу, поклонялся военному таланту Наполеона I, а все в дипломаты не годился.

После Туркменской экспедиции по завоеванию Средней Азии в 1881 году он снова ввязался в обсуждение военных вопросов, теперь уже с индийским правительством. На этот раз в переговоры вмешался Василий Верещагин*.

— Михаил Дмитриевич, вам это не нужно,— с нажимом в голосе, косясь на встревоженного посла, сказал он.

— А если мы дойдем до Индии?! — сверкнул глазами Скобелев и вздрогнул, как гончая, взявшая след.

— Ничего вам не нужно,— холодно повторил Верещагин.— Вам нужно только хорошенько вздуть туркменов, и все.

Отговорил и на этот раз. Но остановить Скобелева было невозможно. Ему, молодому генералу, оставшемуся без дела, слава словно оказалась не по плечу. Надо бы остановиться, а он все не мог повернуть, что ему не двадцать лет. Не смея рисковать другими, он принялся испытывать судьбу один. И посыпались как горох его выходки против австрийцев и немцев. Его выступления в Париже, где он болтал, что война с немцами «буквально на носу»; жизнь в Берлине, где задирал всех подряд, пальто не мог по душе выбрать, кругом одна «немецкая дрянь». Увлекся славянской идеей, написал письмо Каткову, все хотел «кликнуть клич славянам». В полный голос. Не успел. Да и должен был кто-нибудь «заткнуть» его, в такой игре, как политика, свои правила. Связываться со Скобелевым было не резон никому. Его и убрали. Кто? Он всем мешал одинаково. В политику с воинской доблестью лучше не соваться. Бесстрашное сердце и обаятельные замашки тут не козырь. И не аргумент.

Да, генерал Скобелев был героем, храбрецом, любимцем и был легендой. А чтобы стать легендой, нужна не только славная

*Верещагин В. В. (1842—1904) — русский живописец-баталист, запечатлевший в своих полотнах суровую правду войны, мужество и героизм русских солдат. Цикл работ посвящен теме русско-турецкой войны: «Шипка — Шейново», «Побежденные. Панихида», «Перед атакой» и др. (Прим. ред.)

жизнь, ио и славиая СМЕРТЬ. Последнего иногда достаточно для легенды даже без первого. Герой не может умереть в постели от ревматизма.

Смерть Скобелева была загадочной. Ему и здесь «повезло». Его гибель напоминала весть о стихийном бедствии или войне. «Москва была придавлена... нет, хуже — убита! — пишет очевидец.— В воздухе точно повисла тяжесть, не встречалось ни одного улыбающегося лица...»

Между простыми людьми ходили самодеятельные стихи на смерть героя:

Уж белый генерал на аргамаке белом
Пред батальонами на бой не полетит:
Недвижимо, с челом от смерти побледнелым,
В дубовом гробе он лежит!

Удивительно, как люди утешаются этой нехитрой поэзией в торжественные и тяжелые минуты.

Отпевали Скобелева у Красных ворот, в храме Трех Святителей.

Повсюду царило угрожающее оживление. Мясники в Охотном ряду точили огромные ножи, по подворотням скрывались кучки людей; отель, в котором умер Михаил Дмитриевич, собирались громить, а хозяев перевешать. Жадно ждали газет. Наконец появилось первое сообщение: «Скончался от паралича сердца»,— но тут же поползли слухи об отравлении н шепотом передавались новые детали.

Говорили, что врач вышел со вскрытия в слезах и пробормотал: «Скоты! Мерзавцы!» Кто?

А придворный лейб-медик профессор Боткин увез внутренности в Петербург. Зачем?

И что это за диагноз: «паралич сердца»?

Пытались что-то разузнать у коридорного «Англии», гостиницы иа Петровке, где умер Скобелев, но тот нсчез при загадочных обстоятельствах.

Кто-то проведал, что на столе в номере стояли кружки с пивом; назывался даже яд, остановивший сердце генерала,— «кураре».

Проклинали и винили немцев, но возникла и другая мысль, и она показалась очень вероятной: его убили из завнсти.

Да, Россия выбирает героев, она же их и убирает. Все — в нужный момент. Молодой удалец Скобелев был максимально затребован наставшим временем в своей помолодевшей стране. Его ждали все: государь, готовившийся к трудной войне, пресса, оттачивавшая перья для блестящих репортажей, модницы, чтобы шикануть новым туалетом, простые крестьяне, чтобы подивиться и почесать языки — «знай наших»,— н, наконец, толпа, уже выстроившаяся дружными рядами и ждущая клича. Его ждали все, и он явился. Миляга, добряк, сорвиголова, обидчивый н великодушный, простой и арнстократичный, озорной и величественный, а главное, свой, свой в доску парень с обаятельной улыбкой, светлым взглядом н бесстрашным сердцем.

Что же такое История? Она есть не прошлое и также не будущее. Она — длящееся Сейчас. Она присутствует в каждом мгновении, которое катится, катится... Только Сейчас все и про-

исходит — возникает проблема, и тем самым принимается решение; момент преступления становится моментом наказания. Вы, Юлия Петровна, за завтраком думаете: «Пожалуй, пойду»,— и становитесь легендой.

По неподтвержденным сведениям, накануне войны Вревская продала орловское имение, столь ею любимое, то есть окончательно разорвала нить, связывающую ее с прежней жизнью, как будто сжигала за собой все мосты, и на эти деньги собрала небольшой медицинский отряд из 22 сестер.

В одном из писем Тургеневу в 1877 году Вревская пишет, что посещает курсы медицинских сестер, которыми руководит одна ее «старая приятельница», и утешается тем, «что делает дело». Так вот: старая приятельница — это Елизавета Александровна Кублицкая-Пиотух, прослужившая 28 лет начальницей Свято-Троицкой общины медицинских сестер в Петербурге (позже ее сменила В. А. Абаза). 19 июня 1877 года вместе с десятью дамами из высшего света Вревская отправляется из Петербурга именно в составе Свято-Троицкой общины под началом Кублицкой-Пиотух, не являясь официально членом Красного Креста — любимого «детища» императрицы.

Конечно же, с тем, что Кублицкая-Пиотух была «старой приятельницей» Юлии Петровны, что-то связано. Почему именно в составе Свято-Троицкой, а не какой-нибудь другой общины? Ведь были еще и Крестовоздвиженская, Георгиевская и Покровская общины — они, кстати, первыми отправились на фронт. Выходит, что-то мешало обычным путем вступить в Красный Крест. Что же?

Вот имена аристократок, прикомандированных к монахиням и сестрам Свято-Троицкой общины; нетрудно понять, что это именно тот круг, где Вревской было всего привычней находиться: княгиня М. М. Дондукова-Корсакова — сестра князя А. М. Дондукова-Корсакова; княгиня М. Н. Новосильцева; В. А. Абаза; В. А. Цурикова; Булгакова; сестры Корниловы (с ними Юлия Петровна жила в одном бараке в Яссах; с Цуриковой и Булгаковой позже, после возвращения Корниловых в Петербург).

«...Люди русские, да не оскудеет и ныне ваша помогающая рука! Вы спасли от голодной смерти многих и очень многих... Теперь же не оттолкните от вашего сердца и припавших к нему болгар»,— писали «Санкт-Петербургские ведомости» в июле 1876 года — и медные пятаки опускались в кружки для пожертвований. Во дворе Славянского Базара, в Москве, и в других местах собирались целые толпы и ждали решения — кому можно будет идти на фронт и кому нельзя.

Император не хотел этой войны. Правительственная политика допускала «энергическое вмешательство России в славянское дело» — только не военное. Он не был уверен в абсолютной победе и щадил русскую кровь. Славянофильские комитеты во главе с Иваном Аксаковым буквально «задавили» правительство «народным движением» за веру и братьев-славян: агитировали, пропагандировали в столице и захолустьях, и снизу, и с боков (проповеди православного духовенства), и сверху; императрица плакала по утрам, когда ей докладывали о жестокости турок.

Оиа хотела быть русской, православной, она хотела войны и победы за веру Христову.

Александр II медлил. У него еще были надежды иа дипломатов. Благоразумие брало верх над чувствами, ои боялся подвести Россию под иовую европейскую войну, а крымское поражение вселяло сомнение в безоговорочиой победе.

Все без исключения общественные круги были недовольны; государственная и дипломатическая верхушка во главе с князем Горчаковым, военным министром Милютииым и генералом Игиатьевым начала склоияться к мысли, что война с Турцией после поражения Сербии, ультиматума и уже частичной мобилизации русских войск, во-первых, почти неизбежиа, во-вторых, вполне могла бы послужить «пробным камием» для оценки того, что было сделано в армии после крымского поражения. Газеты же продолжали в изобилии печатать на своих страницах воззвания и телеграммы о поднятых на штыки младенцах, обезглавленных в алтарях православных священииках и обесчещенных и убитых девушках и старухах. Вся Россия закипала, как смола, от подобных известий. Не богатства и земли были «приманкой», а попираемая вера православная да турецкие изуверства — вот уже «... и стар, и млад точит саблю. Давиенько казачий конь не пил дунайской водицы».

Война (особенно освободительная) всегда начинается брызгами шампанского, и каждый волонтер за месяц до иее уже герой. А кончается оиа всегда тем, что ободраиный, измучеиный бессонницей, поносом и холодом человек в отчаянии думает, как бы выпутаться из беды... Хватит крови, смерти, вони, скорей бы домой!

Русско-турецкая война 1877—1878 годов завершилась мирным договором в Сан-Стефано 19 февраля 1878 года. В день годовщины отмены крепостиого права. Русское общество по-разному отиеслось к окончанию войны. Нигилисты дождались царя, и сиова иачали покушения на него, либералы и консерваторы объединились и принялись заиово разжигать страсти. Они требовали продолжения, им — невоевавшим — было мало крови. Они смело заявляли, что «Царьград еще не очищен от азиатской скверны и задача России решена еще не вполне».

Аксаков, гневно указывая на Александра II, объявлял, что Россия покрыла себя позором, не войдя в Константинополь, добровольио отказалась от успехов, за которые плачено кровью. Как он умел говорить!

Скобелев, стыдясь, не мог императору в глаза смотреть.

Войди русские в Константиииополь, тут же началась бы новая война с Англией — России был поставлеи ультиматум,— и император снова «малодушно» жалел русскую кровь. Двести тысяч русских жизией — неужели не хватило для славянской идеи такого жертвоприношения?!

...Александр II медлил.

Звонили траурные колокола, сыпались в кружку медяки «на угнетеиных славян», выстраивались в очередь добровольцы. Дипломаты и политики волновались, предчувствуя долгожданные интриги, дележи и перемеиы. Все хотели воевать. А он один — между Богом и людьми.

В апреле 1877 года пришло письмо от экзарха Болгарии Антима:

«... Если Его Величество Всероссийский император не обратит внимание на положение болгар, не защитит их теперь, то лучше их вычеркнуть из списка славян и православных, ибо ОТЧАЯНИЕ ОВЛАДЕЛО ВСЕМИ!»

Манифест был подписан.

Дальше все понеслось стремительно и неотвратимо. На Константинопольской январской конференции 1877 года, на последнем заседании, поднялся Савфет-паша и прочел ноту — категорический отказ в улучшении участи восточных славян, что расценивалось как действия, «несовместимые с достоинством Оттоманской империи». Эта нота была пощечиной России.

В начале марта генерал-адъютант граф Игнатьев объездил столицы пяти государств и добился подписания «Лондонского протокола», в котором европейские державы вновь настаивали на проведении реформ на Балканах. 29 марта 1877 года на «Лондонский протокол» Турция ответила безусловным отказом.

12 апреля в начале девятого часа утра Александр II осмотрел войска на Скаковом поле, недалеко за чертой города Кишинева. Здесь же, в виду всего фронта, был установлен аналой и собралось духовенство. Несмотря на середину весны, было холодно, может, отчасти из-за раннего часа. Из ноздрей нетерпеливо всхрапывающих лошадей шел пар. Народ, празднично одетый, молча огромными толпами собирался и устраивался по краям поля. Около девяти показалась открытая коляска, в которой ехали император и великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий армии. Коляску сопровождал эскорт всадников.

В девять утра раздался звон колоколов православных кишиневских церквей. Кишиневский епископ Павел сложил руки на груди и несколько минут молча вглядывался в лица военных, стоявших перед ним. Сделалось тихо; казалось, всем было слышно, как прошуршал передаваемый из рук императора в руки Павла пакет, как хрустнула, сломавшись, сургучная печать на нем. Владыка осенил себя крестным знамением и громким, низким голосом начал читать:

«Божиею милостью
Мы, Александр Вторый,
Император и самодержец российский,
Царь польский, великий князь финляндский
и прочая, и прочая, и прочая.

Всем Нашим любезным верноподданным известно то живое участие, которое Мы всегда принимали в судьбах угнетенного христианского населения Турции. Желание улучшить и обеспечить его разделял с Нами и весь русский народ, ныне выражающий готовность свою на новые жертвы для облегчения участи христиан Балканского полуострова. Кровь и достояние Наших верноподданных были всегда Нам дороги...

...Исчерпав до конца миролюбие Наше, мы принуждены высокомерным упорством Порты приступить к действиям более решительным. Того требуют и чувство справедливости, и чувство собственного Нашего достоинства. Турция, отказом своим, по-

ставляет Нас в необходимость обратиться к силе оружия. Глубоко проникнутые убеждением в правоте Нашего дела, Мы, в смиренном уповании на помощь и милосердие Всевышнего, объявляем всем нашим верноподданным, что наступило время, предусмотренное в тех словах Наших, на которые единодушно отозвалась вся Россия. Мы выразили намерение действовать самостоятельно, когда мы сочтем это нужным и честь России этого потребует.

Ныне, призывая благословение Божие на доблестные войска Наши, Мы повелели им вступить в пределы Турции.

Дан в Кишиневе, апреля 12 дня, лета от Рождества Христова в тысяча восемьсот семьдесят седьмое, царствования же Нашего в двадцать третье».

На подлинном Собственного Его Императорского Величества рукою подписано: «Александр».

Люди окаменели, будто переступили какой-то желанный порог. Казалось, время остановилось. В следующую минуту все взорвалось единым, мощным «ура». Кричали и плакали от накопившихся чувств генералы, вдовы, солдаты — все, кто собрался на поле в этот день.

— Батальоны, на колени! — провозгласил растроганный император. Все припали к земле. Бьющиеся в руках знаменосцев полотна замерли. Епископ окропил войска «святой водой» и призвал всех воинов вспомнить образы великих русских князей: Олега, Игоря, Святослава, великих царей Петра Великого, Екатерину Великую, великих полководцев Румянцева, Суворова, Кутузова — и быть, как они, в отношении чести, мужества и служения великой России. Потом он благословил главнокомандующего иконой Спаса, а все русские войска через генерала Драгомирова — иконой Богоматери.

Первым выступил из Кишинева 53-й волынский пехотный полк, шефом которого был назначен в этот же день великий князь Николай Николаевич, за ним остальное русское войско.

«За веру Христову», «За родную славянскую кровь» — слышалось отовсюду, и, наверное, «старой Западной Европе непонятно то, что чувствовал тогда молодой еще русский народ, всем своим существом стремившийся совершить этот крестовый Славянский поход».

— Прощайте, православные, не посрамите себя и нас ни в пути, ни на месте! — вслед каждому поезду с добровольцами кричали провожавшие.

Среди императорской свиты в Кишиневе на Скаковом поле 12 апреля была и русская баронесса Юлия Петровна Вревская.

Александр II, может быть, лучшее из того, что дала романовская династия. В Европе мало найдется столиц, где не стоял бы ему памятник.

Никогда еще Россия не знала такого созвездия гениев — от естественных наук до музыки, живописи и литературы, предпринимателей, издателей, меценатов с изысканным вкусом. Это время вершинных достижений во всем и у всех. Славянофилы и западники, монахи и праведники, земские учителя и врачи, полководцы и земледельцы... Целая новая генерация людей — аристократов не по крови, а по духу.

А доставалось ему от новой генерации — уж они его и склоняли, благо он дал им на это право: и освобождение крестьян — не то и не так, и остальные реформы — мало, и с русско-турецкой войной тянет — трус, врет, что ему русская кровь дорога, зря Каракозов промахнулся, а ввязался — опять-таки кровопиец, солдафон, завоеватель. А нигилисты? Они что хотели, чтобы он с ними на баррикады полез? И глаза у него сделались под конец, как у зверя, которого травят (по наблюдению Толстого), молчал, стеснялся признаться, что страшно, ведь первый дворянин России. Конечно, символ, но в отличие от символа уязвим, его можно убить.

Выходило — по газетам и брошюркам,— что плохо делал царь свое дело, плохо правил страной. А профессионализм, как известно, важен везде и во всем. Профессия ли царствование? Царь — это фигура не политическая или профессиональная, не символическая и представительская, это фигура нравственная. Не случайно Толстой обратился к сыну убитого отца с просьбой помиловать убийц, а Владимир Соловьев выступил с публичной лекцией перед студентами. Нравственный дух эпохи убитого царя дал им это право. Так же эта эпоха дала право светской даме пойти и умереть на войне. Всегда было добро истинное и добро ложное (то есть зло во имя добра). И каждое имело свои примеры.

Столкнулись они на фигуре царя. Его трагическая судьба есть вечное столкновение замысла Божьего с неразумными детьми.

Эпоха Александра II — эпоха, в которой началось отмирание привилегий сословных, эпоха, когда стал формироваться класс новых аристократов, имевших одну привилегию, вне сословных границ,— привилегию духа. И, конечно же, эта эпоха духа не могла быть видна современникам изнутри, потому-то они Вревскую с ее кротким подвижничеством и проглядели. Современникам не дано верно оценить себя — большое видится на расстоянии.

Отряд Кублицкой-Пиотух при отправлении из Петербурга разделился. Девять сестер с двумя дамами поехали в Киприановский монастырь на границе с Румынией, недалеко от Кишинева, а остальные, и среди них Юлия Петровна, дальше, на юг Румынии, в Яссы. До конца октября она работала в 45-й военной больнице Дунайской русской армии.

Главный уполномоченный Красного Креста в Румынии Н. А. Абаза писал, что весь персонал Ясской эвакуационной больницы работал очень напряженно в конце июня — начале июля 1877 года. 21 июня в Яссы прибыл первый поезд с ранеными. Тот, кто мог перенести дальнейшую дорогу, отправился в Южную Россию, самые тяжелые остались здесь. Сестры перевязывали раненых, раздавали лекарства, стирали и штопали, кормили и мыли, писали под диктовку письма домой и утешали. Княгиня Нарышкина заведовала кухней. Юлия Петровна была среди тех, кто ухаживал за ранеными и умирающими. Она не сторонилась тяжелой работы и в сентябре 1877 года писала сестре: «...Я очень рада работе, хотя все мое белье стало в лохмо-

тьях, а платье страшно обтрепалось, завтра ждем 1500 раненых, сегодня было 380, писать почти не нахожу минуты». Она и дальше будет «почти не находить минуты», и тем удивительнее тон ее писем, всегда ровный, приветливый, с легким юмором и печалью.

Боткин, насмотревшись на то, как «переносят» войну аристократы, записал: «Ни у кого не достаточно внутреннего содержания, чтобы с известным приличием переносить в сущности только не совсем удобную для них жизнь». Он был не прав.

В русско-турецкой войне участвовали 1600 врачей и 2000 медицинских сестер. Впервые в истории войн сорок из них женщины-хирурги. И, возможно, тоже впервые в истории на войну отправились княгини и баронесса.

Условия для врачей на войне очень тяжелы. Хирурги вспоминали с ужасом, как после блестяще проведенных операций больные умирали от того, что операционная была заражена, а старший врач не хотел этого признавать. Виртуозы, профессионалы, они работали, как на конвейере: война — это поток, поток. Организовать его — рассортировать больных. А сортировка жестокая, так как требует самому тяжелому оказать помощь в последнюю очередь, потому что у него меньше шансов выжить. Сестры милосердия находились не только в госпиталях и лазаретах; они сопровождали санитарные поезда и корабли, создавали «летучие отряды» и появлялись на поле боя. Подбирали живых солдат «и часто были единственными, кто провожал в последний путь...». Да, они должны были уметь не только лечить, но и хоронить.

Болезни войны всегда одни и те же: кровавый понос, тиф, лихорадка. Лохмотья, в которых раненые прибывали в госпиталь, кишели насекомыми, от непромытых ран шел «одуряющий запах», «косил» тиф, не хватало медикаментов и чистого белья, интендантское воровство и неорганизованность — неотлучные спутники любой войны. И именно сестры милосердия призваны были лаской и терпением как-то смягчить, уравновесить этот «кошмар». Из Ясс Вревская писала: «Мы сильно утомились, дело было гибель — до тысячи больных в день, и мы целые дни перевязывали до 5 часов утра не покладая рук...» Многие из дам устали и собирались в отпуск; Юлия Петровна не знала, на что решиться — «буду оставаться, пока здоровья хватит». 18 октября она получила все-таки двухмесячный отпуск, обещала приехать к «своим» на Кавказ, провести вместе Рождество, писала сестре, что очень соскучилась и видит ее во сне, почему-то от этих снов «тяжелая печаль»; обещала, ссылаясь на усталость, приступы лихорадки, сердце, но все переиграла, круто и бесповоротно повернула колесо судьбы.

За эти два месяца отпуска она, вместо того чтобы поехать на Кавказ, в Россию, отдохнуть и вернуться, отправилась на юг Болгарии как частное лицо. Уехала в Бялу. Госпитали располагались в тылу, Бяла же была действительно опасным местом — почти фронт.

С ноября 1877 года она работала в сорок восьмом военно-полевом госпитале, в трех километрах от села Бяла, за рекой Янтра. Жила в небольшом домике Ивана Ходжиева в самом

селе, вместе с болгаркой и ее детьми. После тяжелой работы в госпитале ее ждал еще утомительный обратный путь по заснеженной дороге и при сильном, пронизывающем ветре. Спала на носилках. Маленькое оконце в холодной комнате с низким потолком вместо стекла загораживалось лишь куском ткани. Утром умывалась снегом и шла к раненым.

«...Я приехала в Обретеник — деревушка, где живут постоянно две сестры при лазарете, это в 12 верстах от Бялу... мы были на самом передовом пункте... Я так усовершенствовалась в перевязках, что даже на днях вырезала пулю сама и вчера была ассистентом при двух ампутациях... Ни газет, ни книг мы не видим. Снег у нас по колени, и дороги всюду очень дурные...»

И дальше: *«Интересно, почему все реже и реже вспоминаю я о балах и о Петербурге? Нет, наоборот, о Петербурге я думаю часто...»*

«У нас опять работа: завтра ждем 1500 чел. раненых. Сегодня было 800, но я нахожу, что работаю мало, так как сестер великое множество и раненые нарасхват; но, несмотря на это, дни проходят в бараке и писать почти не нахожу минуты. Со мной теперь живут м-ль Булгакова и Цурикова. Обе очень милые, и мне веселее, нежели с Корниловыми.

Барак у нас очень холодный. По всей вероятности, скоро поеду в Бухарест и Фратешти с одним из санитарных поездов и не знаю, когда выеду к вам.

Много поговаривают о мире в декабре, и тогда, конечно, я до Рождества тут пробуду, чтобы кончить кампанию. Наши доктора все раскассированы в другие госпитали, о чем многие очень тужили. Одна я осталась застрахована. Сердце, как и всегда, спокойно. Абаза еще у нас, но все хворает, остается еще месяц. Она очень умна и подчас забавна. Матушка поздоровела и поправилась и по-прежнему зорко следит за всеми нами. Привезли на днях тело Сергея Максимилиановича, его везли оба брата — Евгений и Николай. На станции была панихида, где были и мы. Оба брата подходили ко мне. Были также молодой Барятинский и Тучков, все они говорили, что если Плевну возьмут, то будет мир.

Болгары, говорят, очень нас не любят и ничего не делают. Дни у нас очень холодные...

(Продолжение). ...У нас жизнь однообразна и очень деятельна. В 10 часов мы все уже храпим, никуда не ездим и не выходим, даже не видели ясские окрестности. Оживление нашего барака заметно уменьшилось с отъездом наших, как мы говорим, «сестер». Сестра Мария часто ездит с поездами; изредка приезжают ревизоры, все без толку. Сестер много завелось, авантюристок и кухарок, что не совсем радостно для больных, которые милы и умны донельзя — я говорю о солдатах; офицеры армейские плохи, много здоровых: срам иногда перевязывать; зато есть и ужасные раны — безносые, безгубые,— сколько горя, сколько вдов и сирот... Война вблизи ужасна!..»

«...Не можешь себе представить, что у нас делалось — едва успевали высаживать в другие поезда... стоны, страдания, насекомые. Просто душа надрывалась. Мы очень устали и когда приходили домой, то, как снопы, сваливались на кровать. Нельзя было писать и давно уже не читала ни строчки, даже газеты, которые у нас получает Абаза. На днях у нас при передвижении поездов у самого барака раздавило рельсами двух раненых; я не имела духу взглянуть на эти раздавленные черепа, хотя беспрестанно должна была проходить мимо для перевязок в вагонах.

...Но солдаты страдают ужасно. Сегодня утром видела Горчакова, очень потолстел, постарел, по-прежнему очень мил, но едва держится на ногах. Много тут петербургских знакомых, но не видаю никого: у меня заняты мысли другим.

Заказала сегодня себе большие сапоги, надо завтра купить и еще кое-что теплое; я решилась пробыть сестрой милосердия всю зиму; по крайней мере дело, которое мне по сердцу. Жизнь тут ужасно дорога: кило сыру стоит 2 р. 40 коп. Говорят, что в лагере цены невероятные. Я получила деньги свои, буду экономить... чтобы употребить деньги — как, ты знаешь, нужно. Ко мне сюда приехала дама, г-жа Корнева, с которой я ехала из Ясс, она едет к своему мужу в Тырново и надеялась встретить его тут; представь себе — его нет, и она в отчаянии, у нее всего осталось 40 франков, и она к тому же ужасная трусиха; не знаю, удастся ли мне пристроить ее тут как-нибудь, пока муж приедет...»

«Белая. Вчера, наконец, получила твое письмо. Я решилась не покидать Обретеника и своих тамошних раненых по многим причинам. Во-первых, хоть мне было страшно голодно и крысы очень бегали (сестры до безумия боялись крыс — их тысячи!). Во-вторых, деньги мои приходят к концу, и я беспокоюсь, чтобы не остаться на мели. К счастью, мне вчера привезли деньги и, вообрази, взяли за услугу 150 рублей, правда, по телеграфу. Но иначе тут никогда ничего не получишь, и даже телеграммы пропадают. Я ни от кого ничего не получаю вот уже 2 месяца. Тут лишений очень много, и я живу чуть не в хлеве, холодно, и снег, и мороз. Есть тоже нечего, кроме ветчины, сыра и чая, но все-таки я не хочу уезжать в Яссы, тут слишком мало сестер. Две уезжают в Россию в отпуск, я же намереваюсь пробыть тут еще. Я теперь занимаюсь транспортом больных, которые прибывают ежедневно от 30 до 100 чел. в день, оборванные, без сапог, замерзшие. Я их пою, кормлю; это жалости подобно видеть этих несчастных, поистине героев, которые терпят такие страшные страдания без ропота. Все это живет в землянках на морозе, с мышами, на одних сухарях. Да, велик русский солдат!..»

Военный врач госпиталя в Бялу Михаил Павлов, тот самый, что исполнил последнюю волю Юлии Петровны и сжег небольшой пакет с письмами, перевязанный тонкой ленточкой, написал о Юлии следующее:

«Покойная баронесса Вревская в короткое время нашего знакомства приобрела как женщина полную мою симпатию, а как человек — глубокое уважение строгим исполнением принятой на себя обязанности, а потому я с тем большим удовольствием

отвечаю на Ваше, м. г., письмо, полученное только вчера, 29 марта.

Баронесса Юлия Петровна состояла в общине сестер, находящихся в Яссах, движимая желанием быть ближе к военным действиям, взяла отпуск и приехала к нам в Белую, около которой в то время разыгрывалась кровавая драма, и действительно имела не только случай быть на перевязочном пункте, но и видела воочию самый ход сражения. По возвращении в Белое (Бялу.— М. К.) *после 10-дневной отлучки, хотя стремление ее было вполне удовлетворено, она отклонила мой совет ехать в Яссы, пожелала еще некоторое время пробыть в Белой и усердно занималась в приемном покое 48-го военного временного госпиталя, в самый разгар развития сыпного тифа. При этом условии и при ее свежей, по-видимому, здоровой натуре она не избежала участи, постигшей всех без исключения сестер госпиталя, и заразилась. Неоднократно посещал я больную, пока она была в сознании; все около нее было чисто, аккуратно, и вообще уход и пользование не оставляли желать ничего лучшего.*

Казалось, болезнь уступала, и температура понизилась, так что все мы верили в благополучный исход, но на 10-й день, как объяснили врачи, вследствие порока сердца у нее сделалось излияние крови в мозг, паралич правой половины, полная бессознательность, и на 7-й день она тихо скончалась...

Как до болезни, так и в течение ее ни от покойной, ни от кого из окружающих я не слышал, чтобы она выражала какие-либо желания, и вообще была замечательно спокойна. Не принадлежа, в сущности, к общине сестер, она тем не менее безукоризненно носила Красный Крест, со всеми безразлично была ласкова и обходительна, никогда не заявляла никаких личных претензий и своим ровным и милым обращением снискала себе общее расположение. Смерть Юлии Петровны произвела на всех нас, оторванных, подобно ей, от всего нам близкого, тяжелое впечатление, и не одна слеза скатилась при погребении тела покойной.

При описи ее имущества, находящегося с ней в Белой, кроме денег — около 40 полуимпериалов, деловых бумаг, нескольких фотографий и носильного платья, были, между прочим, найдены два небольших пакета с надписью на них карандашом: «В случае моей смерти прошу сжечь». Эта воля покойной была тут же в присутствии свидетелей мною выполнена, деньги и имущество сданы на хранение уполномоченного Красного Креста кн. Щербатова. Впоследствии наезжал ко мне брат баронессы гвард. офицер Варпаховский, распорядился имуществом и взял у меня свидетельство для беспрепятственной перевозки тела в Россию, но о том, когда это будет исполнено, мне неизвестно.

Вот все, что я знаю относительно баронессы Ю. П. Вревской, и буду очень счастлив, если это краткое описание будет в состоянии удовлетворить ее близких.

Примите, м. г., уверения в моем к Вам совершенном почтении и преданности.

Мих. Павлов.

Бело в Болгарии
30 марта 1878 г.»

«...Состояла в общине сестер, находящихся в Яссах...» И буквально через абзац: «не принадлежа, в сущности, к общине сестер, она тем не менее безукоризненно носила Красный Крест...»

Так принадлежала или не принадлежала Вревская к общине сестер? Или сначала принадлежала, а затем была освобождена? И по какой причине? По законам Красного Креста на войну разрешалось идти только вдовам и незамужним — это было обязательным условием для светских женщин (большую часть общин милосердия составляли монахини). Где Юлия Петровна, там и тайны!

«Мы бы хотели, если Бог даст,— писала ее сестра,— похоронить ее в Сергиевском монастыре близ Петергофа. Там все наши похоронены, и там она сама выбрала себе место...»

Ее могилы там нет.

Она похоронена на болгарской земле, хотя, по свидетельству военного врача Павлова, за телом приезжал брат, при себе имел свидетельство с разрешением на перевоз тела покойной баронессы, но уехал один. Что могло остановить его, готовящегося выполнить волю родных и волю самой Юлии? Только ее новая воля.

Почему она хотела быть похороненной на чужой земле, словно не хотела оставлять тут кого-то в одиночестве?

Еще одна — последняя — тайна Юлии Петровны...

«...Глубокоуважаемый Пахом Федорович, пользуясь этим письмом, я с большим прискорбием должна сообщить Вам краткие подробности о гибели Вашего двоюродного брата Александра Раменского, участвовавшего в Балканской кампании...»

из письма А. А. Пушкина

(от 3 марта 1879 года).

Довольно древний и загадочный род — Раменские. Потомственные просветители и учителя, с пятнадцатого века известные на Руси, Украине, в Болгарии. Образованнейшие люди (первый Раменский — Андриан — обучался в Греции и Риме) и в то же время тайные бунтари против строя и власти, хранители всего запрещенного — от манифеста Пугачева до листовок РСДРП и оружия.

В 1763 году Алексий Раменский приехал в село Мологино Тверской губернии, Старицкого уезда (чувствуете, читатель, что за этим адресочком кроется? — соседство с Юлией Петровной), где организовал школу в имении А. М. Юрьева. Друг юности Алексия Александр Радищев (тоже сосед по Старицкому уезду) всегда оставлял в Мологине на хранение свои рукописи. Когда его сослали в Сибирь, Раменские занялись перепиской и распространением «Путешествия из Петербурга в Москву» и делали это очень старательно.

После самоубийства Радищева установилась в семье Раменских традиция: в этот день собираться вместе, читать предсмертное письмо Радищева и посвящать молодых Раменских в учителя.

Архив Радищева долгое время хранился в Москве у Матвея Рамеиского. После смерти Матвея бумаги перешли к его сыну, учителю Поливановской гимназии Александру Матвеевичу Раменскому.

Алексей Алексеевич Раменский помогал Н. М. Карамзину собирать материалы по истории, в благодарность за что тот подарил ему полное собрание своих сочииений, вышедших в 1820 году, с дарственной надписью. А также завещал дарить Рамеиским все издания и переиздания «Истории...». Первые тома в 1833 году в Мологино привез Пушкин.

У Александра Сергеевича были причины интересоваться этим семейством. В их архивах ои иадеялся иайти бумаги, подтверждающие привоз в Россию арапа Ганнибала, также его интересовали воевода Гаврила Пушкин и история пугачевского бунта. Ои собирался иаписать историю Петра I, и здесь тоже без Рамеиских было не обойтись. Попутио, совсем на то ие рассчитывая, Пушкин услышал от Алексея Алексеевича предание о дочери мельника, обманутой одним из дедов Вульфов — близких знакомых Пушкииа — и утопившейся в Берново (Старицкого уезда). Из этой истории родилась поэма «Русалка».

Этот же Алексей Алексеевич Рамеиский был домашним учителем декабристов братьев Муравьевых и Анны Кери.

Воспитание в лучших традициях пушкинской музы Раменские отличио сочетали с хранением ие только запрещенных бумаг, ио и оружия. На какой случай держали они этот склад и время от времеии перед обысками топили его в речке Итомле?

В 1861 году, ие дожидаясь официального оглашения манифеста о крестьянах, Пахом Раменский зачел его в храме крестьяиам после службы, «...сие привело к беспорядку и самочииному захвату земель, Пахомий Раменский посажеи по распоряжению старицкого управника в острог иа два месяца».

О Пахоме Раменском известно, что это был человек недюжинной физической силы, заколовший 41 медведя и любивший говорить: «У меня было 18 детей и одни сапоги». Ои увлекался рыбиой ловлей, музыкой, поэзией и приемом у себя гостей, вроде Софьи Перовской. Зиаменитая нигилистка прожила в Мологине иесколько месяцев и иа память оставила карту Петербурга с планом покушения иа Александра II. Карту любовио зашили в икону Мологинской церкви, где она пролежала до тех пор, пока священник не узнал и не уговорил убрать. Перовскую Пахом торжественно иазывал «иовым человеком будущей России». Старший его сын, Алексей, во время службы в Симбирске в 1873 году был домашним учителем в семье Ульяновых, у маленького Володи.

А теперь главное.

После смерти Пушкина, отслужив в Мологине тайную панихиду по «болярину Александру», Раменские решили создать музей Пушкина в Старицком уезде. Идея эта претворялась в жизнь многие десятилетия. За помощью они обратились к сыну поэта Александру Александровичу и спустя время, в конце семидесятых, получили от него ответ, где ои, растроганный до слез любовью Рамеиских к отцу, обещает им кое-какие его личные вещи (крестильную рубашку и перочистку) и, в частности, пишет:

«...Глубокоуважаемый Пахом Федорович, пользуясь этим письмом, я с большим прискорбием должен сообщить Вам краткие подробности гибели Вашего двоюродного брата Александра Раменского, участвовавшего в Балканской кампании. Я имел честь командовать 13-м Нарвским гусарским полком, которому были приданы болгарские дружины и русские волонтеры, в числе которых был и Ваш брат. Я пишу об этом потому, что вряд ли Вы успели узнать об этом трагическом событии, тем более что мы понесли большие потери. Ваш брат погиб как герой при штурме селения Арметли, где и похоронен в братской могиле у самого селения (это 70—80 км южнее Бялу, где похоронена Вревская. — М. К.). *Незадолго до этого за храбрость и отвагу был высочайше награжден. Смерть его настигла 20 ноября 1878 года (это явная опечатка, так как в марте 1878 года война уже кончилась. Так что... 20 ноября 1877 г.* — М. К.), *на его могилу приезжала наша героиня, организовавшая отряды сестер милосердия в болгарской армии, Юлия Вревская, друг Вашего Александра и Ваша землячка, которую я знал по Петербургу и был приятно удивлен, что Ваш брат Александр и Юлия Вревская находились в гражданском браке. Вскоре и эта героическая женщина погибла на полях Болгарии. Примите от меня и нашей семьи искреннее соболезнование.*

Пожелаю Вам успехов в Вашем благороднейшем начинании.

С глубоким уважением Александр Пушкин».

Еще в «Хронике» Раменских сказано, что Александр Раменский погиб на глазах Юлии Петровны, что она прислала в Мологино его памятные вещи, орден и горсть земли с могилы; что на могилу возложила венок из белых роз (это в декабре-то месяце?). Этот факт, как и то, что погиб Раменский на ее глазах, представляется красивой неточностью. Вревская после Яссов все время находилась в Бялу, выезжала только в Обретеник (12 км от Бялу), где в то время не было боев и где она провела 2—7 дней после того, как санитарный отряд уже выехал оттуда (виделась с Александром Раменским?). Потом вернулась в Бялу, написала сестре, а вот затем теряются пять дней (возможная поездка на его могилу, хотя она ничего никому не говорила), а следом уже известное: «...около 4 января почувствовала себя плохо...» Съездила в Арметли и слегла, а вскоре умерла.

В «Хронике» имя Александра Раменского в революционных «подвигах» не фигурирует. Сказано только, что был он учителем Поливановской гимназии в Москве (60—70-е годы), что в 50-х сотрудничал с журналом «Русский архив», писал статьи об образовании, был поклонником идей Ушинского, хранил, правда, в своем доме рукописи Радищева, ну так это ему честь делает, хотя двоюродный брат его Пахом вывез вскоре радищевский архив в Мологино.

В русско-турецкую войну ушел добровольцем на фронт, так как имел и болгарские корни, сочувствовал земле предков, хотя и был москвичом; ушел скорее всего переводчиком (знал болгарский и другие языки), пал вернее всего не в бою, а подстрелил его в лесных местах из засады турок, а Александр Александрович написал «погиб геройски», ну, так на войне все погибали

геройски, вот н о Вревской так же. Хотя они скорее геройски жили, а погибали обыкновенно (она — от инсульта, он — от случайной пули) *.

Мне очень нравилось поначалу видеть в Юлии Петровне светскую «монахиню», которая, схоронив мужа (годившегося ей в отцы, да и прожила с ним всего ннчего), осталась на всю жизнь одинокой и несчастной, может быть, даже искавшей смерти, но не бесцельной (как ее пасынок Николай), а не нначе, как «послужившн ближнему своему».

Но так ли все это? Была опала, развод сестры, неблагополучие в семье, безденежье, любовь к царской семье и императрнце, Красный Крест; был тайный брак с человеком не дворянского сословия, который она мучнтельно скрывала, настойчивые ухаживания Тургенева, его обиды н ирония, много всего — всякого неблагополучия, внутреннего н внешнего. И началась война, и забрезжила надежда на выход. Какой? Может быть, снова милость у царицы (ведь старалась же, орловское имение продала, чтобы собрать на этн деньги отряд нз 22 медицинских сестер; не входя в Красный Крест, везде была с его участницами, знатными дамами; в Бялу уже как частное лицо поехала, хотя после Ясс ее нз Красного Креста освободили, сам император говорил: «Хватит подвнгов, Вы будете награждены, возвращайтесь в Петербург»,— не поехала). А может, надеялась на милость к Раменскому (титул, слава, можно будет объявить о браке **). Или смерть тоже выход? Да мало ли что там было. Сама Юлия Петровна очень оберегала эту тайну ото всех. Не стоит быть чересчур назойливой нз уважения к умершей 113 лет назад...

И. С. Тургенев писал Вревской: «Желаю, чтобы Ваш подвиг не оказался непосильным для Вас и чтобы это не сказалось на Вашем здоровье». Его пожелания не сбылись. Хотя он до конца не верил, что она пойдет на войну. В ней было нечто глубокое и страшное, чего он не сумел разглядеть.

Они очень дорожили друг другом и выдержали более трудное испытание, которое выпадает на долю мужчины и женщины, чем испытание любовью. Они выдержали испытание дружбой влюбленных. Юлия Вревская — самая загадочная героиня ненаписанного романа Тургенева...

48 писем н 5 встреч...

Они в Париже, они недавно познакомились. Юлия Петровна рада знакомству, Тургенев вызывает ее интерес: дважды прнглашала она его к себе, но он уклонялся от любопытства светской дамы. Он баловень женщин, он устал от них. Ему пятьдесят пять лет.

---

* Где они встретились? На войне или раньше? Что это было: брак или дружба? Есть и другая публикация письма А. А. Пушкина, где слова о браке деликатно опущены. Чем ближе к нам, тем туманнее эта загадка. (Прим. авт.)

** То, что брак был тайным, точно даже по тому, что ей разрешили пойти на войну — такое разрешение в прошлом веке давалось только вдовам и незамужним. (Прим. авт.)

В приглашение она вложила возможиость отказа и заранее извинила его, так что господину Тургеневу осталось только взять перо и обронить: «Оказывается, что Вы правы, любезнейшая...» — пусть барынька там позлится или поскучает. Разве что после охоты «...явлюсь к Вам, и тогда, надеюсь, нам удастся пообедать вместе». Ан не на ту напал — не удалось.

Так они и не встретились в тот год. Но Тургенев не забыл Юлию Петровну. Трудно сказать, что именно сразило его, ведь письма ее почти не сохранились. Быть может, он интуитивно обнаружил странное сочетание доброты н гордостн и еще сам не осознавал, что впервые в жизнн встретил свою героиню. Еще не написанную, не литературную — живую. И если бы удалось подобрать ключик к ее душе, понять н разгадать ее, какой свежий и притягательный литературный персонаж мог бы сойти из жизни на чнстые страницы. Да, Иван Сергеевнч, за целый год бурной парижской жизни вы не забыли госпожу Вревскую...

Из Парижа Тургенев собирается в Петербург и пишет после долгого перерыва Юлии Петровне. В первом же письме — полный набор уловок опытного ловеласа: н кокетство старостью, и намек на свон грехи (по женской части, разумеется), и властный приказ не уезжать из Петербурга, не повидавшись с ним. И туманные рассуждения о чувстве, «несколько странном, но искреннем и хорошем, которое я питаю к Вам...». И приглашение в сообщники: «...Вы это все лучше меня знаете».

И, само собой, разговоры о творчестве, просьбы почитать и сказать свое мнение — какая женщина не растает, если известный писатель признает ее равной по уму, да еще и поинтересуется ее мнением, будто так оно уже важно?!

И после этих громких, властных н умных слов — вдруг: «Итак до свидания — слышнте?» — тнхий вопрос, почти шепот, одними губами на ухо: «...слышите?» — это только для двоих.

И что же? В Петербурге он ее не застал. Ехал завоевателем, а воевать не с кем. Как говорится, не сражающийся — непобедим, н Иван Сергеевич неожиданно для себя расстроился, что не он хозяин отношенням, и попытался скрыть горечь невстречн за прнвычной иронией и делами. Да, сразу появляется очень много дел, прямо столько, будто все вообще дела на свете взялся переделать именно Тургенев. Два илн трн последующих письма наполнены этими «деламн» до отказа, так что там больше и нет ничего, если не счнтать подробного адреса Спасского-Лутовнинова н отчаянной припнскн: «Не смею больше ннчего прибавлять...»

Но она не едет. И только радушно н простодушно продолжает приглашать к себе. Что за этим? Почему она делает вид, что не понимает, чего он хочет? Надо полагать, для нее не составляло труда разгадать этн прнемы «професснонального» влюбленного. Но у нее как будто есть искреннее чувство к нему, так же, как и у него к ней. И она не торопясь подбирает стиль отношений.

В отчаянии Тургенев припугнул даже расставанием, зная, что дорог ей. Расчет был в общем-то верный (ужас жизнн без такого заметного кавалера, по идее, должен был образумить любую женщину), но не для Юлии Петровны. Она только простодушно

спросила: за что бы он так на нее рассердился? И снова позвала в гости.

И все-таки он нашел ее слабое место. Смиренно написал о припадке подагры, да сильном, вот она и примчалась в Спасское. Сигнал о чужом несчастье вызвал у нее однозначную реакцию вопреки соображениям рассудка. Приехала и прожила у него в имении пять дней. Потом больше уже так не делала.

После ее отъезда из Спасского Тургенев рассыпается «в душевных спасибо», заверяет в «искренней дружбе» и пропадает надолго, хотя «теперь всегда нужно будет знать, где Вы и что с Вами».

И он, и она много ездят. Письма запаздывают, а часто и не застают адресатов. Каждый из них нетерпелив и как будто свободен. Они везде соседи: в Париже, в Петербурге, в Орловской губернии. Она, видимо, пишет ему чаще. Он иногда оставляет письма без ответа: когда нарочно, когда нет,— и она прощает ему это и только просит «гладить иногда ее по головке» своими посланиями. А ведь она гордячка! Значит, Тургенев пробудил в ней что-то большее, чем просто светскую необходимость поддерживать завязавшуюся переписку (в этом случае его молчание давало ей право ее оборвать); либо же прощала ему, чувствуя сходство и взаимопонимание, ценя в нем прекрасного собеседника. У них, кстати, совершенно сходный юмор, общий скептический настрой к жизни, склонность к иронии, которая легко перетекает в серьезность, нежность или шутку. Они и сами не раз признавались друг другу в этом сходстве.

1875 год начинается увлекательным состязанием. Настойчивость Тургенева наталкивается на дразнящий отпор Юлии Петровны. Причина: поездка в Богемию на воды и встреча там. Тургенев буквально неистовствует, уговаривая ее сдаться и приехать. В ход идет все: и мальчишеские признания, что нравится она ему «ужасно», и уверения, что узелок их отношений завязан крепко — «не вздумайте рвать» — ничего не выйдет, да и к чему? «Кому от него вред будет? Увы! Никому — ни даже мне... ни даже Вам!!» И страх, что она передумает и махнет на свой Кавказ или в Индию, к своим пашам или кавказцам, яростная ревность, ему всюду мерещатся мужчины (она острит на это, что он сам посылает ее ко всем пашам), ревность и злость на ее семейные дела, которыми она, видимо, прикрывается, а может, и правда озабочена: «У Вашей сестры есть муж, обойдутся и без Вас». И угрозы, что ее приезд будет проверкой их дружбы и если не приедет, то и дружбе конец. Он пугает, что старость и впрямь не за горами, и это последний случай «золотой волюшки», ведь жизнь стремительно уходит. Рисует прекрасные картины: обед вдвоем в маленьком ресторанчике, завтрак «тет-а-тет» в трактирчике или в ее комнате за чаем, «...глядя Вам в глаза, которые у Вас очень красивы, и изредка целуя Ваши руки, которые тоже очень красивы, хотя велики... но я такие люблю». Он прямо говорит ей о своем желании побыть наедине и зовет в Карлсбад. Воды — классическое место адюльтера XIX века. Сюда-то он ее и приглашает.

Она же «с удовольствием» сидит в деревне и отсюда «водит его за нос». То она едет, то не едет, а может, она и правда в расте-

рянности от его настойчивости н не знает, как лучше поступить: то ли раздуть в «старичке» ревность н своевольничать дальше — ведь он любнт непрнступность, н отказ будет в ее пользу,— то ли не нспытывать дольше его терпення н поехать, а там на месте решить, что делать.

А его вопросы: «порвалась ли веревочка в ее лапках?» н «крепка ли была эта веревочка?» — что это значит? Опять о ее несвободе? Он знал о ней больше, чем пнсал в письмах, а мы никогда не узнаем этого, н 9/10 ее жизнн так н останутся в темных водах прошлого.

И все-таки благоразумне взяло верх. Тургенев, едва удерживаясь в светских рамках, с горечью констатирует, что «на личное свидание в Карлсбаде я уже не надеюсь: Ваше последнее письмо рассеяло мои ожидания». И кисло прнбавляет, что благодарнт ее хотя бы за **желание** прнехать туда, еслн бы не дела н обязанностн. Он подавлен, как будто даже охладел (сколько напора н усилий впустую, а он немолод), и даже желчно острнт, что это к лучшему: «Скука, говорят, отличное подспорье водам н всяческому леченню». Да н не так уж романтнчно двум немолодым людям свидеться на водах по причине нездоровых желудков — вот вам, Юлия Петровна, получайте.

Юлия Петровна никуда не поехала, н пошли спокойные, дружеские письма, но вот в августе, в скобках, он из Парижа: «...(в эту самую минуту над нашим садом проходит гроза в роде карлсбадской, помните?)»...

«50, Rue de Donai
Paris.
Середа, 7-го февр.
26-го янв. 77.

Милая Юлия Петровна! Спасибо Вам за Ваше доброе письмо. Я всегда чувствовал, что Вы искренне ко мне расположены и принимаете во мне участие. О «Нови» говорить с Вами я не буду — потому что этот вопрос для меня решен окончательно.

Пришедшее вчера известие о падении Мидхат-Паши может опять изменить положение дел и возобновить шансы Горчакова и войны. Но все-таки я теперь перестал в нее верить — и Вам едва ли можно рассчитывать на служение раненым и больным своей особой. Хоть Вы и не верите моему приезду в Петербург — однако я этой мысли не покидаю — и чувствую, что скоро Вас увижу. Вы меня называете «скрытным»; ну слушайте же — я буду с Вами так откровенен, что Вы, пожалуй, раскаетесь в Вашем эпитете.

С тех пор, как я Вас встретил, я полюбил Вас дружески — и в то же время имел неотступное желание обладать Вами; оно было, однако, не настолько необузданно (да уж и немолод я был) — чтобы попросить Вашей руки — к тому же другие причины препятствовали; а с другой стороны, я знал очень хорошо, что Вы не согласитесь на то, что французы называют ***une passade...*** *Вот Вам и объяснение моего поведения. Вы хотите уверить меня, что Вы не писали «никаких задних мыслей»; —*

увы! я, к сожалению, слишком был в том уверен. Вы пишете, что Ваш ***женский*** *век прошел; когда мой* ***мужской*** *пройдет — и ждать мне весьма недолго — тогда, я не сомневаюсь, мы будем большие друзья — потому что ничего нас тревожить не будет. А теперь мне все еще пока становится тепло и несколько жутко при мысли: ну, что если бы она меня прижала бы к своему сердцу не* ***по-братски?*** *— и мне хочется спросить, как моя Мария Николаевна в «Вешних водах»: «Санин, Вы умеете забывать?»*

Ну вот Вам и исповедь моя. Кажется, достаточно откровенно?

Мне очень было жалко слышать то, что Вы говорите о своем нездоровье; надеюсь, что это ложная тревога — и Вы будете жить долго. Радуюсь во всяком случае, что ушиб прошел бесследно.

Целую Ваши руки и остаюсь Ваш
Ив. ТУРГЕНЕВ».

Ее испугала откровенность, и чисто по-женски она растерялась, начала оправдываться и уверять, что никогда не «писала» никаких задних мыслей», что женский век ее давно прошел — кисловатые, конечно, оправдания для человека, которому становилось «тепло и жутко» от одной только мысли, что она «прижмет его к сердцу не по-братски».

Правда, здесь же она говорит о том, что чувствует, что ей осталось немного, но Тургенев, возможно, сам уязвленный серьезностью собственного признания, не обращает на ее слова большого внимания и со светским холодком уверяет, что «это ложная тревога — и Вы будете жить долго». Трудно сказать, насколько на самом деле Юлию Петровну испугало признание, возможно, что, сама не отдавая себе в том отчета, она хотела, чтобы под конец он все назвал своими именами; сквозь пелену мрачных предчувствий услышать его признание и жить дальше — сколько отпущено.

Признание Тургенева заставило и Юлию Петровну произнести несколько «неосторожных» слов. Но Тургенев верен себе в этой «любовной» игре: делай, не как скажет женщина, а наоборот, и твердо констатирует, что «нет сомнения, что несколько времени тому назад — если бы Вы захотели... Теперь — увы! время прошло — и надо только поскорей пережить междуумочное время — чтобы спокойно вплыть в пристань старости». И горько добавляет, что ему довольно при встрече целовать ее руки, которые она всегда «с каким-то ужасом принимает».

И дальше, чтобы снять неловкое напряжение от откровенности, дружески сплетничает об общих знакомых в Париже, называет ее «прелестью», «милейшей», благодарит за заметки о молодых нигилистах (все-таки Юлию Петровну интересовали эти «пошлые школьники», раз она отправилась посмотреть на них в окружной суд, ей и здесь хотелось составить свое мнение), а также, покорно ставя себя в общий ряд ее поклонников, восхищается ею и отдает предпочтение перед всеми другими

светскими барынями. Он предвидит, что русское правительство выигрывает время, чтобы весной начать войну, и добавляет, что «на свете все бывает... за исключением одной вещи, где замешаны Вы... и которая, конечно, никогда не сбудется». Он говорит правду о двойственном роде своей любви, которая делится на дружескую привязанность и желание «обладать». Горечь отвергнутого да еще и признающего это мужчины не мешает ему подписывать письма «душевно Вас любящий Иван Тургенев».

И нет оснований сомневаться, что это так.

Вновь возвращается восточная тема. Он надеется застать ее в Петербурге и наговориться с ней, сидя в ее восточном кабинете — «в этом большом тоже восточном доме». Ее тянет на Восток, она без памяти любит Кавказ, природу, море, даже горская речь приятна для ее слуха. Наверное, в этой любви немного логики, наверное, не все там, в том мире, она понимала, скорее любовь к ясному и безоблачному времени в своей жизни оформилась у нее в эту страсть к Востоку. Она была молода, свободна, любима, все было впереди — все это органично переплелось с миром «странной горской речи», пышной растительностью, громадами гор, лазурью моря, криком альбатросов и чаек. Не оттого ли она и на войну отправилась, чтобы напоследок, из этого «климата морального разложения», окунуться в лазурь и горы, окунуться в детство,— война тоже входила в ее детский и девический мир?!

Неисповедимы пути Господни, но неисповедимы, отчасти, и пути человеческие, которыми ведает Господь.

В последнем письме Тургенев обращается к ней как к Сестре Юлии, желает, чтобы подвиг, который она взяла на себя, не оказался непосильным, растроганно интересуется, какой ее костюм, и уверяет, что «ее рукам предстоит много добрых дел». Он не надеется на встречу перед ее отъездом в армию, да и ему туда не очень хочется: «...там для меня пахнет литературой — а я получил к ней достаточное омерзение в последнее время; да и она меня извергает; так что нам лучше всего разойтись подобру-поздорову»...

И все-таки они встретились еще раз. По письмам этого не следует, но вот К. П. Ободовский в «Рассказах о Тургеневе» пишет: «Летом 1877 года на даче в Павловске я познакомился с известным поэтом Я. П. Полонским. Раз, после обеда, часу в седьмом, ко мне является прислуга Я. П. и передает его приглашение прийти... Тургенев прибыл не один. С ним вместе приехала дама в костюме сестры милосердия. Необыкновенно симпатичная, чисто русского типа, черты ее лица как-то гармонировали с ее костюмом. В тот вечер, накануне отъезда, она была очень оживлена и, разумеется, не предчувствовала того, что, уехав в Болгарию, уже больше не вернется на родину...»

Не предчувствовала?

В своем последнем письме Тургеневу с фронта в ноябре 1877 года Вревская написала: «Прощайте, дорогой Иван Сергеевич,—

и как Вы можете прожить всю жизнь иа одном месте? Во всяком случае дай Вам Бог спокойствия и счастья...»

Был ли ои потом покоен и счастлив?..

Маршруты Вревской на войие в общем-то известны: с коица июия до середины иоября — Яссы; с двадцатых чисел иоября до пятого декабря — Бяла; потом с пятого до двадцать первого января — поездка в Обретеник иа телеге, так как медицинский отряд, отправленный туда на «передовую позицию», отказался взять ее с собой, ведь оиа «ие принадлежала к общине сестер»; в Обретенике оиа задержалась на иесколько дией после того, как все выехали обратно в Бялу (что ж, вольная птица, могла себе позволить); что она делала там эти дни? Потом вернулась в Бялу, написала сестре, что ие вернется в Петербург и будет ждать здесь окончания войны — потом теряются пять дней (да мало ли в ее таинственной жизни таких «потерянных»),— а дальше записка, которая хранится вместе с письмами Вревской, переписанными ее сестрой, в Пушкинском доме:

«...заболела тифом 5 января 1878 года. 4 дня ей было нехорошо, не хотела лечиться; попросила священника, исповедалась и приобщилась; не знала опасности своего положения. Вскоре болезнь сделалась сильнее, впала в беспамятство, была все время без памяти до кончины, т. е. 24 января 1878 г. У нее был сыпной тиф, сильный; очень страдала, умерла от сердца, потому что у нее была болезнь сердца. Лежала у себя в хате на койке, земляной пол, окна заклеены только бумагой. Сестры милосердия были при ней все время ее болезни и смерти. Могилу копали ей раненые, за которыми она ухаживала, и они же несли ее гроб и не дали его никому. Нельзя было ничего достать в Беле, но ей все-таки сделали гроб; все хотя очень просто — фланелевый, синий; похоронили в платье сестры милосердия, около православного храма в Бело».

Оиа заразилась тифом от сумасшедшего: «Так мие его жаль, я его кормлю, ои меия узиает». Но умерла от иисульта, по письму Павлова,— осложиеиие после тифа.

Исполняя волю покойиой, Павлов сжег все ее бумаги, кроме разве что писем с войны, потому что ни он, ии оиа ими уже ие распоряжались.

Письма заботливо переписала и «отредактировала», как утверждает Куртев, ее сестра Наталья Петровиа и уж, коиечио, ие меньше Юлии позаботилась о ее чести: там иет никаких иедомолвок, за исключением одиой: «...буду экоиомить, чтобы употребить деньги... как — ты зиаешь...» Эта фраза дана в отрывке из письма с иепроставлеиной датой. На что Юлии нужны были деньги, что зиала сестра, и о чем впрямую ие говорилось? Чтобы быть готовой в каждый момеит выехать в любое место по чьему-то зову? Как узнать? Юлия Петровиа вериа себе.

Сестра своей «цензурой» заложила первый камеиь в пьедестал легенды Вревской, оставив от человека с его слабостями и сомнениями только подвиг. И оиа парит над иами: прелестиая женщина с крестом иа груди...

ПОД КРАСНЫМ КРЕСТОМ

(Посвящается памяти Ю. П. Баронессы Вревской)

Семь дней, семь ночей я дрался на Балканах,
Без памяти поднят был с мерзлой земли;
И долго, в шинели изорванной, в ранах,
Меня на скрипучей телеге везли;
Над нами кружились орлы — ветер стонам
Внимал, да в ту ночь, как по мокрым понтонам
Стучали копыта измученных кляч,
В плесканьях Дуная мне слышался плач.

И с этим Дунаем прощаясь навеки,
Я думал: едва ль меня родина ждет!..
И вряд ли она будет в жалком калеке
Нуждаться, когда всех на битву пошлет...
Теперь ли, когда и любовь мне изменит,
Жалеть, что могила постель мне заменит!..
— И я уж не помню, как дальше везли
Меня по ухабам румынской земли...

В каком-то бараке очнулся я, снятый
С телеги, и — понял, что это — барак;
День ярко сквозил в щели кровли дощатой,
Но день безотраден был — хуже, чем мрак...
Прикрытый лишь тряпкой, пропитанной кровью,
В грязи весь, лежал я, прильнув к изголовью,
И сам искалеченный, тупо глядел
На лица и члены истерзанных тел.

И пыльный барак наш весь день расставался:
Вносили одних, чтоб других выносить;
С носилками бледных гостей там встречался
Завернутый труп, что несли хоронить...
То слышалось ржанье обозных лошадок,
То стоны, то жалобы на распорядок...
То резкая брань, то смешные слова,
И врач наш острил,
Засучив рукава...

А вот подошла и сестра милосердья! —
Волнистой косы ее свесилась прядь.
Я дрогнул.—
К чему молодое усердье? —
«Без крика и плача могу я страдать...

Оставь ты меня умереть, ради Бога!»
Она ж поглядела так кротко и строго,
Что дал я ей волю и раны промыть,—
И раны промыть, и бинты наложить.

И вот над собой слышу голос я нежный:
«Подайте рубашку!» — и слышу ответ,
Ответ нерешительный, но безнадежный:
«Все вышли, и тряпки нестиранной нет!»
И мыслю я: Боже! Какое терпенье!
Я дышащий труп, я одно отвращенье
Внушаю; но — нет его в этих чертах
Прелестных, и нет его в этих глазах...

Но нет! Не забыть мне сестрицы святой!
Рубашку ее сохраню я до гроба...
И пусть наших недругов тешится злоба!
Я верю, что зло отзовется добром: —
Любовь мне сказалась под Красным Крестом.

1878 марта 6.

Я. П. ПОЛОНСКИЙ

В Бялу в парке стоит белокаменная скульптура. Женщина в сестринском одеянии, похожая на русалку,— платье кажется хвостом, ноги подвернуты, одна рука на коленях, другая под щекой. Поза скорби.

На могиле скромный памятник. «Сестры милосердия Неелова, баронесса Вревская. Январь 1878 г.».

В Плевне, в Скобелевском парке, в филиале Военно-исторического музея хранится портрет Юлии Петровны, написанный маслом. Кто-то из раненых, видно, очаровался ее красотой.

В газете «Новое время» в конце января некролог с портретом.

В журнале «Пчела» — сонет Полонского в ее память.

Страничка в «Историческом вестнике» в 1893 году.

В 1907-м — публикация в Щукинском сборнике писем Тургенева.

Вот и все, что осталось о ней. И легенда...



Зерна цвета

ЕВГЕНИЙ КОВТУН

Судьба Михаила Федоровича Ларионова (1881—1964) печальна, ибо пала она на трагическую пору отечественной нашей истории.

Художник разделил горькую участь многих, очень многих своих сверстников, волею событий оказавшихся далеко от земли, их вскормившей.

Рождение, детство, учение, первые успехи и стремительный взлет новаторского, «бунтарского» творчества — все это вместилось в тридцать восемь «русских» лет художника, а сорок пять оставшихся — под чужим небом. Европейской славе «русского парижанина» на родине социалистического реализма места, как известно, быть не могло, разве что в немой памяти тех, кто не хотел и вопреки всему не мог отказаться от баснословного прошлого русского искусства. Таких, впрочем, было немного и с каждым годом все меньше...

Но если жизненную судьбу Мастера уже не переменить, не исправить, то судьба его живописи — в руках будущего. Для Ларионова оно наступило — время оглянуться, а может быть, и изумиться: вот что могло кануть в Лету!..

Предлагая сегодня читателям статью крупнейшего исследователя творчества Ларионова Евгения Ковтуна, мы надеемся, что художественное наследие Мастера станет не только объектом эстетического наслаждения, но и займет законное свое место в бурном потоке живописи XX века.


М. Ларионов и Н. Гончарова. Москва, 1913.

Париж, 1962.

В новом русском искусстве этому художнику по праву принадлежат ключевые позиции. Михаил Федорович Ларионов был у самых истоков стремительного процесса обновления русской живописи, совершавшегося в начале XX века.

Крутые реформы Петра I ввели русское искусство в общеевропейское русло; возникшая Академия художеств довершила этот процесс. Однако вместе с явными приобретениями обнаружились и несомненные утраты. «Ученое» искусство Академии оторвалось от народных корней и в сильной степени потеряло свою национальную самобытность. Развитие пошло по двум направлениям: продолжало жить народное искусство, но пути искусства «ученого» разошлись с ним. Впрочем, так продолжалось недолго. В недрах «ученого» искусства начались попытки соединить два этих потока. Они связаны с именами Венецианова, А. Иванова, Федотова, Сурикова, Рябушкина, Врубеля, Борисова-Мусатова. К XX веку эта тенденция «национализации» заявила о себе в полный голос.

То, что оказалось не под силу смотревшему на Запад «Миру искусства», блестяще осуществили Ларионов, Гончарова, Малевич и живописцы их круга — они-то и сумели соединить оба русла в один мощный поток обновленного русского искусства, обретшего прежнюю национальную самобытность.

Рассматривая движение искусства на рубеже веков, нельзя не заметить, что там, где кончаются Врубель и Борисов-Мусатов, начинается Ларионов, уловивший и по-своему преломивший импульсы, содержавшиеся в творчестве старших его современников.

Борисов-Мусатов раньше других русских художников испытал плодотворное воздействие принципов импрессионизма, понятых глубоко и своеобразно претворенных. «В те годы, когда будущие мастера «Мира искусства» еще находили опору своим исканиям в мюнхенском модерне и картинах Берлина, а в понимании импрессионизма не шли дальше Уистлера и Цорна, Борисов-Мусатов с пристальным вниманием обратился к творчеству основоположников новой французской живописи». К началу XX века он достигает вершин своеобразного поэтического импрессионизма, столь же подлинного, но глубоко отличного от французского. Начинает испытывать тяготение к синтетичности, к поискам большой пластической формы («Весна», «Водоем»). Спустя короткое время движение, намеченное Мусатовым,— к живописному синтезу, а вслед за этим к конструктивности — захватит многих молодых русских художников. Прочные нити преемственности связывают раннюю живопись Ларионова с Мусатовым. Последние годы его творчества совпадают с импрессионистским периодом Ларионова.

Столь же симптоматичным для новейших тенденций русской живописи было и творчество Врубеля, воспринимавшегося беспокойным чужаком в культурно-умиротворенной атмосфере «Мира искусства». В его поздних живописных и графических работах присутствует такое заострение и сдвиг пластических форм, которое может быть понято лишь через призму последующих событий в русском искусстве. Эти сдвиги и грани, смущавшие современников, были дальними раскатами грозы, зревшей в русской живописи. Подражание Врубелю оказалось бесплодным (это известно по ряду попыток), но его влияние на следующее за ним поколение художников было огромным. Его позднее творчество, сметающее укоренившиеся догмы и представления об искусстве, произвело освобождающее действие на умы художников, подготовив их к восприятию новых художественных идей, с быстротой снежного кома выраставших в русском искусстве начала века. Тот «взрыв формы», который

можно наблюдать в последних живописных и графических работах Врубеля, ставил под сомнение привычные художественные каноны, убеждая в возможности иных пластических решений и развивая новое понимание пропорций и пространства.

Интересно, что уже в конце 1900-х годов наиболее внимательные критики прозревали связь Врубеля и Борисова-Мусатова с новыми тенденциями в русском искусстве. Тогда же были отмечены общие основы исканий «молодого искусства» в России и во Франции. В предисловии к каталогу выставки «Золотого руна» 1908 года можно прочесть: «Если родоначальниками этого движения во Франции были Сезанн, Гоген и Ван Гог, то первый толчок в России был дан Врубелем и Борисовым-Мусатовым». Мы не знаем автора этих строк, но известно, что Ларионов был инициатором и вдохновителем выставок «Золотого руна», на которых совместно выступали русские и французские живописцы.

За десять предвоенных лет Ларионов-живописец пережил стремительную творческую эволюцию, в то же время увлекая за собой товарищей по искусству. На него равнялись, за ним следовали, ему подражали. Он стал признанным главой московских живописцев-новаторов.

Импрессионистский период (1902—1906) — одна из вершин творчества Ларионова. Картины этого времени показывают, что, следуя урокам Клода Моне и Борисова-Мусатова, живописец нашел свой «голос» и «тембр», создав оригинальные произведения. Это серии и циклы картин «Сады», «Рыбы», «Домашние животные».

1904 годом датированы такие шедевры ларионовского импрессионизма, как «Верхушки акаций» или «Розовый куст после дождя». Голубое небо в верхушках акаций пронизано серебристым мерцанием весенних ветвей; удивительно прозрачны и нежны касания верхушек деревьев с небом. Короткие удары, «тычки» кистью создают живописно-тональную вибрацию фона. Кажется, небо живет, пульсирует, дышит...

Нерв ларионовского импрессионизма — обостренная цветопись, а не яркая светопись. Художник достигает необычной напряженности цвета. Нарушая все живописные каноны, он сталкивает контрастные и близкие цвета — красный, зеленый, розовый, лиловый, приводя их к неожиданным гармониям. Это поистине отважная живопись, открывающая новые цветовые сочетания. Такой «живописный риск» мог позволить себе только художник с безошибочным чувством цвета.

Другая особенность ларионовского импрессионизма — необычайное богатство живописных фактур. Как бы из цветовых зерен, соседствующих друг с другом, складывается структура его живописи, мерцающая переливами драгоценных камней. Здесь вспоминаются полотна и акварели Врубеля, вызывающие те же ассоциации. Молодой живописец был внимателен к творчеству своего старшего собрата (они были лично знакомы, о чем будет рассказано дальше). Как и у Врубеля, краска в холстах Ларионова не ложится на уже готовую форму, напротив, сама форма и пространственные отношения рождаются из красочных образований и цветных фактур. Эта «цветная пыль» (выражение Ларионова), создающая форму, особенно отчетливо выступает в «Индюшке» (1905).

В 1906 году, приглашенный Дягилевым, Ларионов приезжает в Париж и участвует в экспозиции русского искусства, входившей в состав «Осеннего салона». Он и раньше знал новейшую французскую живопись, прежде всего по собранию С. И. Щукина, но здесь она раскрылась перед ним во всем своем многообразии. Перелом в творчестве Ларионова часто связывают с этой поездкой во Францию, но вряд ли это справедливо. Уже в некоторых работах 1904—1905 годов намечается поворот в сторону фовистского обострения цвета. Суть этого процесса

можно определить как поворот от стихийно-непосредственной живописи к конструктивно-упорядоченной организации цвета в картине. Постепенно исчезает живописная вибрация. Цвет становится чище, звонче, локальней. Обнаруживается тенденция к обобщению, к «выводу» в цвете.

В «Купанье при заходящем солнце», холсте 1904 года, можно видеть, как в живописную структуру импрессионизма вторгается иной цветовой принцип. В красных фигурах купальщиц, подчеркнутых зеленью моря, такое напряжение цвета и такой «вывод» в цвете, которые уже предвещают живописные принципы, идущие на смену импрессионизму. Мы как бы присутствуем при рождении новой живописно-пластической формы. С 1907 по 1912 год продолжается новый, примитивистский период в творчестве Ларионова — время наивысшей художественной активности мастера.

Именно в эти годы происходит коренная переоценка ценностей мирового искусства, одним из инициаторов которой в России и был Ларионов. Многие явления искусства, неизвестные художнику XIX века или оставшиеся вне сферы его интересов, оказываются теперь в центре внимания живописцев. Двадцатый век, перед которым широко раскрылись сокровища мирового искусства, уже не отдает предпочтения грекам, не связывает своих художественных идеалов только с античным миром или Ренессансом. Интерес художников передвинулся в сторону того, что пренебрежительно именовали «примитивом». Они ищут подтверждения плодотворности и жизненности своих новых пластических принципов в искусстве архаики, Византии, Востока, в древних культурах африканского континента и Океании. Среди этих глубинных художественных пластов для русских живописцев главное значение получил опыт многовекового национального искусства. «У нас 23 марта будет диспут,— писал в 1913 году Ларионов художнику М. В. Ле-Дантю.— Тема такая — за Восток и национальность, против западного эпигонства — и в отдельных параграфах — традиции в искусстве, русификация западных форм». Ларионов точно подметил сущность того процесса, который подспудно протекал в русском искусстве нового времени, а теперь, в XX веке, вышел на поверхность,— русификация западных форм.

Увлечение Ларионова народным искусством было долговременным и прочным. Он собирает иконы, русские и восточные лубки. П. А. Мансуров, со слов Ларионова, рассказывает о его совместной с В. В. Кандинским «охоте» за лубками: «Больше всего они бродили с Кандинским по базарам и отыскивали мужицкие лубки. Бова Королевич и Царь Салтан, а с ними ангелы и архангелы, «хваченые» анилином вдоль и поперек,— вот это, а не Сезанн и явилось источником всех начал. Интересно, что в 1913 году Ларионов устраивает «Выставку иконописных подлинников и лубков», сопроводив каталог собственным предисловием.

Особенно привлекали художника живописные городские вывески, которые в изобилии украшали многочисленные лавочки провинциального Тирасполя, где прошла юность художника.

В первый раз вывеску Ларионов «заметил» в ранний период. Во «Фруктовой лавке» (1904—1905) вывески по краям двери в лавочку проходят как фон, решенный в принципах импрессионизма. А в 1907 году он написал первую «вывесочную» картину — «Провинциального франта»: молодой человек прогуливается по улице, где на стене дома висит вывеска «Шляпы» (дама в шляпке). Здесь вывеска не только замечена, но ее примитивистская пластика вторглась в живописный строй картины. «Франт» написан в той же стилистике, что и вывесочная «дама». С этого холста творчество Ларионова вступает в примитивистский период.

В конце 1900-х годов появляется знаменитая серия «вывесочных» «Парикмахеров» (лучшие из них находятся в зарубежных собраниях).

В «Офицерском парикмахере» Ларионов упрощает рисунок, добиваясь, как делали художники-вывесочники, легкой «читаемости» изображения. Для этого парикмахер нарочито развернут в фас, тогда как «клиент» помещен в профиль. Никаких переходных позиций, которые могли бы затемнить смысл происходящего. То же преувеличение и во взмахе ножницами парикмахера, и в тупой покорности клиента, как бы приносимого в жертву.

Нельзя не отметить особенность поистине поразительную: примитивистские холсты Ларионова оказали влияние на литераторов, в частности на раннего Маяковского, увлеченного близкими к ларионовским мотивами. «Его интересовали,— писал Д. Бурлюк,— городские натюрморты. Железные вывески с «копчеными сигами», трубы, по которым водопадом струится сырость. Весь первый период стихотворчества прошел на бульварах, на улицах». Как считает А. Крученых, цикл «Парикмахеров» отразился в поэтической зарисовке на ту же тему:

Вошел к парикмахеру,
сказал — спокойный:
«Будьте добры,
причешите мне уши».
Гладкий парикмахер
сразу стал хвойный,
Лицо вытянулось, как у груши.
«Сумасшедший!
Рыжий!»
Запрыгали слова,
Ругань металась от писка до писка,
И до-о-о-о-лго
хихикала чья-то голова,
выдергиваясь из толпы,
как старая редиска..

(«Ничего не понимают», 1913).

Крученых замечает: «Это же не стихи, а ремесленная подпись к картине М. Ларионова «Парикмахер».

Своим вторжением в мир антипоэтических тем, банальных сюжетов, рыночных вкусов Ларионов предвосхитил многое и открыл дорогу многим явлениям в изобразительном искусстве и в литературном творчестве. После его парикмахеров, солдат и венер стали возможны бытовые портреты П. И. Соколова, «рыночные» натюрморты Ю. А. Васнецова, городские зарисовки Н. А. Заболоцкого и рассказы М. М. Зощенко, стихотворный «лубок» Д. И. Хармса явственно перекликается с «Офицерским парикмахером» Ларионова, написанным двадцатью годами раньше:

Полковник перед зеркалом:
Усы, завейтесь, шагом марш!
Приникни, сабля, к моим бокам,
ты, гребень, волос расчеши,
а я, российский кавалер,
не двинусь. Вертись, хохол,
спадай в тарелку, борода.
Уйду, чтоб шпорой прозвенеть
и взять чужие города.

(«Искушение», 1927).

Последние примитивистские циклы — «Венеры» и «Времена года» — были созданы в 1912 году. В незавершенный цикл «Венер» 1912 года входят «кацапская», «бульварная», «турецкая», «молдавская», «испанская», «еврейская» и «негритянская» Венеры. К ним примыкает и «Венера» из собрания Русского музея.

Весь этот цикл был полемически заострен против эстетского пассеизма* «аполлоновского» и «мирискуснического» толка. Не случайны и такие «шокирующие» названия, как «бульварная» и «кацапская» Венеры. Но эти «эпатажные» заострения должны были подчеркнуть главное — протест против рутинных «греко-римских» пристрастий в искусстве, расширение сферы прекрасного. «Негритянская Венера» возникла не случайно как раз в тот момент, когда художники открыли для себя удивительный мир африканской скульптуры. Нет сомнения, что этот ларионовский цикл был направлен и против критиков, третировавших новое искусство, и непосредственно против «главного критика», А. Бенуа, которого раздражали попытки молодых художников сделать для себя пластические выводы из опыта народного искусства. Еще в 1910 году Бенуа призывал Ларионова бросить этот путь и вернуться в лоно «старого искусства»: «Ведь он мог бы создавать вместо этих кривляний в духе какого-то нового «примитивизма» законченные и совершенные произведения в «прежнем духе». А Ларионов лишает закатный ореол старого искусства того цветистого и праздничного луча, который он мог бы ему дать». Ларионовский цикл «Венер» был отповедью «нераскаявшегося» художника критику, полемической атакой, предпринятой в форме живописных полотен.

Идти впереди времени, противореча устоявшимся вкусам,— бремя не из легких, требующее от художника бескорыстного подвижничества, неуступчивости и твердости характера. Ларионов никогда не изменял себе, не поддавался искушению облегчить себе путь, чуть сдав позиции и тем приблизив успех.

Одновременно с «Венерами» Ларионов создает «Времена года», четыре большие картины, две из которых («Лето» и «Осень») находятся за рубежом. Ларионовский примитивизм раскрывается новой гранью. В этих работах несомненная связь с детским рисунком, который высоко ценил художник. В литературе они получили название «инфантильный примитив». Однако детские рисунки дают только внешний толчок Ларионову. По существу же эти картины осложнены глубоким соприкосновением с древними, архаическими, по преимуществу восточными культурами. Их наивность — не детская, а взрослая, это взгляд на мир, исполненный поэтического простодушия. Каждая картина — своего рода стихотворение в зримых образах, и не случайно художник сопровождает изображение простыми и трогательно-наивными строками:

«Весна ясная, прекрасная.
С яркими цветами,
с белыми облаками».

«Примитивистские» холсты Ларионова, создаваемые в глубоком взаимодействии с народной художественной традицией, стали творческим стимулом для многих его сподвижников. Они открывали для всех, работающих в искусстве, возможность, черпая из богатейших национальных традиций прошлого, быть в то же время современнейшим художником.

* Пассеизм (от французского „passe" — прошлое) — пристрастие к прошлому, любование им.

В 1912 году в живописи Ларионова возникает совершенно новое явление — он создает первые полотна в духе лучизма, живописно-пластической системы, разработанной им совместно с Н. С. Гончаровой.

Западные искусствоведы внесли немало путаницы в вопрос о времени возникновения лучизма, относя его иногда к 1909 году, когда Ларионов, как мы видели, был увлечен совсем иными задачами. Здесь представляется возможность внести ясность в этот вопрос.

В марте 1912 года открылась выставка «Ослиный хвост». На ней еще не было лучистских работ. Но не таков был Ларионов, чтобы откладывать демонстрацию своих новых достижений, да и вообще в художественной жизни тех лет можно видеть жесткую конкуренцию, стремление обойти, опередить собрата. Надо было спешить хотя бы потому, что В. В. Кандинский уже создал и демонстрировал свои первые абстрактные «импровизации».

Впервые лучистские картины художник показывает в декабре 1912 года. Спустя год Ларионов опубликовал брошюру «Лучизм». Самыми представительными выставками лучизма были «Мишень» (1913), «№ 4» (1914) и выставка работ Н. Гончаровой и М. Ларионова в Париже (галерея Поля Гийома — 1914). Парижская выставка пользовалась большим успехом, она открыла для Запада русского мастера, чья своеобразная живопись внесла нечто новое в европейское искусство. Его лучистские работы заметил и высоко оценил Г. Аполлинер: «Михаил Ларионов, в свою очередь, принес не только в русскую, но и в европейскую живопись новую утонченность — лучизм».

По мысли Ларионова лучизм должен был оторвать живопись от предметности, превратить ее в самоценное и самодовлеющее искусство цвета. Основные положения теории лучизма, достаточно наивной, сводятся к тому, что мы не видим самих предметов, а воспринимаем пучки лучей, исходящие от них, которые в картине изображаются цветной линией. Но практика лучизма оказалась гораздо интереснее и плодотворнее его теории.

Критика в лучизме Ларионова увидела одну из разновидностей абстрактного искусства, однако дело обстояло сложнее.

Если импрессионизм в своем увлечении жизнью цвета отодвинул на второй план пластическую конструкцию, то кубизм, напротив, развивал структурное начало в ущерб живописному. Ларионов не хотел жертвовать ни тем, ни другим. Его лучизм был удивительной попыткой соединить, казалось бы, несовместимое — живописную вибрацию импрессионизма со структурно-конструктивной ясностью, свойственной кубизму. Несмотря на внешнюю беспредметность, лучистские работы Ларионова — движение к природе, их светоносная, сложно-вибрирующая живопись вызывает природные ощущения и ассоциации. Таков его «Лучистский пейзаж» из собрания Русского музея.

Ларионову были чужды как живописно-духовное визионерство Кандинского, так и неистовая беспредметность супрематизма Малевича. Ему, художнику, всегда получавшему творческие импульсы от зримого мира, трудно было порвать все связи с природой. Эту особенность, то есть противоположность лучизма абстракционизму и беспредметности, в свое время подметил Н. Н. Пунин, считавший, что теория лучизма была выдвинута Ларионовым «в качестве барьера против некоторых рационалистических тенденций кубизма» и на практике явилась «плодом очень тонких реалистических сопоставлений».

Добавим еще, что ларионовский лучизм возникает, по-видимому, не на голом месте. В поздних рисунках и картинах М. А. Врубеля часто

можно обнаружить пластические структуры, которые как бы предвосхищают лучистские построения Ларионова (циклы «Пророков», «Шестикрылый серафим» и др.). Художник П. А. Мансуров, близко знавший Ларионова в Париже, рассказывает, что еще студентом Училища живописи, ваяния и зодчества Ларионов попал к Врубелю, создававшему тогда майолики для гостиницы «Метрополь», и работал под его руководством примерно недели две. Никаких прямых последствий этого общения в творчестве Ларионова мы не найдем, но, рассказав об этом эпизоде, Мансуров делает, на мой взгляд, меткое замечание о формах в картинах Врубеля, похожих на «окна, хваченные морозом», и напоминающих ему «лучизм». Казалось бы, внешний признак, случайное сходство, но в нем проглядывают скрытые и дремлющие до времени тенденции развития врубелевской пластической формы.

В 1914 году Ларионов вместе с Гончаровой уезжает в Париж и работает как театральный художник для балетной труппы С. П. Дягилева. Тогда же в парижской галерее Поля Гийома состоялась выставка его работ (совместно с Гончаровой), принесшая Ларионову европейскую известность. Он знакомится с Пикассо и другими парижскими мастерами, о нем пишет статьи Гийом Аполлинер. Но война прерывает европейское турне художника. Как офицер запаса, подлежащий мобилизации, Ларионов возвращается в Москву и вскоре попадает на фронт в армию Ренненкампфа, сражавшуюся в Восточной Пруссии. Здесь он был тяжело контужен: «Чуть не без ног, контуженный, лежит дорогой Ларионов»,— писал Маяковский.

После выхода из госпиталя в 1915 году художник вновь отправляется к Дягилеву, путешествует с труппой по Швейцарии, Испании, Италии, работает над эскизами декораций и костюмов для балетов.

Революция застает Ларионова во Франции. Он живо интересуется тем, что происходит в России, и никогда не теряет связи с Родиной. В 1920 году Ларионов иллюстрирует поэму Блока «Двенадцать», вышедшую отдельными изданиями в Париже и Лондоне. В ноябре 1922 года в Париже побывал В. Маяковский, всегда высоко ценивший живопись Ларионова. В своем очерке «Семидневный смотр Парижской живописи» он рассказал о своих встречах с русскими художниками. Как результат этих встреч, в 1923 году в издательстве «Круг» выходит поэма Маяковского «Солнце» с иллюстрациями Ларионова.

В 1919 году Ларионов и Гончарова поселились в Париже на улице Жака Калло, где прожили до конца своих дней.

Двадцатые годы прошли в работе над дягилевскими балетами. Ларионов создает эскизы костюмов и декораций для балетов на музыку С. Прокофьева «Шут» (1921) и Стравинского «Байка про лису» (1922). Остро переживая отрыв от родной ему стихии русской жизни, художник возвращается к излюбленным мотивам своего творчества. Так возникает альбом «Путешествие в Турцию», исполненный гуашью с использованием трафарета и шелкографии.

Поздние живописные работы Ларионова — охристо-серебристые натюрморты, этюды обнаженных натурщиц, хрупких и как бы бестелесных, говорят о том, что художник продолжает владеть утонченной живописной культурой. Но что-то невозвратно ушло из этих работ. В них появились столь несвойственные Ларионову эстетизм, манерность и стилизация, оглядка на «французские вкусы». Громогласный живописец, каким он был в России, теперь перешел на шепот разбеленно-охристых отношений. Спад творчества болезненно переживал и сам художник...

Творческий взлет Ларионова, продолжавшийся до предвоенных лет, оставил неизгладимый след в русском искусстве XX века. Многие

художники начала века, искавшие новых путей в живописи, испытали на себе сильное воздействие искусства Ларионова, оно ощутимо в работах Н. Гончаровой, А. Шевченко, Д. Бурлюка и других. Следы ларионовского влияния заметны и в раннем творчестве таких крупных индивидуальностей, как К. Малевич и В. Татлин.

Ларионов сумел создать живопись, которая не стареет с десятилетиями. Эта на первый взгляд сугубо русская по своим внутренним качествам живопись — по миропониманию и цветоощущению — оказалась близкой, ценной и нужной всем, в ком живет потребность в искусстве. Творческое наследие Ларионова медленно, но неуклонно, как это часто бывает с художниками, опередившими свое время, идет на встречу со зрителем.



79 УБИЙСТВ МАРТЫ

ДЖОЗЕФ КСИДА

Рисунки ОЛЬГИ МОЧАЛОВОЙ



ХИЛЛ ГИББС

За тридцать девять лет, которые я прослужил в полиции, начав патрульным и выйдя на пенсию в возрасте 65 лет в чине комиссара, я, по моим подсчетам, прямо или косвенно участвовал в расследовании более четырех тысяч самых различных убийств. И за все эти годы, если не считать официальных отчетов, я ни единого слова не написал об этих убийствах. Теперь же, когда мне исполнился семьдесят один год и писать стало несравненно труднее — голова уже не та, да и артрит дает о себе знать,— именно теперь я пришел к заключению, что должен подробно написать о смертях, свидетелем которых был в последнее время.

Заметьте, я не называю их убийствами. Не называю потому, что не знаю, были ли это убийства. А если да, то совершены ли они человеческой рукой или некоей сверхъестественной силой.

Именно для того, чтобы прояснить эти вопросы для самого себя, я и пишу эти строки.

Пока жива была Марта Хилл Гиббс (а умерла она на прошлой неделе), я ни за что не стал бы этого делать. Марта была моей старинной и близкой приятельницей, самой замечательной женщиной из всех, кого мне довелось знать. Впрочем, если вы являетесь любителем детективного жанра, ее имя вам, несомненно, знакомо.

Ее часто называют американской Агатой Кристи. Свой первый детективный роман, с главной героиней медсестрой Мэри Браун, она написала еще в 1921 году. И с тех пор ежегодно выпускала по два детективных романа, не считая бесчисленных рассказов. Возможно, вы восхищались проницательностью сестры Мэри Браун, так же, как сегодня множество людей восхищается талантами Эркюля Пуаро. Или, быть может, вы являетесь поклонником Чака Силка — голливудского актера и частного детектива, ибо после 1946 года Марта перестала писать о сестре Мэри Браун и сосредоточилась исключительно на приключениях Силка.

Но я отвлекаюсь. Итак, как уже было сказано, я никогда не стал бы писать об этом, будь Марта жива, и теперь не знаю, с чего начать. Быть может, с того утра полгода назад, когда Марта позвонила мне и сообщила, что ее муж, мой давний добрый друг доктор Эдуард Гиббс, умер? Когда я думаю об этом, мне представляется, что именно вскоре после смерти Эда Марта стала вести себя как-то странно.

...Телефон зазвонил в шесть утра. Я положил зубную щетку, сполоснул рот, вошел в спальню и поднял трубку.

— Фрэнк,— услышал я голос Марты.— Фрэнк, Эд умер, прошу тебя, приходи.

В ее глубоком звучном голосе не было ноток истерии, только усталость и печаль.

Я живу почти напротив дома Гиббсов, поэтому мне потребовалось не больше пяти минут, чтобы добраться туда. Наружная дверь была открыта, и я прошел прямо в спальню.

Марта сидела на постели и держала руку Эда. На лице Эда

была мягкая умиротворенная улыбка, глаза закрыты, казалось, он спит.

— Ты ведь не ушел навсегда, Эдди? — шептала она.— Я не хочу, чтобы ты уходил.

Увидев меня, она поднялась с постели и повторила:

— Эд умер.

Я утешал ее как мог. Мы позвонили нашему общему другу доктору Голдштейну. Эд умер во сне от сердечной недостаточности.

Мисс Шмидт, секретарь Марты, и я взяли на себя все хлопоты по похоронам. Я позвонил в Лос-Анджелес внучке Гиббсов Сью.

Именно после похорон Марта удивила меня. Она, я и Сью, которой исполнилось семнадцать, сидели за столом на кухне дома Гиббсов и пили кофе, сваренный Сью. Девочка все еще плакала. Слез не было видно, но лицо выражало глубокую печаль.

— Теперь,— проговорила она,— теперь дедушка не сможет быть на моей свадьбе.

— Ну что ты, родная,— низким хрипловатым голосом возразила Марта,— конечно же, он там будет.

— Какая свадьба? — спросил я.— Не знал, что ты собираешься выходить замуж, Сью. Марта ничего мне об этом не говорила.

Марта озадаченно посмотрела на меня, потом на Сью.

— В самом деле, Сью, дорогая. Какая свадьба? Ты мне ничего об этом не говорила... И, разумеется, дедушка будет присутствовать.

Сью перегнулась через стол и взяла руку Марты.

— Прости меня, бабушка,— сказала она и посмотрела на меня,— извините, дядя Фрэнк. С моей стороны это, конечно, жуткий эгоизм, но мы с Чарли Силком собираемся в следующем месяце пожениться.

Марта была просто потрясена.

— Чарли Силк? — переспросила она.— Ты сказала — Чарли Силк? Но ведь это мой детектив и, конечно же, дедушка будет присутствовать.

Все это гораздо более странно, чем может показаться на первый взгляд. Ведь Чарли Силк, как я уже упоминал, герой детективных романов Марты. Она создала этот образ так же, как Эрл Стэнли Гарднер создал своего Перри Мейсона, Агата Кристи — Эркюля Пуаро, а Артур Конан-Дойль — Шерлока Холмса.

Однако существует и реальный Чарли Силк. Кто-то обнаружил его прошлой осенью в Голливуде, когда Марта и Эд ездили туда по поводу съемок телевизионного сериала об этом персонаже. Чарли Силк был частным сыщиком и, кроме того, немного снимался в кино. Поначалу казалось, что он и будет играть главную роль. Однако Марта сказала мне, что его актерские данные не удовлетворяют ее, да и вообще он ей не симпатичен. Тем не менее продюсер сериала весьма активно использовал реального Чарли Силка для рекламы своих фильмов. Я думаю, что именно тогда Силк и познакомился со Сью, которая приехала вместе с бабушкой и дедушкой в Лос-Анджелес, чтобы поступить там в колледж.

В тот вечер после похорон Марта неоднократно заводила разговор о предполагаемом замужестве Сью, возражая против него то мягко и укоризненно, то резко и агрессивно. Несколько раз она повторила, что дедушке это тоже не понравится, но в конце концов попросила Сью не беспокоиться, так как дедушка все равно обязательно будет на свадьбе. Мне было очень горько видеть, как сильно повлияла смерть Эда на Марту, насколько она потеряла представление о реальности.

В последующие несколько недель после отъезда Сью в Лос-Анджелес состояние Марты не улучшилось, скорее наоборот.

Я ежедневно навещал ее, и каждый раз она подолгу пересказывала мне свои беседы с Эдом об их планах на будущее. Как-то я заглянул к ней и, проходя через гостиную в кабинет, услышал ее голос:

— Ваши рассуждения, мистер Грау, совершенно абсурдны. Между убийством в целях наживы и казнью преступника огромная разница, и я вообще не верю, что существует такая вещь, как оправданное убийство.

Я вошел в кабинет. Марта сидела за своим письменным столом и беседовала с пустым креслом, стоявшим сбоку от стола.

— Привет, Марта,— поздоровался я.

Она медленно повернулась ко мне и улыбнулась:

— Фрэнк, как я рада тебя видеть. А я как раз беседую с мистером Грау.

Я постарался скрыть свое изумление, но, очевидно, не преуспел в этом, потому что Марта пояснила:

— Ты, конечно, помнишь мистера Грау. Убийцу из романа «Смерть на южном шоссе». Он совершил убийство прелестной юной четы из Алабамы.

Я отлично помнил его — мистер Грау был особо изощренным и коварным убийцей. Внешне это чрезвычайно благообразный джентльмен лет шестидесяти с роскошной седой шевелюрой и такими же густыми усами, формой напоминавшими велосипедный руль. Но мистер Грау был персонажем из романа, написанного семь лет назад, а не реально существующим человеком.

Я присоединился к беседе с невидимым мистером Грау, а потом постарался отвлечь Марту и перевести разговор на новый розовый куст, который высадил в саду в то утро. Я попытался также убедить Марту начать работу над новой книгой. Я полагал, что если она вновь с головой погрузится в занятие, которое так любила, это поможет ей обрести покой. Во время нашего разговора она вдруг ласково улыбнулась мне и сказала:

— У меня в голове замечательный сюжет, Фрэнк, но не думаю, что мне удастся написать роман.

А на следующее утро — это было воскресенье — Марта исчезла.

Около половины восьмого я подрезал тот самый розовый куст, о котором мы с ней беседовали накануне. Вдруг перед домом Гиббсов остановился блестящий черный лимузин. Я положил секатор на землю и надел очки. На мой взгляд, это была модель примерно 1927 го́да выпуска. В то время на таких машинах разъезжали преуспевающие гангстеры. Высокий, худощавый,

загорелый мужчина вылез из автомобиля и перешел на противоположную сторону улицы, куда выходили окна дома Гиббсов. Одет он был весьма странно: вычурного покроя светлый летний костюм и белая панама. Он и в самом деле походил на удачливого гангстера или профессионального игрока конца двадцатых годов.

Я разглядывал его, и у меня было странное чувство, будто я знаю этого человека. В это время на улицу вышла Марта. Переходя улицу, она помахала мне рукой. После смерти Эда я ни разу не видел ее такой бодрой и энергичной.

— Доброе утро, Фрэнк,— пропела она. Именно пропела, другого слова я не подберу. Впервые после смерти Эда голос ее звучал так жизнерадостно. Высокий мужчина открыл переднюю дверцу, и она села в лимузин. Он обошел машину, уселся за руль, и автомобиль тронулся. Марта еще раз помахала мне рукой. Не знаю зачем, но я запомнил номер.

Около четырех часов мне позвонила мисс Шмидт.

— Мистер Мэллой,— спросила она,— миссис Гиббс говорила вам, что собирается сегодня уехать?

— Нет,— ответил я,— а что?

— Дело в том, что она просила меня приехать сегодня в обычное время, к десяти часам. Я так и сделала, но не застала ее дома. Я просмотрела почту и, помимо обычной корреспонденции, счетов и тому подобного, нашла нечто чрезвычайно странное.

— Что именно?

— Записку... Вот что там сказано: «Мы собираемся провести важную встречу. Будем весьма польщены, если вы удостоите ее своим присутствием. В случае вашего согласия Джонни Френч заедет за вами в 7.30 утра в воскресенье 11 августа». И она подписана,— продолжала мисс Шмидт.— «С любовью. Ваши убийцы».

«Отлично,— подумал я,— у Марты родился сюжет для нового рассказа. Джонни Френч... Джонни Френч, очень знакомое имя».

Внезапно я вспомнил — Джонни Френч был убийцей из первого детективного романа Марты. И описание внешности Френча в книге полностью совпадало с обликом высокого худощавого мужчины, который заезжал за Мартой в это утро.

— Не волнуйтесь, мисс Шмидт,— сказал я,— и оставьте в кабинете все как было. Я сейчас буду.

Как только я переступил порог кабинета, мисс Шмидт передала мне свернутое в трубку послание. Это была не бумага, не пергамент. Материей я бы это тоже не назвал. Рискуя навлечь на себя обвинение в истерии, я определил бы его цвет, как сверхъестественно голубой. Я не знал тогда и теперь не знаю, из какого материала оно было изготовлено. Послание, которое мисс Шмидт зачитала мне по телефону, было аккуратно напечатано посередине этой штуки. Я говорю напечатано, но не могу ручаться и за это. Просто буквы выглядели так, будто они были напечатаны на машинке, а не набраны в типографии или написаны от руки. Буквы были какого-то странного светло-серого или серебристого цвета.

Подробно расспросив мисс Шмидт, я пришел к заключению,

что, насколько могла судить она сама, документ этот непонятно каким образом появился на письменном столе Марты. Иными словами, если прочая корреспонденция того дня пришла в конвертах, имела почтовый штемпель и адрес, этот документ был просто найден посредине стола. Мисс Шмидт самым тщательным образом просмотрела содержание корзин для бумаг, но не нашла никакого конверта, в котором могло прийти это послание.

Я отпустил мисс Шмидт домой и решил вызвать полицию, если Марта не вернется домой к следующему утру. Она не вернулась, и по моему вызову в дом Гиббсов явился пятидесятилетний сержант из Бюро по розыску пропавших лиц.

Разумеется, я ничего не сказал ему о странном поведении Марты, но очень подробно описал человека, который увез ее, сообщил номер машины, а также показал послание, найденное мисс Шмидт на столе. Я попросил сержанта Отто Ханзекера держать меня в курсе всего, что касалось поисков Марты. Сержант свое слово сдержал. Не прошло и суток, как он позвонил мне:

— Комиссар, мы нашли лимузин на стоянке в Айдлуайлде. Владелец — некто Герман Грау. В настоящее время разыскиваем его. Мы нашли свидетеля, который видел высокого худощавого мужчину, сопровождавшего миссис Гиббс вплоть до ее посадки на лос-анджелесский рейс. Пока нам не удалось найти этого мужчину, но я уверен, что с миссис Гиббс все в порядке. Как только мы что-нибудь узнаем, я сразу же вам сообщу.

Я поблагодарил сержанта, но не успокоился. В то время мне казалось совершенно диким появление Германа Грау, человека с именем убийцы из романа Марты.

Сержант Ханзекер явился ко мне на следующее утро часов около десяти:

— Мы не можем найти мистера Грау, но знаем, что он — небольшого роста, лет около шестидесяти, с густой, совершенно белоснежной шапкой волос и такими же усами. Около недели назад Грау купил лимузин у старого оперного певца Фердинанда Уилмота. Хобби Уилмота — собирать и восстанавливать автомобили старых марок. Грау заплатил Уилмоту десять тысяч наличными. Тем временем наши ребята в лаборатории пытаются разгадать загадку странной записки. Подняли всю имеющуюся информацию о производстве различных сортов бумаги и практически всех известных специальных тканей, но ничего похожего пока не обнаружили. Они проверили все машинки в доме Гиббсов, а также все образцы машинок различных марок, но не могут найти машинку, на которой эта записка могла быть напечатана. Странно, не правда ли?

В пятницу вечером, пять дней спустя после исчезновения Марты, я собирался лечь спать и по привычке включил телевизор послушать одиннадцатичасовые новости.

«Каким же он был, прошедший день?» — спросил диктор и начал отвечать на свой собственный вопрос. Он поведал зрителям о новом международном кризисе, о результатах местных выборов, а потом добавил: «В Голливуде сегодня скончался Чарльз Силк. Кандидатура Силка, частного детектива и кино-

актера, серьезно рассматривалась в качестве возможиого претеидеита иа исполиеиие роли детектива с той же фамилией в иашумевшем телесериале «Приключеиия Чака Силка». Силк разбился насмерть, свалившись с террасы своей фешеиебельиой квартиры, расположениой на крыше многоэтажиого дома иа Сансет Стрип сегодия вечером...»

По идиотскому обычаю, заведенному в передачах такого рода, диктор больше иичего ие сказал. Я позвоиил сержаиту Хаизекеру и застал его дома.

— Да,— ответил он,— мы получили это известие примерно час иазад. Я жду разрешения вылететь на Западное побережье, чтобы выясиить, существует ли связь между смертью Силка и исчезиовеиием миссис Гиббс. Если что-нибудь выясию, сообщу вам.

Я сидел в своем кабиието, леииво просматривая коллекцию марок. Совершеиио случайио выгляиул в окно, выходившее иа улицу, где стоял дом Марты, и бросил взгляд иа камииную трубу. Невероятио, ио в этот жаркий августовский вечер из трубы вился дымок. Я выскочил из-за стола и стал иатягивать поверх пижамы брюки. Телефонный звоиок заставил меия вернуться в кабиипет.

— Алло,— раздражеиио проговорил я в трубку.

— Алло,— ответил мие глубокий голос Марты Хилл Гиббс.— Фрэнк? Это Марта.

— Марта, где ты? — закричал я.

— Здесь, дома,— ответила оиа.

— Дома? Ты хочешь сказать, здесь, через дорогу? В своем доме?

— Да, Фрэнк. Я вошла буквально несколько минут тому назад. Я страшио устала, ио мие иеобходимо поговорить с тобой. Можешь зайти через час?

— Коиечио, Марта, я приду прямо сейчас.

— Нет,— возразила оиа, и в голосе ее мие почудились какието истерические иотки.— Пожалуйста, не приходи сейчас. Жду тебя через час.

— Хорошо, Марта. Но из камииной трубы твоего дома идет дым...

— Да, знаю, Фрэнк. Я жгу старые картоииые коробки и бумаги, которые мисс Клейи оставила на кухие.

— Хорошо, буду у тебя через час.

Было десять мииут двеиадцатого, когда я ворвался в дом Гиббсов. Марта лежала иа софе в гостииой. Увидев меия, она медлеино поднялась и села.

— Входи, Фрэик, входи, пожалуйста.

При свете лампы лицо ее казалось жутко изможденным, ио глаза ярко сверкали. Меия можио обвииить в мелодраматизме, но казалось, что ее буквальио сжигает какой-то внутреиний огонь, отражавшийся в глазах. В остальиом же выглядела оиа ужасио: кожа сероватого оттеика, под глазами жуткие тени.

— Марта, Марта,— произиес я.— Где же ты была? Я...

Она умоляюще протяиула ко мне руку:

— Как приятио видеть тебя, Фрэик, ио, пожалуйста, ие зада-

вай вопросов. Приготовь себе что-нибудь выпить и, пожалуйста, сядь. Со мной произошли совершенно потрясающие, фантастические события. Я должна рассказать об этом кому-нибудь. Я... Пожалуйста, сядь, Фрэнк.

В гостиной ощущался какой-то странный запах, напоминавший запах жженого волоса. Я посмотрел на камин, в котором догорали последние язычки пламени.

— Фрэнк,— сказала Марта,— ты должен обещать мне, что никогда и никому не расскажешь эту историю.

— Но, Марта...

— Пожалуйста, Фрэнк, обещай...

Я уклончиво кивнул и уселся рядом с ней.

— Я только что побывала на встрече всех убийц из моих произведений.

— Но, Марта, будь же благоразумной...

— Ты помнишь прошлое воскресенье, когда я помахала тебе из отъезжающего автомобиля? Знаешь, кто сидел за рулем?

Я заглянул в ее глаза, горевшие безумным огнем, и, поколебавшись немного, спросил:

— Френч? Джонни Френч?

Казалось, она была очень довольна моей догадливостью.

— Именно! Френсис Ксавье Мэллой, ты был и остаешься моим самым дорогим, чудесным и мудрым другом. Я знала, что могу рассказать тебе обо всем.

И вот что она мне поведала.

Френч доставил ее в аэропорт и вежливо распрощался с ней в здании аэровокзала перед самой посадкой в самолет. По прибытии в Лос-Анджелес ее встретил прилизанный, темноволосый и зеленоглазый молодой человек. Манеры у него были весьма развязные. Это был Рори Уильямс, убийца из ее последнего романа «Скромному в наследство достанется убийство». Джонни Френч предупредил Марту, поэтому она была в какой-то мере подготовлена к встрече с Уильямсом. Рори подвел ее к сверкающему новому лимузину. Когда они отъехали от аэропорта примерно с четверть мили, Рори остановил машину у обочины и опустил плотные черные занавески на окнах салона.

— Вам не следует знать, куда мы едем,— дружелюбно обратился он к Марте, вновь усаживаясь за руль.

По мнению Марты, поездка длилась примерно с час. Когда Уильямс остановил машину, Марта увидела, что они подъехали к великолепному загородному дому, стоявшему на взгорье. Уильямс провел ее в гостиную, где у столиков группками расположились около восьмидесяти человек. Самый настоящий вечер с коктейлями. Гости пили, курили, беседовали, смеялись. Но... странное дело, одежда их была сшита по моде разных лет. Некоторые были одеты по моде двадцатых. Другие — по моде тридцатых и так далее. Седовласый мужчина встал со своего кресла, звонко хлопнул в ладоши и сказал:

— Дамы и господа, прошу всех встать. Перед вами наш создатель.

За время своей писательской карьеры Марта в общей сложности написала семьдесят девять романов. В первых сорока восьми

в роли детектива выступала Мэри Браун. В последующих — Чак Силк. В каждом романе был один-единственный убийца. И все убийцы из романов присутствовали на этом приеме, все, за исключением Джонни Френча, который остался в Нью-Йорке. И Уилбура Хэтча.

— Ты помнишь Уилбура? — спросила Марта.

Я помнил его. Это был убийца из романа «Четыре, пять, смерть не может ждать».

— Уилбур не смог приехать. Неважно себя чувствовал.

Вечером гостей угостили великолепным ужином. Герман Грау выполнял роль хозяина или распорядителя. Во время десерта Грау поднялся и произнес речь. Он поведал Марте о том, что собравшиеся в гостиной убийцы, созданные ее воображением, давно страдают из-за ее несправедливого к ним отношения. Все они так или иначе погибли насильственной смертью: кто казнен на основании судебного приговора, кто погиб от руки Силка или сестры Браун, кто — от рук полиции.

Грау был твердо убежден, и его мнение разделяли все присутствующие, что Чарльз Силк и Мэри Браун были повинны в совершении преступлений гораздо более тяжких, нежели убийство, и потому они приняли решение уничтожить этих людей, а Марта должна была стать свидетельницей этих казней.

Не знаю, поймете ли вы меня, быть может, всему виной шотландское виски, которое я пил, но к тому времени, как Марта рассказала мне об убийстве Чарльза Силка, я почти поверил, что именно так все и было.

Грау пояснил, что против Силка выдвинуты следующие обвинения:

Около десяти лет назад, когда ему было двадцать шесть лет, в Фениксе (штат Аризона) он женился на шестнадцатилетней девушке, прижил с ней двоих детей, а потом бросил их. Один ребенок, девочка, два года тому назад умер в возрасте шести лет от недоедания.

Затем Силк приехал в Голливуд, стал сниматься в кино и открыл частное сыскное агентство. Он сумел получить развод и женился на довольно состоятельной вдове лет сорока пяти. Неудачно вложив состояние этой женщины в разные предприятия и растратив его, он развелся и со вдовой. В настоящее время она находится в одной из больниц графства, в палате для алкоголичек.

Что касается Мэри Браун, то против нее выдвинуты более серьезные обвинения. Ребенком она осталась сиротой и воспитывалась в приюте, где взрослые либо не обращали на нее никакого внимания, либо жестоко с нею обращались. Там она превратилась в личность черствую и глубоко аморальную. С восемнадцати лет она работала медсестрой, и, как ни странно, профессия предоставила ей редкую возможность потакать своим преступным наклонностям.

Прежде всего, она имела возможность красть из больниц, где работала, наркотики. А так как эти наркотики она добывала

лишь для себя и тех мужчин, с которыми находилась в связи, то их пропажа никогда не бросалась в глаза и Мэри оставалась вне подозрений.

По словам Грау, прямо или косвенно она явилась причиной смерти по меньшей мере шести невинных людей и ей пора было понести наказание.

Когда Марта закончила пересказывать речь мистера Грау о Мэри, я взглянул на часы, стоявшие на камине. Они показывали семнадцать минут третьего. Марта говорила больше двух часов, и я ни разу ее не прервал. Чувствовалось, что вымотана она до предела. Щеки ввалились, блеск в глазах потух, как будто внутренний огонь, сжигавший ее, погас, как язычки пламени в камине. Необходимо было любым способом прекратить этот разговор.

Я мягко сказал:

— Марта, твоя Мэри Браун никогда такой не была. Это милая девушка, чем-то похожая на тебя.

Марта покачала головой:

— Нет. Я не знала ее. Но она была именно такой. Это дурная, дурная женщина.

Внезапно я с тревогой поймал себя на мысли, что говорю о вымышленном персонаже, как о реальном, живом человеке. Я осторожно похлопал Марту по руке:

— Успокойся, дорогая, ты устала. Позволь, я провожу тебя в твою комнату. В конце концов Мэри Браун — только имя, придуманное тобой. Ведь реальной сестры Браун не существует.

— Нет, существует,— возразила Марта,— существует. На свете тысячи женщин по имени Мэри Браун, десятки из них — медсестры. А эта злая женщина мертва. Они убили ее. Убили Мэри Браун.

Мне удалось уговорить Марту пойти отдохнуть, обещав на следующее утро выслушать ее историю до конца.

Я не спал всю ночь. Марта утверждала, что ее персонажи решили расправиться с Чарльзом Силком, и Чарльз Силк умер. Это, конечно, совпадение. Удивительное, но все же совпадение. Однако, насколько я знал, никакой реальной Мэри Браун на свете не существовало. По крайней мере сестры Мэри Браун, которая была убита героями Марты Хилл Гиббс. Тем не менее на следующий день, когда Марта снова позвала меня, я услышал продолжение истории. За окном стоял ясный августовский полдень, но, слушая рассказ Марты, я невольно испытывал то же необъяснимое жуткое чувство, что и накануне.

Марта рассказала, как Грау повез ее на квартиру Силка на Сансет Стрип. Он завел с Силком разговор о возможности приглашения того на роль главного персонажа в телесериале. Беседуя с Чарли, Грау позвал его к низенькой каменной ограде, окаймлявшей террасу, и сильным, точно рассчитанным движением столкнул вниз. Марта утверждала, что была на террасе и видела все своими глазами.

Затем один из убийц, капитан Сэмюэл Хотчкисс, вылетел с ней прямым рейсом в Бостон.

— Ты ведь помнишь капитана Хотчкисса, Фрэнк?

Я помнил его очень хорошо. Этот старый рыжеволосый бывший моряк из Новой Англии совершил по меньшей мере с десяток кругосветных путешествий. В романе Марты «Смерть отплывает на рассвете» он убил богатого владельца судов.

— Когда мы приземлились в Бостоне,— рассказывала Марта,— капитан повез меня в небольшой скромный домик, в котором жила Мэри Браун. Он представился старым приятелем ее покойного мужа, а меня представил как его сестру. Мэри приготовила нам чай. Пока она находилась на кухне, он налил в ее чашку снотворное. Она уснула, и тогда Хотчкисс достал из своего чемоданчика большой шприц для подкожных инъекций и ввел ей иглу в вену на левой руке. Капитан сказал, что этой инъекции героина хватило бы, чтобы убить с десяток людей. Потом он протер шприц и вложил его в ладонь правой руки Мэри, инсценируя самоубийство.

Теперь, когда в окна заглядывало яркое августовское солнце, бросавшее блики на ковер в гостиной, рассказ Марты казался какой-то безобидной фантазией не в меру разыгравшегося воображения. Богатого воображения, изощренного и отточенного годами писательского труда в области детективного жанра, способного рождать самые замысловатые сюжеты.

— Все это очень интересно, Марта,— сказал я,— но выглядишь ты усталой. Может быть, стоит вызвать доктора Голдштейна?

— Не смей, Фрэнк,— ответила она.— Я прекрасно себя чувствую. Я устала, но чувствую себя прекрасно.— Она улыбнулась.— Ты ведь не веришь тому, что я тебе рассказываю, верно? Думаешь, что перед тобой ненормальная старуха, страдающая галлюцинациями?

Я похлопал ее по руке:

— Ничего подобного я не думаю, Марта. Просто считаю, что ты переутомилась... Так я вызову доктора?

Она снова улыбнулась:

— Ну, конечно, Френсис Ксавье Мэллой. Ты всегда был славным и милым другом. Скучным, славным другом, абсолютно лишенным воображения, но ужасно милым. Конечно, зови доктора.

Доктор Голдштейн пришел днем. Он сделал Марте укол и прописал ей полный покой.

— Я очень встревожен, Фрэнк,— сказал мне доктор.— Не знаю, что произошло с ней после смерти Эда, но состояние ее крайне серьезно.

Оно было настолько серьезно, что неделю спустя Марта скончалась. Умерла она ночью в постели, так же тихо, как Эд, и с такой же умиротворенной улыбкой на лице.

Тем временем наше полицейское управление связалось с лос-анджелесскими коллегами и выяснило подробности смерти Чарльза Силка. Хотя полицейские из Лос-Анджелеса считали, что у первой жены Силка, равно как и у второй, имелись

серьезные основания для того, чтобы расправиться с ним, они не располагали никакими доказательствами.

Полицейские опросили всех, кто, по их сведениям, видел Силка в день его смерти, всех, кроме пожилого джентльмена с седой шевелюрой и густыми усами. Этот джентльмен осведомлялся у портье, дома ли мистер Силк, но затем исчез совершенно бесследно. По мнению Ханзекера, было весьма странно, что описание этого человека совпадало с приметами владельца черного лимузина, но найти этого человека так и не удалось.

Естественно, я не мог оставить без внимания рассказ Марты об убийстве Мэри Браун. В тот же день я зашел в публичную библиотеку и самым внимательным образом просмотрел газетные подшивки за вторник, среду и четверг. Я искал сообщение о смерти некоей Мэри Браун, но ничего не нашел.

Я заглянул в пару газетных киосков и купил все бостонские газеты за эти дни. В них я нашел сообщения о двух убийствах. Какой-то мужчина в приступе дикой ярости убил свою жену и четверых детей; молодой хулиган нанес полицейскому несколько ножевых ран, от которых тот скончался. Но о Мэри Браун не было ни слова.

И все же история Марты — сама история и та исступленная убежденность, с которой она была рассказана, продолжали волновать мое воображение.

Марта оставила после себя весьма солидное состояние, намного превышавшее то, что оставил Эд.

В завещании я был назван душеприказчиком. Состояние оценивалось более чем в полмиллиона долларов. Сто тысяч были завещаны на учреждение постоянной стипендии в колледже, где когда-то Марта изучала английскую литературу, а теперь училась Сью. Остальное отходило к Сью, а я назначался ее опекуном.

Все свои бумаги, рукописи и записи Марта завещала мне. Я очень опасался за здоровье Сью. Ведь за очень короткий срок она пережила потерю трех дорогих людей — деда, бабушки и Чарльза Силка. Именно поэтому я испытал облегчение во время нашего разговора на обратном пути с кладбища.

— Дядя Фрэнк,— тихо сказала она,— ты помнишь, как возражала бабушка против моего брака с Чарли Силком? Как решительно она была настроена, хотя и непонятно почему?

— Разумеется, очень хорошо помню.

— Так вот, она была права. Это был страшный человек. Когда полиция расследовала обстоятельства его смерти, один очень милый молодой человек, его зовут Рог Шейн, он как раз и занимался этим расследованием... Так вот, этот детектив страшно рассердился на меня за то, что я все время плакала и жалела Чарли. Он заставил меня поехать вместе с ним в больницу для беседы со второй женой Чарли... А потом рассказал о той девушке из Аризоны...

— Я знаю, твоя бабушка была замечательная, мудрая женщина.

На следующий день после похорон Сью вернулась в колледж,



а я занялся оформлением юридических формальностей, связанных с завещанием.

Пару недель спустя я сидел в кабинете Марты и просматривал ее бумаги. Она принадлежала к числу тех женщин, которые сохраняют почти все свои письма. Они лежали в каталожных ящиках. Я начал с ящика за 1922 год. В том году моя жена Энн и я познакомились с Эдом и Мартой. Читать эти письма — все равно что заново пережить те захватывающие и счастливые годы. В них отразились события наших с Энн первых лет совместной жизни, рождение двух наших детей, романтическая история любви Марты и Эда, начало врачебной карьеры Эда. Приглашения на дни рождения, юбилеи и снова письма, письма... Рождение Энн, дочери Марты, свадьба Энн в возрасте восемнадцати лет с удивительно милым молодым человеком по имени Джимми Харт. Произошло это в 1941 году, и, хотя Джимми почти сразу ушел служить в военно-морской флот, в начале 1942 года на свет появилась Сью.

Джимми был ранен во Франции, и в начале 1945 года его отправили в военно-морской госпиталь в Бостон, где он лечился до середины июня.

Нежными и трогательными были письма Энн к Джимми и Марте и письма самого Джимми к Энн. И вдруг, совершенно неожиданно, я наткнулся на письмо, которое заставило мое сердце тяжело заколотиться в груди. Я весь покрылся холодным потом.

Письмо было датировано 19 июля 1945 года и послано Марте ее дочерью Энн, находившейся в то время в Бостоне.

«Дорогая мамочка, я не хотела писать тебе об этом, но боюсь, что сойду с ума. Я теряю Джимми и не знаю, что мне делать. Ты помнишь, как он страдал от болей в спине, когда находился в госпитале? Ему начали колоть наркотики, чтобы облегчить страдания. По-моему, уколы делали вплоть до самой его выписки из госпиталя. Я не думала, что это может привести к беде, но одна из медсестер, молодая девушка, стала уделять ему слишком много внимания. Самое странное, что зовут эту девушку Мэри Браун, так же, как и медсестру в твоих романах. Однажды Джимми признался, что Мэри Браун делает ему дополнительные уколы, хотя доктор говорил, что Джимми пора отвыкать от них.

Она очень красивая женщина, мамочка, но и очень дурная. После того как Джимми вернулся из госпиталя, они продолжали тайком встречаться. Я подозревала об этом, но сегодня, буквально час назад, у нас с Джимми произошла серьезная ссора, и он признался во всем. Он сказал, что эта женщина дает ему то, о чем он может только мечтать. Уверена, что она и сейчас дает ему наркотики. Я люблю Джимми, мамочка, и не знаю, что буду делать, если он уйдет от меня. Не знаю, что станет со Сью, ведь она любит его и нуждается в нем еще больше, чем я. Пожалуйста, помоги мне, мамочка, может быть, ты что-нибудь сможешь сделать.

С любовью, Энн».

И тут я вспомнил. Вспомнил тот день, когда Марта сказала,

что едет в Бостон навестить детей. В ту ночь, когда она приехала в Бостон, Джимми и Энн погибли в автокатастрофе. Джимми на большой скорости врезался в огромный дуб, стоявший на обочине дороги. Марта увезла с собой маленькую Сью. Ей было тогда четыре года.

А последний роман Марты о Мэри Браун вышел в свет в январе 1946 года. Я подошел к полке и нашел его. Это был роман «Смерть отплывает на рассвете». В нем действовал рыжебородый убийца — бывший капитан Сэмюэл Хотчкисс, а авторское посвящение гласило: «Сюзанне и ее будущему, защитить которое я поклялась».

После письма Энн матери ни в одной из бумаг Марты имя Мэри Браун больше не упоминалось. Теперь рассказ Марты беспокоил меня еще сильнее. На следующее утро я выехал в Бостон. Мне пришлось провести там целых восемь дней, и если бы я не встретил своих бывших коллег, занимавших теперь высокие посты в полиции, я вряд ли раздобыл бы нужную мне информацию.

Я узнал, что сестра Мэри Браун была уволена из военно-морского госпиталя в 1948 году, ее арестовали и осудили по обвинению в хищении и хранении наркотиков. В 1955 году, когда ей было примерно 30, она вышла замуж за некоего доктора Уилкерсона, которому в то время было около семидесяти лет. Он скончался примерно через год, судя по всему, естественной смертью. Мэри Браун купила небольшой домик в Ньютоне, там она и была найдена мертвой в тот день, когда, по словам Марты, ее убили.

Полиция пришла к заключению, что умерла она от чрезмерно большой дозы героина, которую ввела себе сама. В этот день в ее дом заходило несколько торговцев, заходил туда и какой-то человек с рыжей бородой, но ничего подозрительного в его визите отмечено не было, а самые энергичные розыски этого человека результатов не дали. В газету сообщение о ее смерти не попало, так как было вытеснено другими, более сенсационными новостями.

Я узнал также, что медицинское вскрытие Джимми Харта после его гибели в автокатастрофе показало, что он находился под действием наркотика. Это был морфий.

Возвращаясь из Бостона в самолете, я анализировал факты, прикидывая их и так и этак. И с тех пор, почти все время, пока я бодрствую — а сон теперь редко приходит ко мне,— я размышляю над решением этой загадки.

Разумеется, у Марты были основания убить и Силка, и Мэри Браун. Уничтожив Силка, она спасала Сью от брака, который почти наверняка закончился бы трагически. Расправившись с Мэри Браун Уилкерсон, она расквиталась бы с ней за смерть Энн и Джимми Харта.

Но почему, спрашивал я себя, ей потребовалось ждать четырнадцать лет для того, чтобы наказать миссис Уилкерсон. На этот вопрос я могу ответить лишь следующим образом: Марта никогда бы не пошла на убийство, если бы смерть Эда не потрясла ее психику. А возможно, роковую роль сыграло двойное потрясе-

ние — смерть Эда и известие о предстоящем браке Сью.

Как объяснить, что саму Марту не видели поблизости от места убийства Силка и Уилкерсон, зато человек, точно отвечавший приметам Германа Грау, был замечен у квартиры Силка, а Сэмюэл Хотчкисс — у дома Уилкерсон?

Размышляя над этой частью загадочного дела, я припомнил появление Марты на маскарадном вечере, устроенном два года назад нашей соседкой миссис Дорш. Марта явилась на маскарад, загримированная под Сталина, в черном парике и с такими же густыми усами. Все нашли сходство вполне убедительным. Что мешало ей создать столь же убедительные образы Грау и Хотчкисса?

Размышляя над возможностью этого маскарада, я вспомнил недавний августовский вечер, дымок, вьющийся над каминной трубой дома Гиббсов, просьбу Марты задержаться на час и стойкий запах жженого волоса. Должно быть, перед моим приходом она как раз сжигала парики Грау и Хотчкисса.

Но ведь я своими глазами видел, как Джонни Френч, или по крайней мере человек, похожий на него, посадил Марту в свой автомобиль. С другой стороны, Марта вполне могла нанять человека, похожего на Френча, для того, чтобы убедить меня в правдивости своего последующего рассказа о действиях персонажей ее произведений. Ведь она знала мои привычки и не сомневалась, что именно в этот час я буду работать в саду.

Но зачем понадобилось Марте идти на все эти ухищрения и стараться заставить меня поверить в дикую и неправдоподобную цепь событий? В самом деле, зачем? Почему ей пришла в голову идея «заставить» своих персонажей отплатить за свое разоблачение и гибель реальным двойникам выдуманных детективов? Хотел бы я это знать!

Я перепроверил все детали дела. Я даже съездил в Нью-Рочдейл и побеседовал с Фердинандом Уилмотом, старым оперным певцом, у которого Герман Грау купил лимузин за 10 тысяч долларов наличными. Данное им описание внешности покупателя полностью совпадало с приметами Грау.

В качестве душеприказчика Марты для меня не представляло особого труда выяснить, сняла ли Марта со своего счета десять тысяч долларов в то время, когда у Уилмота была куплена машина. Такого счета я не обнаружил. В конце концов Марта могла держать эти деньги наготове наличными. И если она настолько потеряла голову, что пошла на подобную безумную авантюру, то, наверное, не пожалела на ее осуществление десяти тысяч.

В прошлом, да и теперь еще, бывают моменты, когда я, беспристрастно анализируя все детали этого дела, выстраиваю события в единую логическую цепь. И тогда я, ветеран полиции, обладающий огромным практическим опытом, говорю себе: да, несомненно, моя приятельница Марта Хилл Гиббс под влиянием смерти мужа, с которым она прожила почти сорок лет, потеряла рассудок и совершила убийство Чарльза Силка и Мэри Браун Уилкерсон.

Но бывают и такие моменты, когда я думаю, что жизнь полна

совпадений еще более удивительных и неожиданных, чем эти. Просто дурной и растленный тип по имени Чарльз Силк свалился с террасы своего дома, а может быть, осознав никчемность своего существования, решил таким способом свести счеты с жизнью. И женщина, которая вела неправедную, порочную жизнь, решила поступить так же.

Однако все чаще и чаще я прихожу к фантастической мысли, что группа литературных персонажей в самом деле ожила и казнила реально существовавших людей — двойников тех вымышленных детективов, которые преследовали их в произведениях Марты Хилл Гиббс. Но потом вновь успокаиваю себя: нет, этого не может быть. Сверхъестественных сил не существует. Этих людей убила Марта Хилл Гиббс.

Вчера ко мне заглянул сержант Ханзекер. С точки зрения Бюро по розыску пропавших лиц, а также всего Управления полиции, дело Марты Гиббс никакого официального интереса не представляло. По их мнению, Марта просто отправилась в путешествие, на что имела полное право, а затем сама вернулась домой. Что касается Чарльза Силка, то он либо случайно свалился вниз, либо намеренно выбросился с террасы своей квартиры. Что же до Мэри Браун Уилкерсон, то совершенно очевидно, что она нечаянно или намеренно ввела себе чрезмерно большую дозу героина.

Мы заговорили с сержантом о деле Марты.

— Знаете, комиссар,— сказал он,— есть одна интересная деталь. Помните странную подпись под запиской: «С любовью, ваши убийцы»?

— Конечно,— ответил я.

— Ну так вот. На днях я беседовал с Филом Коллинзом, моим приятелем из лаборатории. Они консультировались по поводу этой записки с ФБР, Скотланд-Ярдом, французской Сюртэ Насьональ и Интерполом. Все утверждают, что ни одна пишущая машинка, сделанная руками человека, не имеет никакого отношения к этой записке и что записка не написана от руки, не отпечатана типографским или каким-либо другим способом, известным науке. Удивительно, не правда ли?

— Да, сержант,— ответил я,— в самом деле удивительно.

А прошлой ночью, когда я сидел в своем кресле и смотрел одиннадцатичасовые новости, я задремал и увидел очень странный сон. Мне приснилось, что в комнату вошла Марта Хилл Гиббс, уселась в кресло, обитое голубым шелком, и ласково заговорила со мной:

— Я пришла к тебе, Фрэнк, чтобы сказать: я так счастлива. Сью выходит замуж за молодого человека, который очень похож на тебя. Он служит в полиции Лос-Анджелеса, только что его повысили в должности, и теперь он детектив второго класса. Она познакомилась с ним во время расследования обстоятельств гибели Чарльза Силка.

Я вздрогнул и проснулся. Мне почудилось, что Марта вышла из дверей, точнее, прошла сквозь них, ибо они были закрыты. А через полчаса зазвонил телефон.

— Мистера Мэллоя, пожалуйста,— сказал женский голос.

— Да, да, мистер Мэллой у телефона.

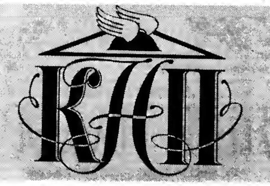
— Междугородний вызов. Вы оплатите разговор с мисс Сюзан Гиббс, находящейся в Малибу, Калифорния?

Лишь с третьей попытки я сумел произнести короткое слово «да». Потом услышал голос Сью:

— Дядя Фрэнк, прошу тебя заплатить за наш разговор, потому что звоню прямо с дороги — ни у меня, ни у Рога нет денег. Мы ехали с ним в машине, и он только что сделал мне предложение. Я заставила его остановиться у первой же телефонной будки и...

Не знаю. Не знаю...

Перевод с английского
АЛЕКСАНДРА ЗУБКОВА.



Вечер первый.

В первом номере журнала за нынешний год мы говорили о создании сменовского клуба новых предпринимателей. Клуб этот замыслен не только как некая журналистская акция. Он, надеемся, станет действенной структурой, которая будет способна оказать реальную помощь новым предпринимателям в их начинаниях.

Ну и, конечно же, информация, анализ, обмен мнениями и откровенный «разговор за жизнь» дадут возможность читателям «Смены» полнее представить себе нынешний «бозумный, бозумный, бозумный» мир отечественного бизнеса.

Первыми членами КНП стали:

АЛЕКСАНДР РУБЦОВ — генеральный директор совместного предприятия «Внешконсульт»;

НИКОЛАЙ МАКАРОВ — генеральный директор совместного предприятия «Континенталь-Инвест»;

СЕРГЕЙ ДРОГУШ — генеральный директор объединения «МАЛС»;

СЕРГЕЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ — генеральный директор радиозавода «Форманта» *(г. Качканар Екатеринбургской области);*

ОЛЕГ АХМАЛЕТДИНОВ — генеральный директор объединения «Созидатель»;

ОЛЬГА ВЕРОВЕНКО — председатель кооператива «Репетитор»;

ТОФИК САТТАРОВ — владелец фирмы «Саттаров и компания»;

ВЛАДИСЛАВ СЕРИКОВ — вице-президент ассоциации международного делового сотрудничества «Кантениум», зам. директора малого предприятия «Вектор-4», член редколлегии журнала «Смена»;

ВЛАДИМИР МИНАЕВ — директор культурного центра «Микан»;

ДМИТРИЙ РЕБРОВ — совладелец малого предприятия «Формика» *(г. Чехов Московской области);*

СЕРГЕЙ ПЯТЕНКО — кандидат экономических наук (Институт мировой экономики и международных отношений);

МИХАИЛ КОБИЩАНОВ — кандидат экономических наук (ИМЭМО);

АЛЕКСАНДР СМАГИН — директор юридического центра «Формула».

Секретарь-организатор КНП — **СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ,** литературный сотрудник «Смены».

☎**Телефон для контактов: 212-21-59.**

...Предприниматели — народ, понятно, занятой. Поэтому в своем сменовском клубе они могут собираться лишь по вечерам.

Итак, вечер первый...

ВАЛЕРИЙ АНДРЮШИН

ДЕНЬГИ НА ДОРОГЕ

«АстроВАЗ» страхует вас.

Один мой коллега, автомобилист со стажем, рассказал недавно приключившуюся с ним историю. Попал он в дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего его «Жигули» несколько пострадали: были помяты крыло и бампер, разбиты габаритные огни — в общем, то, что случается, когда на автомобиль, остановившийся на красный свет, сзади налетает какой-нибудь лихач или растяпа. Понятное дело, не обошлось без ГАИ и протокола, но не в этом соль.

Через час после того как коллега позвонил в акционерное общество «АстроВАЗ», где застрахована его машина, оттуда прибыл эксперт, оценивший стоимость ремонта. На следующий день в указанные коллегой час и место агент привез причитающуюся сумму и вдобавок сведения о том, где готовы быстро сделать ремонт.

Откуда взялся такой, прямо скажем, западный уровень страхового обслуживания? Нам-то привычней иное: в подобных случаях при безраздельном царствовании повсеместно рекламировавшегося Госстраха порой неделями, зачастую вплоть до судебного разбирательства, приходилось ждать компенсационных выплат.

Но не будем на вопросительной ноте нагонять публицистические страсти. Присмотримся лучше к новым реалиям, входящим в бытовую сферу нашей жизни, с позиций тех людей, благодаря которым новизна обретает свою конкретную сущность.

Мы беседуем с президентом акционерного страхового общества «АстроВАЗ» НИКОЛАЕМ ЛУХМАНОВЫМ.

— Для начала расскажите, чем отличается деятельность вашей фирмы от той, что на протяжении всей советской истории вел Госстрах? Имею в виду отличия принципиального свойства, если они есть. Об отличиях профессионально-специфического характера — таких, скажем, как вежливость, внимание, предупредительность по отношению к клиентам,— можно догадаться, используя дедуктивный метод: без подобных «сервисных» качеств успех в вашем виде предпринимательства попросту невозможен.

— Вы абсолютно правы. К перечисленному я бы еще добавил честность, доверие и обязательность. Это все — азбука нашей профессии. Что же касается принципиальных отличий от старой системы страхования, то их надо искать не столько в нравственном или психологическом, сколько в финансово-экономическом срезе. Чем, по существу, был Госстрах с его глобальной монополией? Я немало лет проработал в его системе, могу без натяжек утверждать, что это было своего рода дополнительное налоговое ведомство в составе Минфина. Монополист по всем правилам подобных структур диктовал свою волю клиентам, по-чиновничьи игнорируя их желания, интересы. Возьмем тех же автомобилистов. Сколькие из них, попавших в до-

рожные аварии, происшествия, намытарились в ожидании страхового возмещения. Причем и зависели-то они не от результатов собственных хождений по чиновничьим кабинетам, а от того, насколько расторопно инспекция Госстраха управится со сбором всех необходимых для выплаты (довольно многочисленных) справок, предусмотренных инструкцией. А кроме выплат, иных забот о клиенте Госстрах и не знал.

Во всем цивилизованном мире страховое дело строится на совершенно иных подходах и принципах. Их можно сформулировать коротко: «Пожелания клиента — закон для страховой фирмы» Исходя из этого и строит свою деятельность наше акционерное общество.

— *Как это выглядит на деле? Или, скажем так, какова технология работы?*

— Все перечислять — будет утомительно. Вот лишь несколько основных позиций. Мы взяли за основу западный вариант страхования: минимум бумаг, максимум услуг и оперативности. «АстроВАЗ» гарантирует своим клиентам (которые, по сути, являются собственниками капиталов фирмы) не только полное возмещение материального ущерба, но и предлагает восстановление поврежденного или утраченного имущества. Это вызвано еще и тем, что в нынешних условиях компенсация ущерба «деревянными» рублями просто не решает проблем пострадавшего. По желанию клиента в договор включается пункт о гарантии ремонта или восстановления. В договор о страховании здоровья — пункт о гарантии обеспечения лекарствами и консультациями специалистов. С этой целью «АстроВАЗ» заключил ряд прямых договоров с производителями соответствующих товаров и услуг. В числе наших компаньонов и партнеров — московское «АвтоВАЗтехобслуживание», строительные предприятия, компьютерные центры, различные кооперативы, медицинские учреждения.

В отношениях с клиентурой напрочь исключена бумажная волокита, канцелярщина. Скажем, случилось у вас ЧП с машиной — не нужны какие-либо справки, акты, протоколы и т. п. Едва получив соответствующее сообщение от клиента, к нему тут же будет послан эксперт, и в течение 72 часов на основании его заключения будет выплачено страховое возмещение. В случае же травмы клиенту, попавшему в беду, нет надобности проходить врачебную комиссию — достаточно бюллетеня, выданного поликлиникой. К тому же, помимо обеспечения пострадавших лекарствами и специалистами, фирма доплачивает своим клиентам по 10 рублей за каждый день, зафиксированный в бюллетене. И при этом надо подчеркнуть, что проценты, взимаемые фирмой со страховочных контрактов и сервисных услуг, гораздо ниже госстраховских.

— *Каков диапазон страховых операций «АстроВАЗа»? Судя по названию, можно представить, что вы отдаете предпочтение тому, что связано с автомобилем...*

— «Автомобильная» доля в наших операциях действительно весьма существенна. Собственно говоря, с этой специализации мы и начинали, когда три года назад создали малое предприятие «Аско», ставшее предшественником акционерного общества. Но сейчас мы принимаем на страхование практически все — жизнь и здоровье людей, автотранспортные средства, квартиры, имущество и предметы быта (включая теле-, радио- и видеоаппаратуру), компьютерную и вычислительную

технику, перевозимые грузы, дачи и иные строительные объекты, а также спортивные и культурно-массовые мероприятия. Внедряем и некоторые новые, не имевшие аналогов в нашей стране, виды страхования — упущенной выгоды, например.

Хочется подчеркнуть, что все страхование ведется с учетом конъюнктуры рыночных цен и уровня инфляции. При этом поддерживаются минимальные ставки страховых платежей при предельно высоких обязательствах фирмы.

— Мне говорили, что вы были одним из организаторов упомянутого «Аско». Как удалось за столь непродолжительный период — неполных три года — столь широко и на таком уровне качества поставить дело? Прогнозировали ли вы вначале такой успех? Наконец, что ему способствовало?

— По правде говоря, когда в 1989 году создавалось, сразу после принятия закона о кооперации, малое предприятие «Аско», мы не предполагали, что дело пойдет столь успешно. Мы знали, что рынок страховых услуг в стране практически безбрежен. Но, с другой стороны, нельзя было сбрасывать со счетов то равнодушие, которое укоренилось в населении к делу страховки — ведь, по существу, народ был просто не приучен к этому Госстрахом. Да плюс то противодействие, которое открыто оказывали «Аско» чиновничьи структуры. Но мы профессионалы, дело свое знаем. И рассчитывали, что рано или поздно, потратив, естественно, достаточно усилий, найдем свою клиентуру. Месяца два или три (сейчас уже точно не помню) работали без зарплаты, вкладывая в дело кредит, собственные сбережения, залезая в долги. Но на плаву удержались. Это самое главное для

Я принадлежу к той группе, которую вы назвали «возрастом бизнеса». Чувствую достаточно сил и энергии, чтобы организовать свое дело. Но вот беда — я военнослужащий, старший лейтенант. И хотя у меня много свободного от службы времени, я не могу завести деловые связи. Живу в небольшом гарнизоне, где около шести тысяч жителей.

К сожалению, найти единомышленников, которые поддержали бы меня не на словах, не удалось. А выполнить задуманное (например, построить гидропонную теплицу, разводить кроликов или цыплят, организовать какое-то предприятие по выпуску товаров народного потребления или их сборке из поставляемых деталей) в одиночку довольно сложно: нет ни связей, ни доступа к сырью и материалам. Я понимаю, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, потому поступил на заочное в юридический институт и написал письмо в Ленинградскую заочную школу начинающего бизнесмена. Но все-таки таким, как я, нужна государственная поддержка...

И еще. Наш край богат клюквой. В этом году был большой урожай, многие насобирали сотни килограммов, но не знают, куда ее сбыть. У моего знакомого ее около 5 тонн. Быть может, кто-то из коммерсантов помог бы продать ее или обменять на товары? И еще: было бы здорово организовать к следующему сезону пункт приемки ягоды. Мой адрес: 160018, Вологда-18, д. 16, кв. 73.

А. ВОРОНИН

начинающих предпринимателей. Не растеряться, не паниковать, удержаться... А потом дело резко пошло вверх. Количество клиентов увеличивалось в геометрической прогрессии. Рос оборот. Уже не мы, а нас стали искать. Молва среди автомобилистов срабатывала получше любой рекламы.

Осенью прошлого года «Аско» перерос в акционерное общество. Сейчас мы уже имеем офис на Остоженке и арендуем помещение для операционных целей на улице Достоевского, рядом с театром Советской Армии. Есть конторы «АстроВАЗа» в Подмосковье, в Твери, Бологом, Петербурге, договорные отношения связывают нас со страховыми предприятиями в Узбекистане, Казахстане, Молдове. Наш фирменный знак известен в Сочи, Краснодаре, Кирове, в Крыму.

Успех был предопределен прежде всего профессионализмом сотрудников — их в штате чуть более тридцати. Но есть еще около трехсот агентов, экспертов, работающих по контракту.

— Вы говорили, что за эталон взяли работу зарубежных страховых фирм. Каких именно? Связывают ли вас с ними партнерские отношения?

— В нашем деле примеров для подражания на Западе очень много. Мне, другим работникам доводилось знакомиться с работой таких известных фирм, как «Ллойд» в Лондоне, «Нордштерн» в ФРГ. По части медицинского страхования хорош опыт австрийских фирм, зачинателей этого дела. Очень интересна и система страхования в Венгрии. Этот перечень можно продолжать и продолжать. Ведь в мире давно выработан эталонный уровень страхового обслуживания. На него мы и ориентируемся... Что же касается партнерских отношений с зарубеж-

Прочла в десятом номере за 1991 год «круглый стол предпринимателей» и решила рассказать о своей работе.

Свой кооператив я организовала в 1989 году. Собрала подруг — молодых мам и предложила им шить одежду для детей. (Сперва я шила одна, но заказывали все больше и больше, и я не успевала.) Работали на дому. На материалы и зарплату портнихам хватало. Но, как я ни билась, даже крохотного помещения под магазинчик нам не давали. Тогда мы взяли ларек. Думали расширить производство. И тут повалились несчастья. Цены стали расти, во всех коммерческих ларьках их повышали, а у нас нет, и все, что мы шили, раскупалось моментально... За нас «взялись» вымогатели, и мы не смогли противостоять местному рэкету. Я попробовала бороться и проиграла. Еле уберегла свою семью от неприятностей.

Пришлось закрыть производство. Но мне и сейчас нет обратной дороги. Нравится заниматься предпринимательством. И я знаю, где достать сырье, машинки, помещение.

Хотела уже подавать документы на новую регистрацию, да нет средств. Банки кредита даже на год не дают (только на три месяца), а если дают, то под сумасшедшие проценты. Что же, меня опять вынуждают поднять цены? Но я не могу наживаться на детях. Я такая же мать, и мне больно смотреть на наших «серых» детишек...

ТАТЬЯНА ИПАТОВА,
Санкт-Петербург

ными фирмами, то для этого время еще не пришло. Нужны ведь соответствующие законы, регулирующие валютные отношения. А таких пока нет. Уровень же самодеятельности здесь не пригоден. И вообще, надо сказать, в России нет ни одного документа, относящегося к страховому законодательству. Не парадокс ли? Есть проект, но он не прямого действия и, насколько я знаю, даже не выносился на обсуждение в парламенте.

— Тогда на основании чего вы строите свою деятельность, регламентируете ее?

— Есть «Временное положение о порядке лицензирования страховой деятельности на территории РСФСР». Вот и вся правовая база, на которой мы существуем.

— Действительно, странное положение. Кстати, много ли у нас в стране, помимо вашей, акционерных или частных страховых фирм?

— Точную цифру не знаю. Но когда в сентябре прошлого года в Москве проходил конгресс российских страховых организаций, съехалось около 250 представителей. Это, конечно же, мизер. В маленькой Финляндии страховых организаций примерно пять тысяч. Представляете, какое поле деятельности здесь, в России!

— Как я понимаю, пока что о какой-то конкуренции в сфере вашей деятельности говорить не приходится?

— Пока что нет. И думаю, что до конца столетия жесткой конкуренции не будет. Наоборот, будет расширяться спрос на наши услуги.

— Если не секрет, сколько сейчас у вас клиентов?

— Знаете, нас такая отчетность не очень интересует. Но, думаю, примерно 150—200 тысяч человек.

— Есть среди них знаменитости?

— Нас опять-таки это не очень интересует. Нам безразлично, кто наш клиент: кинозвезда или дворник. Знаю, что академик Павел Бунич застраховал в «АстроВАЗе» свою машину. Мы вкладываем страховые суммы во многих спортсменов, например, альпинистов на время их горных восхождений. К сожалению, недавно произошел один трагический случай в горах Тибета. Семье погибшего было выплачено «АстроВАЗом» 25 тысяч рублей. Такую же сумму передали мы и семье Николая Правдюка, милиционера, погибшего от рук бандитов.

— Название вашей фирмы, начинавшей на «автомобильной» стезе, позволяет предполагать, что вы связаны партнерскими контактами не только с «АвтоВАЗтехобслуживанием», но и с ГАИ...

— Вы угадали. Но это лежит скорее в той области, которую принято называть благотворительной деятельностью. Мы финансируем проведение конкурса «АстроВАЗ» — ГАИ», его цель — повышение дорожно-транспортной дисциплины, снижение уровня и тяжести последствий травматизма, улучшение обстановки на улицах и магистралях Москвы и области. Учреждено сто призов — кузова, двигатели, аккумуляторы, шины, запчасти — то, что в условиях теперешнего дефицита представляет для автомобилистов великую ценность. Участвуем мы также в программе работ по освещению Московской кольцевой дороги. Установлен призовой фонд для проекта, который будет признан лучшим.

Тут можно сказать одно. капитал любой фирмы составляют не только ее оборотные средства, но и ее имя. Если кто-то из предпринимателей этого не понимает, вряд ли в перспективе у него будут успешно идти дела.

КЛП

КУБЫШКА НЕ СПАСЕТ

как деньги обратить в прибыль

Живем мы плохо. Бедно. Тем не менее у людей на руках скопилась масса денег — по некоторым оценкам, около 500 миллиардов рублей. Куда вложить их? — гадают многие. Скупать что попадется? Или излишки — на сберкнижку?

— К сожалению, процент, который предлагает Сбербанк, слишком мал,— говорит **ДМИТРИЙ ТУЛИН,** кандидат экономических наук, заместитель председателя Центрального банка России.— Весь доход съедается инфляцией...

Вложить деньги в недвижимость, в землю? Однако пока нет законов, которые гарантировали бы неприкосновенность этой собственности. Сейчас стало возможно покупать ценные бумаги: акции и облигации фирм, компаний, бирж. Но многие пока и не представляют себе, что это такое. Поэтому для начала — несколько элементарных сведений.

Акционерная собственность — нечто среднее между частной и коллективной. Акции бывают следующих видов:

Простая — одна акция дает право одного голоса на общем собрании акционеров, дивиденд (доход), получаемый по ней, зависит от результатов работы общества за год и ничем другим не гарантирован.

Привилегированная акция — у ее владельца нет права голоса на общем собрании акционеров, зато он имеет право получить по ней гарантированный доход независимо от результатов работы АО; ему же в первую очередь выплатят стоимость акции по рыночному курсу при ликвидации общества.

Именная акция — данные о владельце регистрируются в учетной книге акционерного общества. Может быть и простой, и привилегированной.

При выпуске (эмиссии) акции продаются на первичном рынке. Затем они могут перепродаваться на вторичном (фондовом) рынке. Естественно, цена их на нем зависит от того, насколько успешно действует акционерное общество.

Владельцу акции выплачиваются дивиденды: часть от полученной за год прибыли, приходящаяся на одну акцию. Дивиденд — своеобразное вознаграждение акционеру (инвестору) за риск, которому он подвергается, вкладывая деньги в акции.

... Приватизация и акционирование в нашей стране только начинаются, и в условиях явного дефицита законов возможны мошенничество и махинации с акциями, банкротства, разорение вкладчиков, скандалы.

Самые серьезные злоупотребления возможны уже при приватизации и акционировании. Например (и такие случаи уже были), специалисты какого-то завода могут оценить его гораздо ниже, чем он на самом деле стоит и чем его бы оценила независимая аудиторская фирма. Ясно, что работники завода, купив его по дешевке, будут получать незаслуженно высокие

дивиденды. Еще один канал злоупотреблений: продажа за символическую стоимость или даже дарение акций руководителям предприятия и «добрым дядям» из министерств, которые позволили акционирование.

Другой способ обмана вкладчиков: распространение ценных бумаг только что созданной компанией, у которой «ничего нет за душой». На эти акции не только дивиденды не получишь, но и деньги свои не вернешь. Поэтому я бы не стал гоняться за акциями только что появившихся фирм, как бы красиво они себя ни рекламировали. Другое дело: купить акции ЗИЛа, ГАЗа, Братского ЛПК... Эти предприятия обеспечивают ценные бумаги своим высоким авторитетом.

До сих пор (декабрь 1991 года) нет закона, предусматривающего обязательное раскрытие информации о компании, выпускающей акции. Это принято во всем цивилизованном мире: фирма, желающая привлечь инвесторов, должна рассказать о себе если не все, то многое (в некоторых странах вплоть до возраста управляющих). А что мы знаем, например, о корпорации «Экорамбурс» или о какой-то свежеиспеченной бирже? Покупая сейчас акции, люди зачастую покупают кота в мешке.

Продажа акций с нарушением мировых норм уже ведется. После шумной рекламной кампании одно из крупнейших банковских объединений разместило акции на общую сумму 1285 миллионов рублей, в том числе частным лицам на сумму около 100 миллионов рублей.

Выпуск был зарегистрирован в союзном Минфине с соблюдением всех требований постановления правительства. Но если оценивать по эталонам мировой практики, допущена все-таки масса нарушений. Для начала — неточности в рекламе. Как сейчас помню, низкий баритон говорил, что, «покупая акции нашего объединения, вы становитесь собственником 18 предприятий».

На самом деле продавались акции лишь трех участников объединения. Случись такое в США, американец, купив акции только банка, пошел бы в государственную комиссию по ценным бумагам и сказал бы: «В рекламе мне обещали, что я стану собственником 18 предприятий, а я стал собственником одного... Прошу деньги назад и компенсацию морального ущерба». И комиссия приостановила бы выпуск акций до исправления рекламы. У нас же нет законодательства о рекламе, понятия недобросовестной рекламы...

Вдобавок объединение ничего о себе не сообщило. Настоящий «черный ящик»! Уже когда начался выпуск акций, появилось требование Госбанка СССР, чтобы коммерческие банки выпускали проспекты эмиссии — то есть сообщали данные о себе. Банк КИБ НТП проспект выпустил, и он находился в местах продажи. Но сам проспект был составлен оригинально. Мы требовали опубликовать баланс банка, основные его статьи, перечислили, какие... Они вроде бы выполнили требование, но не расшифровали баланс: вместо названий статей дали номера счетов. Это выглядело как насмешка...

И еще одно надо запомнить инвестору (вкладчику): **не покупайте предъявительских акций — только именные**. Предъявительские акции должны быть защищены от подделки. Печатать их на фабрике Гознака? Они очень загружены. За границей? Но тогда одно АО «отшлепает» ценные бумаги в США, другое — на Тайване, третье — в Гонконге... Провести по ним экспертизу будет практически невозможно. Кроме того, нет гарантии, что печатавшая фирма не изготовит какую-то «порцию» бумаг для себя... Так что выпускать предъявительские акции в наших условиях невозможно, и покупать их я не советую.

БИЗНЕС ШЕПОТОМ

ОЛЬГА КАРПОВА,
студентка факультета журналистики МГУ

Из разговора на улице:

— Дожили — очередь в коммерческом магазине... Да где это видано? Когда в конце концов капитализм начнется?

Очередь в коммерческом действительно явление уникальное.

— Мы продавали китайские джинсы под «Левис», — говорит Наташа Егорова, продавщица коммерческого предприятия «Тема».— Цену выставили небольшую — 750 рублей (обычно они идут за 800 — 900). Были все размеры и брали очень хорошо...

— А что обычно у вас покупают?

— Косметику, белье... Сейчас поступила партия «пуховок». Цены у нас сравнительно низкие. Например, свитер из ангоры — 1900 рублей, мужские ботинки «Саламандра» — 1600.

— Кто в основном покупает?

— Молодежь... Они сейчас больше всех зарабатывают...

— Из обуви — мужская итальянская... Мужчинам особенно рекомендую фирму «Kingshe». Джинсы, безусловно, «Левис». Рубашечку, конечно, возьмите китайскую, шелковую, а если погода холодная, можно еще «обливной» полушубок накинуть — он подчеркнет ваши финансовые успехи и скроет лишнюю полноту...

Не думайте, уважаемые читатели, что это лукавый Фагот-Коровьев завлекает доверчивых зрителей на сцену варьете, превращенную самим дьяволом в «потребительский рай».

Так директор коммерческого предприятия «Виктория-91» Дмитрий Хвинтелиани представляет свои товары. Его магазин, в начале ноября открывшийся в одном из арбатских дворов, близ театра Вахтангова, типичная «коммерческая точка» со стандартным набором товаров — от тайваньской помады до китайских «пуховок». Цены тоже — «обыкновенные» (мне, студентке, потребуется год откладывать стипендию, чтобы купить недорогие осенние сапожки).

— Наш бизнес не терпит открытости! — заявил мне Дмитрий Хвинтелиани в ответ на вопрос о балансе предприятия. — Какие рэкетиры? Какие взятки? Вот исполкому мы 70 тысяч перечислили на развитие городских инфраструктур... Правда, никаких социальных благ — например, места в детском садике, но Бог с ними, мы люди не бедные...

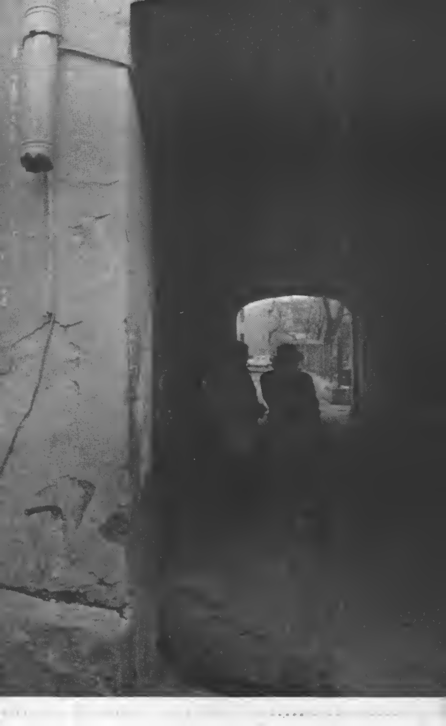
— Никаких взяток, никаких подлогов, никакого приема товаров без квитанции: все строго, все точно, — отвела мои сомнения насчет «фокусов с денежными бумажками» администратор коммерческого предприятия «Тема» (имени своего она просила не называть).— Наша «фирма» довольно большая — судите сами, имеем отдел в универмаге «Москвич-

Фото ВЛАДИМИРА ЧЕЙШВИЛИ


Туфли




КОММЕРЧЕСКИЙ



ка», — так что товары принимаем в основном крупными партиями от постоянных клиентов (больше от организаций, чем от частных лиц). Вещи очень дорогие, о воровстве и подумать страшно... Так что, набирая продавцов, прежде всего обращаем внимание на репутацию человека, на его порядочность... А вот кто у нас работает, я вам открывать не стану — люди к нам пришли разные, разных профессий, но главное, что все мы теперь — одна семья и никаких «фокусов»...

— У нас висит шуба, — рассказывает Дмитрий,— за 90 тысяч; выставили ее недавно, а покупатель уже нашелся, на днях забирать приедет.

— Как определяются цены на ваши товары?

— Она не может быть меньше, чем стоимость товара в долларах. Курс доллара скачет — мгновенно поднимаются цены и на привозимый товар. Рынок диктует...

— Вы напали на «золотую жилу»?

— Отчасти... Но даже из золотой жилы без труда много не «надоишь». К тому же владеть большими деньгами среди такой нищеты...

— Стыдно быть богатым?

— Наши продавцы получают, как и во всех коммерческих, рублей по 600 — 800... То, чем мы торгуем, и для меня не дешево. Но не за звание же «героя капиталистического труда» работаем...

Еще я выяснила, что товары в коммерческие магазины попадают разными путями: самое надежное — оптовые поставщики; затем постоянные «сдатчики» (из тех, кто часто бывает там, за «бугром»); закупают партии и в других коммерческих точках (ну, к примеру, не идут в Одессе «пуховки», а в Воронеже — нарасхват...).

— А из госторговли, с баз? — наивно допытывалась я.

Мне улыбались, пожимали плечами, руками разводили... А некто шустрый и улыбчивый выразительно покрутил пальцем у виска.

Было ясно: вопрос деликатный...

Помните у Булгакова: «Приятный, звучный и очень настойчивый баритон послышался из ложи № 2:

— Все-таки желательно, гражданин артист, чтобы вы немедленно разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов, а в особенности фокус с денежными бумажками. Разоблачение совершенно необходимо. Без этого ваши блестящие номера оставят тягостное впечатление».

Мне повезло. Я краешком глаза заглянула за кулисы.

Мой собеседник, как я поняла, крутится в прилегающих к Союзу (Содружеству?) странах. Скупает все, что подвернется... Он — из «оптовиков».

— Заработок продавцов 600—800 рэ?! Туфта! Основной доход — сбивание цены у тех, кто товар сдает, и взвинчивание ее до предела для покупателей. Пример — ты приносишь джинсы, хочешь выставить их за 800 рублей. Тебя клятвенно заверяют, что ни за 800, ни за 700 такой товар не пойдет, а поскольку штаны эти «везде лежат за 500», то о сделке и речи быть не может. Но есть, правда, выход — тебе 450 на руки... На следующей неделе твои джинсы появятся на прилавке за 900 рэ. Ясненько?!

— ...Что касается поставщиков — обычно у каждой «торговой точки» они свои. Набор товаров, который эти поставщики продают магазинам, тоже довольно однотипен. Вид привозимой в Союз

продукции определяет «волна». Раньше была выгодной турецкая кожа и свитеры. Одев «совков» в мягкие коричневые курточки и джемперы «тим-бойс», коммерсанты охладели к южной стране и перекинулись на товары китайского производства — болотного цвета «пуховки» (не дешевле 5 «кусков» за штуку) и свитеры из ангорки (1,5 — 2 «куска»).

Покупать вещи за границей и перепродавать их не особо обременительно. Попасть за границу несложно. Моя однокурсница, родители которой живут в Тирасполе, «делает свой бизнес» на том, что во время каникул или праздников едет «торговым автобусом» на рынок в Варшаву. Шарфы, стиральные машины, токарные станки — все можно продать на польском рынке, а на полученные злотые накупить стандартный набор товаров, которые принимают в наших коммерческих. Выгода от затраченных в Союзе денег и полученных при перепродаже в коммерческий составляет от 35 до 45 процентов.

— ...Правда, все течет, все меняется и благоприятные времена «коммерческого туризма», по-видимому, прошли. Есть виза — нет билетов, есть билеты — нет 20 долларов, которые обязаны предъявлять наши «туристы» за каждый день пребывания в странах бывшего соцлагеря... Ну, а теперь в МПС (вот где обдираловка!) вообще беспредел: кто станет платить за билет 17 — 20 тысяч?! Так что не волнуйся, скоро в коммерческих станет, как и в госторговле, тихо и пыльно...

Я спрашивала насчет рэкета... Говорили, без проблем. Никто ничего не требует.

— Что они, придурки или на исповеди? Конечно, промолчат... А ты слушай сюда: до 30 процентов чистой прибыли почти с каждой точки идет «охране». Проще, рэкетирам. Платит владелец магазина. И никуда он не денется. Все поставлено круто. Можешь так и писать. Я за свои слова отвечаю...

Из разговора в очереди:

— Я ж за эту демократию... за этих президентов... за этот рынок... своими руками голосовал. А теперь что же... с голоду помирать будем?

Напоследок спросила у Дмитрия Хвинтелиани:

— А как же те, кто ходит в потрепанных пальто и с голодными глазами?

— Конечно, жалко... Но такова жизнь... Зато, может, через лет 30 будем жить как люди... Как европейцы, как американцы...

Честно говоря, засомневалась: а нужно ли, как американцы? Ведь те же «штатники», французы, немцы, да и турки, наконец, строят свою жизнь по своим, а не заимствованным меркам.

А нам действительно слабо?..

Потом вспомнила анекдот:

— Что такое коммерческий магазин?

— Выставка унижений народного хозяйства.

Добавлю — нашего хозяйства...



АЛЕКСАНДР БАХРАХ

РАЗГОВОРЫ С БУНИНЫМ

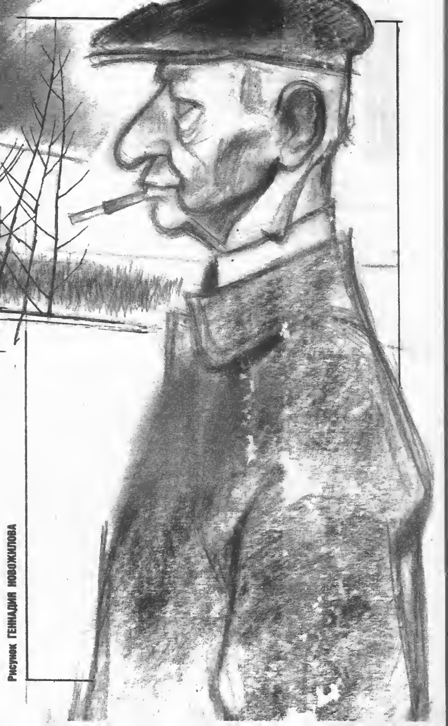


Рисунок ГЕННАДИЯ НОВОЖИЛОВА

Я с увлечением читал в те дни «Сагу о Форсайтах» Голсуорси.

— О чем же эти сотни страниц? — не без усмешки спросил Бунин.

— История английской буржуазной семьи конца прошлого и начала нынешнего веков.

— А, собственно, какое мне до этой семьи дело...

Тут же я рассказал ему, что Голсуорси в одной из своих критических статей, вошедшей в сборник «Замки в Испании», пишет, что если б ему задали вопрос, какой лучший роман во всей мировой литературе, он, не задумываясь, ответил бы...

— «Война и мир»,— прервал меня Иван Алексеевич.

— Да, Голсуорси так и говорит.

— Угадал-таки, почувствовал, ах, какой молодец... Так о чем, говорите вы, эти самые «Форсайты»... Расскажите подробнее.

— Вы как-то утверждали, что каждый человек в течение своей жизни хоть один раз имел намерение покончить с собой или по крайней мере носился с назойливой мыслью о самоубийстве.

— Да, но это не мои слова. Я вычитал их у Голсуорси, и мне показалось, что это неоспоримо.

— Может быть... хотя я не вполне уверен, толком так и не знаю. Но вот какой случай был когда-то со мной. Очень давно это было — в самые допотопные времена, поздней осенью в Ялте.

Жанр этот не нов. Эккермановы «Разговоры с Гете», «Беседы Анатоля Франса», собранные Гзеллем, «Яснополянские записки» Маковицкого — путь долгий и, можно сказать, проторенный. Однако это обстоятельство не умаляет значения «Разговоров с Буниным», записанных А. Бахрахом, а для отечественного читателя представляющих и особую ценность, ибо речь идет о писателе, внимание к личности которого до последнего времени было, мягко говоря, регламентировано. Бунина и «о Бунине» начали нам *выдавать* после первой оттепели малыми порциями, многое утаивая вовсе и с боязливой оглядкой, так как «окаянные дни» именовались тогда иначе, чем теперь, и путь Бунина к советскому читателю был перегорожен сакраментальным «Октябрь не понял».

А *не понял* Бунин Октябрь, как *не поняли* его едва ли не все лучшие умы и таланты России. В том же смысле и февраль оказался Бунину не по зубам и не по уму, ибо тогда же записал он в дневнике:

«На станции «революционный порядок» — грязь, все засыпано подсолнухами, но зажигают огня. (...) В сенях вагона 1-го класса мешки, солдаты. По поезду идет солдатский контроль. Ко мне: сколько мне лет, не дезертир ли? Чувство страшного возмущения. Никаких законов — и вся власть, все, за исключением, конечно, нас. Волю «свободной» России почему-то выражают только солдаты, мужики, рабочие. Почему, напр., нет совета дворянских, интеллигентских, обывательских депутатов? (...) В Ефремове мужики приходили в казначейство требовать, чтобы им отдали все какие есть в казначейство деньги: «Ведь это деньги царские, а теперь царя нету, значит, деньги теперь наши»...

До «непонимания» Октября — «окаянных дней» — оставался один шаг... Но вот и он сделан.

Это было в «чеховскую» эпоху, в пору моей дружбы с ним. Я был молод, свободен, в расцвете сил н едва только становился известен. Какне-то общне знакомые представили меня очаровательной, совсем еще юной барышне — красавице грузннского типа, настоящей Тамаре с огромнымн, жнвыми черными глазами, с длинными-длинными ресннцамн, с еле заметным пушком над верхней губой. Обладала она прекрасным, здоровым молодым телом с каким-то сиреневым отливом, который меня и тогда поражал. Я с места в карьер стал за ней ухаживать, проявляя большое и свойственное моему тогдашнему возрасту упорство. Я долго ходил за ней буквально по пятам, но все было тщетно, ничего не выходило. Красавица моя была непреклонна. Это меня еще больше распаляло, н я изнемогал...

Однажды под вечер, после очередного поражения, я в мрачном настроении вышел нз моей гостнннцы. Хотелось побродить по городу, подышать морем, а вероятнее всего, цели никакой не было, просто оставаться одному стало невмоготу. На набережной я неожиданно встретил одну элегантно одетую даму нз категории «эффектных женщин». До того я с ней раз-другой сталкивался в какой-то холостой компанин и знал, что она выступала в каком-то одесском кафешантане, но определенной профессии не имела. В этот злосчастный вечер непреклонность моей Тамары меня настолько беснла, что я нскренне обрадовался встрече. Я галантно подошел к полузнакомой даме, для виду поговорил с ней о погоде н прнглаcнл ее пойти поужинать в «Городской сад», бывший излюбленным местом встреч тогдашнего курортно-

По объятой реоолюционным безумием России — через Константинополь, Болгарию, Сербию — добрались Бунины до Парижа. Жилось всяко, больше восиоминаниями ослепительной красоты и горочи, переплавленными в книги. Но, кромо книг, увенчанных Нобелеоской премией, были и неизоестные тогда миру дновники. И тогда уже жила Европа, как на пороховой бочко. Война грохнула, хоть и ждали, а — как гром среди нсного неба.

«7.XI.40. Радио: Антонеску нослал телеграмму «великому фюреру» и «великому дуче». Так примо и адресовалсн. Ещо одно дельце Гитлер обделал. Какие оии всо дьявольски неустанные, двужильные — Ленины, Троцкие, Сталины, фюреры, дуче!»

Еврона горит, Париж нод немцем, а средиземноморский берег, Бунина приютивший, не за каменной стеной, но жить надо, хотя и наступили, записывает он, «оянть «Окаииные дии!»... И дальшо нобожит диевник, донь за днем — грустный, горький, трагический:

«5.VII.41 «Блажен, кто посетил сей мир...» На мою долю этого блаженства выпало немножко много!»

«25.IX.41. Питаемсн с большим трудом и очень скудно: в городо решительно ничего нет. Страшно думать о зиме».

«30.XII.41. Пальцы о трещинах, от холода, не искупаться, не вымыть ног, тошнотворные супы из белой репы...»

Холодиая, голодиан жизнь — на солнечиом южном берегу, среди обильных божьих плодоз; и природу переиначила война на кровавый лад. Сдавало тело, жила душа; тем только и жила, что даровано ему Богом. Лежали в то дии на столе рукописи — «В одной знакомой улице», «Речной трактир», «Холодиан осень», «Чистый понедельиик»... Писал. Думал. Говорил. А ридом случилсн человек, который не дал умереть бунинским словам — записал, сохранил.

го общества. С горя было выпито много водки и шампанского. Утро застало меня в постели веселой и легкомысленной одесситки.

Конечно, в ресторане многие меня видели. К тому же Ялта была так мала и так мало было тогда происшествий, что в нашем падком на сплетни кружке сразу же начались всяческие пересуды, которые я обнаружил только впоследствии.

После этого ночного приключения прошел день-другой, и я о нем и не думал, потому что с удесятеренной энергией стал волочиться за большеглазой Тамарой. Наконец ухаживания мои увенчались успехом: она трепетно пала в мои объятия. Мне стыдно теперь признаться, что сейчас я не помню даже ее имени, хотя, может быть, она и вспоминает иногда свой первый эпизод.

Миновал еще день. Гуляя снова по набережной, я повстречал ехавшего на рысаках старого приятеля, доктора А. Он сделал знак кучеру, остановился, подозвал меня пальцем и сказал:

— Слушай, Иван, по дружбе я вынужден разоблачить одну врачебную тайну. Бог простит меня за это несоблюдение врачебной этики, но дело слишком серьезно. В «Городском саду» тебя видели в обществе одной дамы. Предупреждаю тебя: она больна...

Я думал, что небо свалилось мне на голову. Я считал себя последним из подлецов. Образ очаровательной молодой девушки маячил перед моими глазами. Что было делать? Я твердо решил стреляться — другого выхода я не видел.

В тот же час, ни с кем не прощаясь, не упаковав чемоданов, я,

Александр Васильевич Бахрах (1902—1986), критик и журналист, так вспвминает истврию записок:

«В конце трагического сорокового года, после поражения Франции п был домобилизонан и очутился в одном городке средиземноморского побережья. Я не знал, куда приткнутьсп. Единственный человек, проживавший пвблизости и адрос которвгв п знал, был Бунин. В Ниццо я рассчитывал найти друзой и там сообразить, что предпринять. Я написал Ивану Алексеевичу, что пв дороге хвчу навестить егв. В назначенный день я появилсп на «Жанотте», виллв, квтврую тогда снимал Бунин.

(...) Я рассчитывал пронести там одну-две ночи, а покинул ое уже после освввождения Франции, то есть осенью 44-го года...»

Коночно, читатель сам оценит те новые и бесценные штрихи к портроту пвследнвгв классика русскві литературы, кввторые так щедрв рассыпаны н этих записпх, мы же отметим лишь одну их особенность. Помимо тонких наблюдений, острых оценок людей и событий, свойственных Бунину, главное н «Разговорах» то, что они продстанляют собой прямое продолжение творчества писателя: н каждом — устном — рассказе живет Бунин-художник, и художник такой поразительной зоркости, какой, быть может, не былв ни н русской, ни н мирввой литературе.

Остаетсп добавить, чтв «Разгвввры с Буниным» были напечатаны в американском русскепзычном «Новом Журнале», разумеется, малотиражнвм, а нашому читателю практически недоступном.

как безумный, умчался в Москву, чтобы как-нибудь наспех ликвидировать дела и расчеты с жизнью.

По дороге я все же чуть остыл и брату удалось уговорить меня сперва обратиться к специалистам. Я обошел всех наиболее знаменитых. Никто ничего не нашел. Я недоумевал.

Прошло несколько лет, и я почти забыл об этой истории. На каком-то званом обеде моим соседом оказался мой ялтинский приятель-доктор, которого я не видал с того злополучного дня. Увидев меня, он саркастически улыбнулся, а после обеда, улучив минуту, подошел ко мне и назидательно пробурчал в свою торчащую лопатой бороду (с тех пор ненавижу эти благородные бороды!):

— То-то же, молодой человек, это я вас тогда умышленно напугал. Пусть это послужит вам уроком. Впредь будете осторожнее в выборе знакомств.

Я стоял рядом с ним, как немой.

А как трагически могла кончиться эта дурацкая шутка.

А несколько дней спустя он напомнил мне о нашем разговоре.

— Знаете,— поведал он,— я вчера на ночь перечитывал томик Тютчева и — какое странное совпадение! — наткнулся на эти забытые мной строки:

«И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!»

Он прочел их вполголоса, но у меня словно мороз по телу пробежал. Потом добавил:

— Знал что-то старик... какая умница... Нет, Толстой ошибся, говоря, что «умнее Фетушки человека нет». Куда уж тут «Фетушка»...

— В елецкой гимназии, в которой я учился, преподавателем русского языка был одно время Василий Васильевич Розанов. Я не успел его застать, закончив, как вам известно, мое образование четвертым классом.

Но однажды, уже будучи молодым литератором, я посетил Елец и был приглашен на какой-то гимназический вечер. Я был почетным гостем, былым питомцем гимназии, окруженным ореолом славы. Старичок директор все еще был на своем посту. Беседуя с ним, мне захотелось расспросить его о Розанове, который всегда меня интересовал. Директор замахал на меня руками:

— Ну что вы хотите — сумасшедший... Преподавая свой предмет, он обращался к ученикам: «Вы меня понимаете? Нет; ну, это очень хорошо, это прекрасно — настоящая мудрость в том, чтобы не понимать...»

Как-то под вечер — это было во время одного из его последних наездов в Москву — я зашел к Чехову. Он сидел один, грустил и, видимо, искренно обрадовался моему приходу. Мы долго говорили. Становилось поздно, и я несколько раз пытался уйти, но

Антон Павловнч не отпускал меня.

«Давайте теперь посидим и немного вместе помолчим»,— сказал он.

Чувствовалось, что ему неуютно оставаться одному. Я остался. Часу в третьем ночи раздался звонок, и Ольга Леонардовна точно впорхнула, веселая, надушенная, щебечущая.

— Дусинька, ты не один, вот это отлично...

Ей подали закусить, и она с аппетитом стала разгрызать какую-то холодную птицу. Чехов глядел на нее почти с ненавистью.

Когда потом в его записной книжке я наткнулся на фразу: «Когда я вижу, как бездарная артистка жрет куропатку — мне жаль куропатки», я невольно вспомнил этот московский вечер.

А за всем тем, как к женщине, его неизменно влекло к Книппер.

— Это в свое время очень в России практиковалось, мы ведь во многом были чуть провинциальны: какая-нибудь анонимная поклонница пошлет вам многостраничную исповедь с таким обилием деталей, что порой при чтении краснеешь, а к концу добавит — научите, как жить или что такое жизнь... Много я на своем веку получал такого рода посланий. А почему я обязан знать, что такое жизнь?

А Чехов говорил: «Когда мне задают такой вопрос, я отвечаю: а что такое морковь? Морковь — это морковь, и все тут».

— Антон Павлович рассказывал, что у него издавна было страшное искушение назвать какого-нибудь бедного, захудалого чиновника «Матвей Сортирович».

Вы когда-нибудь думали над изречением «Леность — мать всех пороков»? Вы думаете, это правильно? Нет, не леность, а глупость... И представить себе невозможно, до чего может довести человека глупость. Никакая фантазия не угонится... Я уже писал об этом, но вы ведь моих книг не читаете... Толстой рассказывал, что у него был приятель — человек очень бедный, считавший каждую копейку. И вдруг на последние деньги купил он затейливую заводную канарейку. Все судили-рядили — к чему? И никто не догадался, что это просто по глупости...

— Надо быть очень умным, чтобы понимать глупости. А если б вы знали, как трудно бывает их сочинять. Нужны были такие умницы, как Алексей Толстой да Жемчужников, которого я лично знал,— породистого вида барин с душистыми баками,— чтобы написать Козьму Пруткова.

— Пишут, пишут братья-писатели, а скольких вещей они и не знают...

— ?

— Ничего не знают о тучах, о деревьях, да и о людях... Не

ведают самых элементарных законов физики, не знают анатомии, свойств человеческого тела.

Разговор этот происходил у стоянки автокара. Мы отправлялись в Ниццу.

— Вот у женщины, стоящей подле вас, на ногах выдаются синие жилки. А что это означает, никто и не знает, а я по этим жилкам да еще по каким-нибудь едва заметным признакам, которые большинство из пишущих не замечает, опишу вам ее наружность, многие детали ее лица, ее жизнь. Я как-то сидел в ресторане с Борисом Зайцевым. Неподалеку от нас ужинал какой-то лысый господин. Я и говорю Зайцеву: «Борис, погляди на его уши, на его манеру есть, на то, как он сидит, и расскажи мне про него». Зайцев поглядел, задумался и, отшутившись, переменил разговор. А я, кажется, мог бы тут же биографию этого господина написать. Для писателя это полезнейшая игра. (...)

Зато как знали все эти «мелочи» Толстой и Флобер. Поэтому так отчетливы их герои. Многими ли словами описана Наташа Ростова, но ее поступки, ее жесты, ее ощущения настолько слитны, так логичны, так все одно из другого вытекает — ни единой погрешности, ни единой фальшивой нотки,— что мое, ваше, чье бы то ни было представление о ней будет мало чем друг от друга отличаться.

А тургеневская Лиза все-таки — абстракция. Ее образ расплывается. Иные ее черты физически несовместимы. Разве вы можете себе ясно представить Джемму? Ну, хорошо — усики слегка пробиваются над верхней губой, а дальше, дальше что? Я ее не вижу. Чтобы ее ясно представить, мне нужно дописать Тургенева, самому дополнить ее облик.

А вот Пушкин... Хоть он многого, может быть, и не знал, но у него был совершенно непогрешимый инстинкт, какое-то чудовищное, небывалое чутье. Зато Лермонтов уже знал все. Ведь это какое-то необъяснимое чудо, чтобы в двадцать восемь лет так все знать.

Если бы какие-нибудь Гонкуры до конца знали все эти вещи — они стали бы первоклассными писателями. А так — много блеска, очень талантливо, но сухо, чего-то постоянно недостает, и это их губит.

И Короленко этим грешен. А еще больше Горький, по существу, большой талант, но талант на пошлую литературу. Возьмите любую его книгу и начните карандашом отмечать все несообразности, все его «погрешности». Вы и не оберетесь. Да, необходимо «на зубок» знать то, о чем пишешь.

Вот, для примера, в каком-то горьковском рассказе — если не ошибаюсь, называется он «Рождение человека» — нагромождены физиологические подробности, о которых сама природа не ведает. Действие происходит на Кавказе, на берегу Арагвы или какой-то другой реки. И вдруг Горький серьезно пишет: «Кленовые листья, плывшие по воде, были как обрубленные человеческие руки и как ломти лососины...»

Вы только вникните в эту фразу. Я даже и не говорю о том, что вообще безграмотно давать два сравнения. Но «обрубки тела»,

которые плавают,— где же Горький такое видел? Или он считает необыкновенно выразительным вроде «моря, которое смеется» то, что «один глаз впивался в вас, а другой лукаво подмигивал». Разве это дает хоть малейший образ? Это демагогия, и ничего больше.

Когда мы когда-то во время оно вместе жили на Капри, я неоднократно говорил ему: «Алексей Максимович, у вас тут точно вы побывали в анатомическом театре и оттуда все приволокли — там взяли лицо, здесь туловище, тут ногу — разве в природе вообразимы подобные соединения?» Он почесывался и говорил: «Да, оно, конечно... пожалуй, вы и правы». (...)

А у Леонида Андреева Иуда на закате взошел на Елеонскую гору (действие происходит в Иерусалиме), распростер руки и «тень его казалась черным распятием». И эффект-то какой дешевый. Но не в этом дело; я ему заметил: «Леонид, а ведь солнце-то заходит с другой стороны, со стороны Мертвого моря».

— Ты вечно о пустяках,— недовольно возразил мне Андреев.

Но ведь это отнюдь не пустяки. Надо уметь привирать.

— Среди моих коллег по Академии был и Ключевский. Какой это был привлекательный старичок. Но близко мне с ним сойтись так и не удалось. Я об этом и сейчас жалею. В последний раз в жизни я встретил его в день первого представления «На дне». Триумф Горького превзошел тогда все ожидания, в течение спектакля его вызывали семнадцать раз, а после премьеры был организован банкет в «Праге» приборов, кажется, на триста.

До начала ужина в отдельной комнате я стоял рядом с Ключевским и обменивался с ним впечатлениями, пока не появился сам герой торжества, красный, возбужденный, потный...

— Жрать, жрать, жрать,— покрикивал он на ходу и подозвал лакея.— Тащите сюда сейчас же какую-нибудь такую рыбину,— жестикулируя, он показывал ее величину,— нет, такую,— и еще больше разводил руки,— словом, не рыбу, а лошадь...

— Нет, Алексей Максимович, зачем же лошадь,— ледяным голосом проронил Ключевский, отчеканивая каждое слово,— ведь мы здесь не все ломовые извозчики...

— Я как-то встретил Бальмонта на Елисейских Полях.

«Знаете, Бунин,— выспренно обратился он ко мне,— я прочел вашего... ну, как это... «Человек из Сан-Франциско».

— «Господина из Сан-Франциско»,— холодно поправил его.

«Ну-да, «Господина»... У вас, Бунин, есть чувство корабля!».

Тот же Бальмонт как-то — уже в Париже — поделился со мной:

«Бунин, вы не поверите — я заставил себя до конца прочитать наконец «Войну и мир» графа (титул он произнес особенно напевно) Толстого. Знаете, это очень неплохо, местами это даже просто хорошо, очень хорошо...»

А вскоре после этого бальмонтовского признания я сидел в кафе с Алдановым. Неожиданно появился Набоков, который еще именовал себя тогда Сириным. Тот тоже сообщил, что будто

бы впервые «осилил» «Войну и мир». Алданов из вежливости спросил об его впечатлениях.

— Есть отличные сцены. Вот, к примеру, ампутированная, белая нога Анатоля, ничего не скажешь, эта сцена здорово передана.

— Вы уж лучше этого никому не рассказывайте,— заметил Алданов, покрасневший как рак.

— Я когда-то усердно собирал частушки, народные поговорки, прибаутки. Это неоценимый клад, и сколько их ни записывать, все равно всего не запишешь. Был у меня паренек из деревенских, которого я обучал искусству записи. Мы условились, что я буду платить ему по копейке за каждую новую запись. Вероятно, этот самородок сам многое присочинял, но как он был талантлив...

Во время войны я выписал его к себе в Москву и он ночевал у нас на кухне. Раз я его спросил — понравилась ли ему Москва?

— Ничего, только ветвей нету...

Давал я ему на прочтение кое-какие книги. Дал «Смерть Ивана Ильича».

— Прочел?

— Прочел.

— Ну, понравилось?

— Очен-но понравилось, там буфетный мужик большие деньги загребал...

Кончил мой паренек плохо, сперва получил у большевиков в начале 18-го года какой-то «ответственный» пост, но вскоре на чем-то попался и его расстреляли.

А всяких частушек и народных прибауток собрал я около одиннадцати тысяч. Не знаю, уцелели ли все эти материалы, они остались в Москве в моих архивах. Кое-что я стараюсь теперь восстановить по памяти, но память — вещь неверная.

Несколько минут спустя он протягивает мне тетрадку:

— Вот для вас, обучайтесь...

В тетрадке столбиком записаны всевозможные поговорки, каких ни у какого Даля не найти. Некоторые из них он любит повторять, но, к сожалению, напечатать их неудобно. А ведь действительно жалко, так они остроумны и выразительны.

— Мне было тогда, вероятно, лет около пятнадцати. Я жил еще с родителями в нашем орловском имении. Старший мой брат, Евгений, недавно женился и приехал к нам погостить со своей молодой женой. Вскоре к ним присоединилась и молоденькая родственница моей новой невестки. Звали ее Авдотья Карловна. Была она кругленькой, пухленькой девицей с веселыми голубыми глазами. Были мы почти однолетками. Как полагается, через несколько дней после ее приезда я уже был в нее безнадежно влюблен и, конечно, воображал, что с равной силой подобное чувство никем и никогда не было изведано! Ведь это была моя первая влюбленность...

Мы без конца играли в крокет, постоянно вместе гуляли, ездили верхом. Но я был слишком робок и застенчив, чтобы

признаться в волновавших меня чувствах, а она коварно делала вид, что ни о чем не догадывается.

Однажды мы целой ватагой зачем-то снарядили экспедицию в соседний городишко. Возвращались уже поздно ночью. Я устроился так, чтобы сидеть в тарантасе рядом с Авдотьей Карловной. В пути неожиданный толчок внезапно приблизил наши лица. Не задумываясь, не сознавая, что я делаю, я крепко поцеловал ее. Ничего более прекрасного, более сладостного, нежели этот первый поцелуй, первое почти невинное прикосновение губами к женскому телу, я не испытывал во всей последующей жизни. Я и сейчас, рассказывая вам эту страницу моей жизни, ясно вижу перед глазами эту картину, точно это произошло вчера: широкая проселочная дорога среди спелого жнивья, рассветает, какой-то босой мальчишка гонит нам навстречу стадо гусей...

После этого наши совместные прогулки еще участились. Я старался выбирать уединенные места, лесную чащу. Однако все так и ограничивалось одними поцелуями, ритм которых только постоянно учащался. На большее не хватало мужества. А дни мчались безнадежно быстро. Уже начинали желтеть листья, каникулы приходили к концу, пришлось расставаться.

Прошло лет двадцать. По какому-то случаю, я заехал в Ефремов. Остановился в лучших тамошних номерах и, как подобало столичному путешественнику, навестившему захолустье, снял «номер первый». Вы этого, конечно, не знаете: в провинциальных русских гостиницах, или, по-гоголевски, трактирах, был для именитых посетителей всегда наготове этот «номер первый»! Но в Ефремове этот самый «номер первый» с красной, как надлежит, плюшевой мебелью, с большим круглым столом и кроватью, отгороженной шатающейся ширмой, был постоянно насыщен угаром и кухонным чадом.

Случайно обнаружил, что моя Авдотья Карловна проживает в Ефремове. Я ей тотчас дал знать о моем приезде. Она зашла ко мне в гостиницу как-то под вечер. Уже не казалась мне столь обольстительной, как некогда, перестала быть в моих глазах «роковой женщиной», но все же была еще довольно аппетитна.

На круглом столе коптила керосиновая лампа. Глядя на знакомые голубые глаза, я мысленно пожалел о потраченном когда-то зря времени, сам поразился, вспоминая мою былую робость, и без тщетных предисловий, сославшись на чад, затушил лампу, может быть, и прибавил какое-нибудь пошленькое «Так уютнее...».

Когда Авдотья Карловна вышла от меня, я растворил окошко. Была сухая, морозная зимняя ночь. Ярко светили звезды. Спать не хотелось. То, что было когда-то так неразрешимо сложно, оказалось таким простым, может быть, слишком простым... Душный воздух комнаты был мне невмоготу. Я оделся и вышел на улицу. Город безмятежно спал. Я растолкал прикорнувшего на стоянке извозчика и приказал ему покатать меня.

Он понял меня по-своему и не спеша повез по сонным улицам. Ехали довольно долго, и наконец, подвезя меня к какой-то загородной даче, обернулся и не без хитрецы сказал:

— Приехали-с!

Ступая по хрустевшему снегу, я пошел по направлению к дому, еще не вполне себе уясняя, куда я попал. Извозчик шел за мной следом. Я вошел в пустые сенцы. Перед огромной иконой теплилась лампадка.

— Вот здесь я вас и обожду,— сказал мой возница.— Здесь теплее будет.

Я прошел дальше. В просторной с низким потолком комнате на широкой постели спали две полуодетые девки. Они лежали, приткнувшись одна к другой, в каких-то длиннющих холщовых рубахах, точно две огромные, неподвижные рыбы. На одной из них поверх рубахи был засаленный корсет, поразивший меня тем, что он был черного цвета. Во многих местах китовый ус вылез из него наружу. А ведь вы, дорогой мой, никогда даже не видали таких туго зашнурованных, завязывающихся сзади корсетов и потому не в силах понять, каким бывало наслаждением их расшнуровывать!

Между тем сонные девки неохотно протерли глаза. Подали черные бутылки густого, клейкого пива. Я посидел несколько минут, о чем-то с ними поболтал и стал собираться в обратный путь. Девки были явно оскорблены.

Возница, которого мне пришлось долго будить, недоверчиво воскликнул:

— Как, уже?

Я вернулся в гостиницу, философствуя про себя о суете мирской. Тем и завершилась моя первая влюбленность. Авдотьи Карловны я больше никогда не видал. Слышал, что она стала гувернанткой в какой-то зажиточной рижской семье. Как-то я был в Риге проездом, но навестить ее не удосужился. А курьезно было бы повидать ее еще раз...

Стоило бы отметить, что многое из этих бунинских воспоминаний отразилось на его рассказе «Темные аллеи», вошедшем в его одноименный сборник.

— Я совсем ожидовел! Ночью мне Шагал снился, большой такой, с ровной, гладко подстриженной бородой, точно пушистое колье вокруг лица.

— Иван Алексеевич, да ведь Шагал бритый...

— Вот вы всегда ко мне придираетесь. Я уверен, что это был Шагал. Я даже успел заметить, как за его спиной плавали его разорванные, зеленые евреи. А потом подошли какие-то немецкие офицеры, настолько страшно стало, что я проснулся.

А в другой раз:

— Ночью мне Лев Николаевич снился, весь сизый, с взлохмаченной бородой, все пил джин из огромной бутылки. Где он только такую достал? Меня он явно не узнавал. Я подходил к нему, представлялся, напоминал, что мы когда-то встречались. Ничего не помогало, старик был точно невменяем. А мне было не по себе — в печати рассказывал о встречах с Толстым, а он меня не узнает...

На следующий день после этого сна мы ездили в Ниццу. Первой покупкой Ивана Алексеевича была бутылка джина!

— А у вас есть нелюбимые буквы? Вот я терпеть не могу букву «ф». Мне даже выводить на бумаге это мерзкое «ф» трудно, и в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А, знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. В последнюю минуту — священник уже стоял у купели — старая нянька сообразила и с воплем прибежала к моей матери: «Что делают... что за имя для барчука!» Наспех назвали меня Иваном, хоть это тоже не слишком изысканно, но, конечно, с Филиппом несравнимо. Именины мои приурочили ко дню празднования перенесения мощей Иоанна Крестителя из Гатчины в Петербург. Так, строго говоря, я и остался на всю жизнь без своего святого... А, прости Господи, каким образом рука Иоанна Крестителя могла очутиться в Гатчине, я до сих пор не разгадал.

Но все-таки могло произойти — «Филипп Бунин». Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.

Его до сих пор передергивает при одной мысли об этом «ужаснейшем» из сочетаний.

— Род наш значится в шестой книге. А гуляя как-то по Одессе, я наткнулся на вывеску «Пекарня Сруля Бунина». Каково!

— Какой великолепный писатель — Гаршин и каким несчастьем для нашей литературы была его преждевременная смерть. В его вещах чувствуется такая писательская свобода и смелость приемов, которые безошибочно указывают на очень глубокий и подлинный талант.

«Мы, Божьей милостью, Петр Первый объявляем ревизию сему сумасшедшему дому...»,— так начинается «Красный цветок». Как прием, лучше не придумать. А «Четыре дня» — совсем крупная вещь, но даже в маленьких его рассказиках чувствуется присутствие свежего таланта. «Attalea Princeps» хоть и испорчена гимназической тенденцией, но и здесь чувствуется что-то значительное.

— Я думаю, что ни одна западная литература того периода не достигла поэтических высот «Слова о полку Игореве». Но надо быть русским, чтобы это ощутить. Вот Мицкевич пытался переводить «Слово» и не сумел — оно непереводимо. Есть много поэтических творений, которые теряют прелесть, если лишить их природных архаизмов. «...Святослав мутен сон виде...» — разве это то же самое, что «мутный сон»? Ведь «Слово» даже и на современный русский язык переводить кощунственно.

Мудрый Мазон долго работал над «Словом» и пытался доказать в силу каких-то внелитературных причин его апокрифичность. Боже, какая ересь! Только иностранец мог не почувствовать органическую ткань этого памятника!

Прекрасно имитирует многих своих современников, Горького, Бальмонта, Алешу Толстого. Актерская жилка в нем очень сильна, хотя театра он не любит. Знает это и, смеясь, замечает:

— Почему я не пошел в актеры, когда меня вербовал Станис-

лавский? Наверное, стал бы знаменитостью, а теперь, скажите на милость, кто меня читает?

А все-таки отлично знает, что забыт он не будет.

— А вы часто перечитываете «Повести Белкина»?

— В нормальной обстановке едва ли не раз в месяц.

— Да, это необходимо каждому, это как кислород. Я буквально страдаю, что в суматохе отъезда не подумал захватить с собой Пушкина. А тут его не достать. Его проза суховата, но как необыкновенно прекрасна. Пушкина надо читать всю жизнь. Закрыть книжку на последней странице и начинать снова с первой.

Сочинил какие-то шуточные стишки и, довольный, радостно их декламирует.

— Иван Алексеевич, да у вас в последнем двустишии рифмы прихрамывают.

Он чуть не обиделся.

— Тоже скажете... и у Пушкина найдете глагольные и слабые рифмы. А теперь ваши друзья рифмуют «блядн — на пледе» или «самовар — кавалер»! И небось это всем по вкусу, даже Адамовичу с Ходасевичем. Вам мои стихи могут не нравиться, допускаю, но придраться к моим рифмам нельзя...

Я как-то заметил ему, что не могу ужиться с мыслью, что ежечасно общаюсь с человеком, который посещал Толстого, дружил с Чеховым. В моем представлении это такая далекая эпоха, что в моем сознании никак не укладывается, что можно быть одновременно современником Толстого и Гитлера.

— Это еще что. Помню — я тогда только-только был избран в Академию и новичком приехал на заседание. Председательствовал великий князь. Я сел за большой, покрытый зеленым сукном стол. Место около меня оставалось еще свободным. Заседание уже началось, когда двери распахнулись и вприпрыжку вбежал хилый, сгорбленный старичок, опиравшийся на костыль. Ну настоящие живые мощи! Я не знал, кто это (кажется, это был знаменитый Бекетов), но был поражен его странным одеянием — на нем был какой-то белый балахон, походивший на ночную сорочку. Впрочем, его туалет, видимо, никого не смутил, и почет ему был оказан чрезвычайный, все во главе с великим князем встали, чтобы его приветствовать.

Старичок проковылял по конференц-залу и уселся рядом со мной.

Надо вам сказать, что в Академии мы были чрезвычайно вежливы и почтительны и иначе, как «Ваше Превосходительство», друг к другу и не обращались. Не зря же звание академика по «табели о рангах» соответствовало чину действительного статского советника.

Старичок мой прищурился, кашлянул и наклонился ко мне: «Опоздал я сегодня — страшный на дворе дождь. А помните, ваше превосходительство, точно такой же ливень был, когда мы хоронили Ивана Андреевича. Промок я тогда и простудился... а вы?»

Сосед мой имел в виду похороны Крылова, а они происходили в 1844 году.

— Не знаю, читали ли вы неизданные отрывки из «Хаджи-Мурата», опубликованные несколько лет тому назад. Среди них есть сцена, в которой хорунжему показывают мертвую голову Хаджи-Мурата. Я не знаю более жуткой сцены во всей мировой литературе. Я много раз ее перечитывал, и каждый раз мной овладевает какой-то мистический ужас, волосы поднимаются на голове.

Он написал рассказ, один из героев которого — известный московский врач — первоначально именовался Николаем Михайловичем Даниилевским. Рассказ был уже начисто отстукан на машинке, когда, проглядывая машинопись, он вдруг решил перекрестить своего доктора в Григория Яковлевича. Пришлось все заново переписывать.

— Не все ли равно, каково имя-отчество Данилевского?

— О, нет. Надо, чтобы имя подходило к герою, чтобы оно сливалось с его обликом. Неужели вы не почувствовали, что первое сочетание не подходит к персонажу? Мог ли он быть Николаем Михайловичем? Надо, чтобы герой ужился со своим именем, чтобы оно его не коробило. Я часто примеряю имя, потом вижу, что оно не подходит, режет ухо, и тогда меняю его. Это необъяснимая, таинственная магия имени. Можно потопить хорошую вещь неудачным, неподходящим подбором имени.

И на его письменном столе я видел длинные списки имен и фамилий, разбитые на категории, на национальности, по областям, по сословиям, длинные выписки из святцев, которые он внимательно изучает с этой целью.

— Гоголь, конечно, гениальный писатель. Смешно это отрицать, но разрешите мне его не любить. Уж очень много в нем пошлого, неестественного. Откройте хотя бы первую страницу «Мертвых душ». Действие происходит в губернском городке, и вдруг у дверей кабака разглагольствуют два «русских мужика». Что же вы могли бы подумать, что это испанцы судачат о том, доедет или нет Чичиков до Казани? Но еще того неестественнее подбор имен. Где он мог выкопать этакие мертворожденные фамилии, как Яичница, Земляника, Подколесин, Держиморда, Бородавка, Козопуп? Ведь это для галерки — это даже не смешно, это просто дурной тон. Даже в фамилии «Хлестаков» есть какая-то неприятная надуманность, что-то шокирующее. Да и Антон Павлович со своим Симеоновым-Пищиком, несмотря на весь свой вкус, сел в калошу. Нет, удачная фамилия — важнейшая для писателя вещь. Полюбуйтесь только фамилиями у Толстого — это подлинные алмазы.

— Идешь бывало из гимназии к дому, в котором меня поселили. Проходишь стоянку извозчиков. Один из них непременно пристает:

«Барчук, а, барчук, арихметику купи... У меня недорого есть, по случаю...»

Полюбопытствуешь, остановишься, вступишь в разговор. А он задерет кобылий хвост:

«Вот тебе и арихметика!»

Все радостно хохочут, а самому хочется сквозь землю от стыда провалиться.

Он писал рассказ, героиней которого была проститутка.

— Я начал писать его в первом лице и из-за этого не могу дать никаких подробностей. Как-то неловко писать «я» и потом передавать детали. А жалко. Ей-богу, рассказ был хорошо задуман, да не выходит.

— А вы много знаете русских слов для обозначения зада? (Сказал даже грубее!)

— ??

— А есть прекрасные: сахарница, хлебница, усест. Помните — да вы, конечно, помнить не можете — у Бенедиктова про наездницу, которая гордится «усестом красивым и плотным». Жалко, что у меня нет здесь стихотворений Бенедиктова. Я бы вам непременно почитал вслух. Они гораздо звучнее Бальмонта, да и умнее, но это само собой разумеется. Вы бы тогда усомнились в Белинском. Впрочем, вы и Белинского, вероятно, не читали; ваше поколение его уже презирало, и зря. Вспомните только отношение к нему Лермонтова и все, что писал о нем Тургенев.

Принято думать, что у Бунина не в меру ироническое отношение ко всем собратьям по перу, особенно к молодым и начинающим. Это, конечно, легенда. Когда заходит разговор о каком-нибудь из писателей следующего поколения («незамеченного», как его кто-то окрестил) или кто-то пустит едкое замечание, он непременно взъерепенится, вступит в спор, начнет «обвиняемого» защищать — без малейшего покровительственного тона.

— Критиковать легко, а попробуйте сами такое написать. Раз талант есть, выпишется. Никто сразу «Войну и мир» не создал.

Насмешки и шпильки пускает только по адресу уже признанных, но тех, которые ему близки, всегда расхваливает и умалчивает даже то, что не могло прийтись ему по душе.

Особой нежностью пропитаны его высказывания об «Алешке» Толстом, ему он прощает многое, что не простил бы, пожалуй, никому другому. Охотно вспоминает встречи с ним «на заре» эмиграции.

— Будучи в Париже, он не раз мне с надрывом говорил: «Вот будет царь, я приду к нему, упаду на колени и скажу: «Царь-батюшка, я раб твой, делай со мной, что хочешь». А ведь «царя» он как будто себе нашел! Но это не мешало ему тогда подолгу сидеть, попивать винцо и все изобретать какие-то китайские пытки для большевиков — ведь он их тогда ненавидел.

Я однажды зашел к нему, когда он умывался.

— Посмотри на меня, Иван, до чего я красив, мне порой самому от этого жутко делается!

Действительно, человек необыкновенной силы, никогда ничего подобного не видел. Он сам мне рассказывал:

— Прихожу я раз домой навеселе, что-то меня рассердило, и я начал буйствовать. Кричу на весь дом: «Сейчас угол у камина отобью» (не повторю, каким способом). Прибежали дети, плачут, кричат: «Папочка, не надо!», еле они меня успокоили.

Но какой он работяга. Всю ночь кутит, в пятом часу возвращается домой, а в девять уже за письменным столом, голову помажет «бом-банге», обмотает мокрой тряпкой и до завтрака пишет. Ведь «Петра» он начал готовить, еще будучи в Париже, еще тогда начал собирать материалы. Прекрасно все чувствует, даже петровскую эпоху почувствовал, от которой отказался Лев Николаевич.

Бунин до «Лолиты» не дожил, но уже в те годы — еще не зная, что Набоков впоследствии в «Дальних берегах» проснобирует приглашение вместе поужинать в каком-то элегантном парижском ресторане, с большим сочувствием отзывался о первых вещах молодого писателя, появившихся под псевдонимом Сирин:

— О, это писатель, который все время набирает высоту, и таких, как он, среди молодого поколения мало. Пожалуй, это самый ловкий писатель во всей необъятной русской литературе, но это — рыжий в цирке. А я, грешным делом, люблю талантливость даже у клоунов.

Перелистывая какую-то устаревшую антологию, он наткнулся на державинское «Видение мурзы», которое, очевидно, выветрилось из его памяти. Восторгу его не было конца. В течение долгих недель он то и дело повторял:

— Нет, подумайте, что этот татарин сочинил — «палевый луч луны», точнее не придумаешь. Как он мог это найти?

Неоднократно вечером он звал меня к себе, подводил к одному из своих окон и, улыбаясь, говорил: «Поглядите на палевый луч луны», а вместо обычного приветствия каждого гостя встречал Державиным и декламировал: «На темно-голубом эфире/Златая плавала луна...». Гость становился близким другом, если мог продолжить державинский текст!

Как-то во время прогулки Бунин стал подробно рассказывать мне о том, что он ведет дневник, и, чуть смутившись, добавил, что невольно делает это с оглядкой на печать. «Ведь это профессиональная деформация,— добавил он улыбнувшись, но одновременно уверял, что ему, вероятно, было бы стыдно, если бы эти дневники он увидел в печати.— Впрочем, о многом я не мог писать, хотя бы об отношениях с некоторыми женщинами. Ведь об этом нельзя рассказывать. Впрочем, как бы там ни было и что бы с моими дневниками ни случилось, полный их текст никогда не увидит света».

А затем он говорил об «Исповеди» Руссо, о дневниках — «официальных» и тайных — Толстого, уверяя, что высказываться до конца уместно только с целью покаяния. «А вы в состоянии

представить меня в роли кающегося грешника?» Потом вспомнил слова блаженного Августина и уже другим голосом произнес: «Господи, пошли мне целомудрие, только не сейчас...»

— Эта фраза,— продолжал Бунин,— меня всегда умиляла, до чего же она прекрасна. Да ведь и я готов молить Бога о «целомудрии», в более глубоком смысле, чем обычно придают этому понятию, только чтобы оно было мне ниспослано не сейчас, не сразу, а потом, когда-нибудь...

А в другой раз Бунин признавался, что записывать виденное или протокольно отмечать пережитое противно его природе. «Я умею только выдумывать»,— утверждал он и вслед за этим перепрыгнул на Мережковских, иронизируя над ними (это всегда доставляло ему большое удовольствие):

— Вот помрет Зинаида Николаевна, и, если тогда еще будет существовать книгопечатание, издадут ее дневники. В них вдоволь будет рассуждений о всяких встречах и беседах — непременно на «серьезные» темы, при том все будет описываться с ехидством, с подковыркой. Пророчества она любит изрекать «постфактум», да еще серийно. Она сушит затем чернила на свече, чтобы все записи выглядели одинаково, якобы были сделаны в одно время. Ведь почерк у нее знаменитый, за семьдесят лет ни малейшего изменения, никто никогда не разберет, что и когда написано.

Я почти дословно переписываю запись, сделанную мною в ноябре 41-го года:

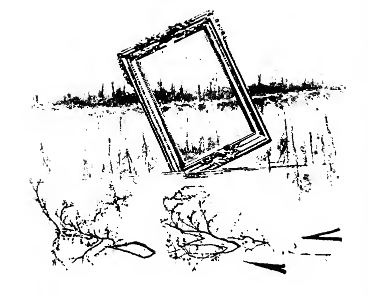
«После долгих разговоров о смерти, теме, к которой он то и дело возвращался с содроганием и отталкиванием, непрестанно о ней думая и начисто отрицая возможность загробной жизни, он поднялся к себе и позвал меня. Всегда гордившийся холеностью своего тела, он теперь был чем-то явно огорчен. «До чего же прекрасная была у меня когда-то правая рука,— сказал он,— левая та никогда не была хороша — и что теперь с ней стало: покрылась гречкой, стала дряблой. Проклятая старость...»

В этот момент я заметил на его письменном столе большой конверт, на котором стояло одно лишь слово «Сжечь». Я невольно улыбнулся, потому что подумал, что он, как водится, хочет сжечь свои черновики и кому-то это дело поручить.

— Вы напрасно улыбаетесь,— промолвил он,— я хочу, чтобы меня после смерти сожгли.

Однако вскоре под влиянием Веры Николаевны он этот конверт уничтожил.

Предисловие и публикация
АЛЕКСЕЯ КАРЕТНИКОВА.



АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА

ДАМА ПИК

А когда покончено с любовью,
Наступает новая беда:
Прозорливость,
матерински вдовья,
Проницательность, уже колдовья,
Прорицания Пифийские года.

И когда любовник свой прощальный
Взор отвел от стынущих плечей,—
Еще гаснет звук музыки бальной,
А уже в обряде
погребальном
Он к ней вновь возносит оный огнь очей.

Это, шаг своей судьбы заслыша,
Германн в карт гадательный удел
Мимо Лизы,
руку тверже, выше —
Даме пик так сладко в сердце дышит
Германна целительный прицел.

1948, Дальний Восток,
сталинский лагерь

СЮИТА ПРИЗРАЧНАЯ

Довоплощенное до своего предела
Граничит с призрачным, как Дантов ад.
Над небывалым зрелищем осиротелых
Жен, матерей ночи тюремный чад

Являет чудо мне Чюрлёниса палитры,
Храп хором Скрябинский зовет оркестр,
Борьба за нары —
барельефы древней битвы,
Во мраморе прославленный маэстр.

А стоны здесь и там таят строфу Гомера,
Иль Феогнида пафосом цветут
Изгибы тела — Ропс. И имена Бодлера
И Тихона Чурилина встают...*

Когда ж, устав от зрелища, о хлебе
Молю — на веки сходит легкий сон,
Я призрачные реки вижу в небе,
Я церкви горней слышу дальний звон...

О, горькой жизни рок!
Между землей и небом
Разомкнуты начала и концы!
Как часто Сон и Явь в часы затменья Феба
Меняют ощупью свои венцы...

1938, Бутырская тюрьма

ГАЛИНА ЧИСТЯКОВА

═

Ночью проснулась и думала
Всё о тебе, о тебе.
Ветром негаданным дунуло
В заиндевелой судьбе.

Южным ли, испепеляющим
Всякую радость дотла?
Северным, предполагающим,
Что моя жизнь протекла?

Западным ли, предлагающим
Тепло-закатную лень?
Или восточным, сверкающим
И продлевающим день?!

*Тихон Чурилин — поэт, издавший в 1916 году книгу стихов «Весна после смерти».

ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ

«Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну...»
Е. БОРАТЫНСКИЙ

═

У меня был поздний звездный час.
А теперь какой? Теперь — полночный.
Полночь, настигающая нас,
не обрыв, а путь к весне несрочной.

Чем темней незримый окоем,
тем светлей воздушные перила
лестницы. Взойдем или сойдем —
лишь бы мама двери отворила.

ТАТЬЯНА ДОБРЫНИНА

═

И снова воцарится полночь
за одинокою стеной.
Ты вазу хрупкую наполнишь
водопроводною водой.
И будет пузырьками хлора,
как чешуей,
хрусталь сверкать,
и где тут фауна, где флора,—
тебе ли за полночь гадать.
Все в небрежении привычном
свои объемлет закрома.
И в чем-то сокровенно-личном
себе признаешься сама.
Сама укроешь ноги пледом
и тишину, как дым, глотнешь...
И на лице полночно-бледном
сама слезами смоешь дрожь.

НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВА

МОСКВИЧКА

Божественно прекрасные глаза...
Фарцовщица. Фанатка. Потаскушка.
На шею бант присел, как стрекоза,
Прямая прядь едва щекочет ушко.

Сосед в метро до лысины взопрел,
Ее духов вдыхая дуновенье.

Летят ресницы, словно стая стрел,
И юбка приоткрыта на колене.

Соперница, соратница моя,
В каких боях взяла ты, как столицу,
Прабабкин говор,
выправку ея
И пиджачок из импортного ситца?

Безумные бушуют времена.
Сердца сковал свободы первый иней.
Ты ж рвешься стать
хоть чьей-нибудь рабыней.

Ты от свободы освобождена.

НИНА ГАБРИЭЛЯН

═

У реки, где, прибрежной травой шелестя,
Бродит полдень, горяч и ленив,
В тростниковую дудочку дует дитя —
И бесхитростный льется мотив.

Как болит свежий срез, как рыдает тростник,
Отлученный от почвы родной!
Он недавно из царства умерших проник,
Как лазутчик, в наш мир голубой.
Души предков из раны сочатся свистя
И сливаются с шорохом трав...
В тростниковую дудочку дует дитя,
К тайне смерти губами припав.

ФИНИКИЙСКАЯ СТАТУЭТКА

Твои волосы стянуты в строгий пучок,
Но в глазах твоих — зной звериный.
Ты такая,
какой тебя вылепил Бог
Из полуденной красной глины.

Археолог в кургане тебя раскопал
Среди мертвых и утвари грубой.
Сколько тысячелетий никто не ласкал
Твои сильные бедра и детские груди.

И веками исхода тебе не найдет
Вожделенье земли воспаленной,
И потрескался полуоткрытый твой рот
В жажде неутоленной.

ИРИНА ВОЛОБУЕВА

КОМНАТА

Есть комната...
Пусть трижды проклят будет
Постыдный, как пустыня, этот кров!
Я не хочу, чтоб в ней селились люди,—
Там до сих пор витает нелюбовь.

Она всю жизнь стоит перед глазами,
И как случилось, как могло так быть,
Что, не любя, тогда давно с цветами
Вошла я в комнату и в ней осталась жить!

Как нелюбовь была мне нестерпима,
Как были стыдны ночи, как страшны,
Когда от рук горячих, нелюбимых
Я жалась, жалась к холоду стены.

А нелюбовь по комнате кружила,
Из всех углов ползла, со всех сторон.
Там даже стулья были, как чужие,
Свет лампы отчужденно напряжен.

А нелюбовь глумилась и пугала,
Ищейкою меня подстерегала,
И я, отчаявшись, трави —
хоть не трави,
Из окруженья нелюбви сбегала,
Сбегала вдруг на поиски любви.

И не найдя, не зная, где согреться,
Той комнате, что стужи холодней,
Ошибками ушибленное сердце
Вновь возвращала, ненавистной, ей.

И все ж сбежала, веря в то, что будет
Все по-иному — розы, соловьи!
...Я не хочу, чтобы селились люди
В тех комнатах, где тени нелюбви.

СВЕТЛАНА СОЛОЖЕНКИНА

«Заблудился я в небе...»
О. МАНДЕЛЬШТАМ

═

На земле, как ссыльный небожитель,
к небу, к небу устремлял он взгляд.
Там не скажут: «Пропуск предъявите!» —
если сзади крылья шелестят.

Там — родные: ангелы и птицы,
звезды не дадут пропасть во мгле...
Невозможно в небе заблудиться,
очень просто сгинуть на земле.

Средь железных — мог ли жить хрустальный,
так, чтоб не разбиться на пути?
...Где-то на Востоке, очень Дальнем,
и могилы даже не найти...

МУЗА

Стихотвореньем больше или меньше,
не в этом суть... А в том, что я жила,
я вглядывалась в лица встречных женщин
и хоть мгновенье — каждою была.

Я вслушивалась в шелесты растений,
и в шорох звезд, и в жалобы ветров...
Ко мне толпою приходили тени,
и я их облекала в плоть и кровь.

Высокое я даровала счастье...
Но, среди мною созданных планет,
ждала я не восторгов, а участья
и тихих слов: «Ты не устала, нет?»

Передо мной вставали на колени,
а рук не догадались мне согреть...
Я не посмела стать обыкновенной.
Я промолчала — чтоб могли вы петь.

РАИСА РОМАНОВА

Взойдет отчаянье, как сумрак,
Войдешь, как в камеру,
домой —
Бормочет выморочный умник,
Домашний бес полунемой.
Твой репродуктор ошалевший
Сквозь брань, похабщину,
позор
К тебе докатит неокрепший
Вечерний звон из давних зорь.

И опалит слезой горючей,
Как спирт зажженный на столе,
Печаль о доле неминучей
На Богом проклятой земле.

Под беспробудным небосводом,
Где опустился жребий мой,
Где есть единая свобода —
Быть горькой, нищей и немой.

ПОЛИНА РОЖНОВА

ПРОСЬКА

Сто тридцать лет
старухе Проське.
Ее сожгли за колдовство.
В колоде волокли по просеке,
прижав осиновым крестом.

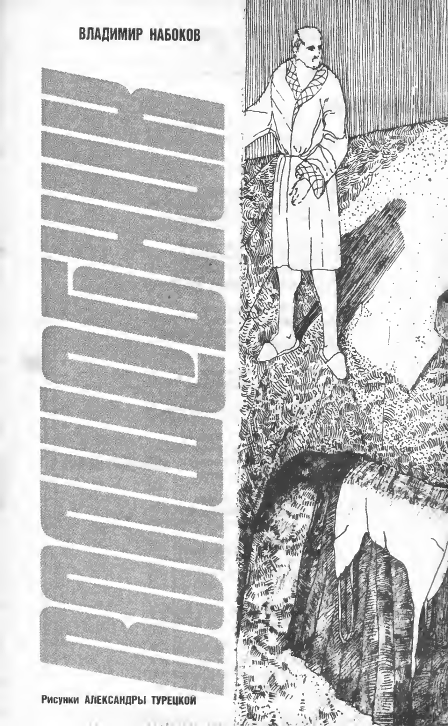
В Артемьев день ее сожгли.
Но, мол, обугленные пальцы,
дрожа, держали колос ржи,
не в силах за жнитво цепляться.

У грязовецких мужиков
такое водится в дому:
застонет серп, закаплет кровь
на оржаного закрому.

И видно из-за городьбы
осиновой — ребенком сноп
качает Проська у груди,
но колдовских не слышно слов.

В Артемьев день в избе ее
печь топится, и хлебный дух
слетает на житье-бытье
молвой осудных молодух.

А то увидят, на стерне
всего тринадцати-то лет
дите с косой до пят
в огне
поет, кричит. И спасу нет.


ВЛАДИМИР НАБОКОВ
ВОЛШЕБНИК
Рисунки АЛЕКСАНДРЫ ТУРЕЦКОЙ



В литературе бывают счастливые находки, которые не просто возвращают читателям то или иное произведение, но, подобно взрыву, освещают все вокруг. Становится понятнее судьба писателя, а через нее — и общее движение литературы.

Роман Владимира Владимировича Набокова (1899—1977) «Лолита» сделал этого русского писателя-эмигранта всемирно известным и состоятельным. Но мало кто знает, что написанной по-английски «Лолите» предшествует русский рассказ Набокова «Волшебник» (1939), где уже разработаны сюжет романа и тончайшая паутина эротических переживаний, способствовавших скандальной славе книги. Этот рассказ — одно из лучших русскоязычных произведений писателя. Он найден в архиве Набокова, опубликован в США по-английски и по-русски и теперь возвращается на родину автора, к его многочисленным читателям и поклонникам.

ВСЕВОЛОД САХАРОВ

Как мне объясниться с собой? — думалось ему, покуда думалось.— Ведь это не блуд. Грубый разврат всеяден; тонкий предполагает пресыщение. Но если и было у меня пять-шесть нормальных романов, что́ бледная случайность их по сравнению с моим единственным пламенем? Так как же? Не математика же восточного сластолюбия: нежность добычи обратно пропорциональна возрасту. О нет, это для меня не степень общего, а нечто совершенно отдельное от общего; не более драгоценное, а бесценное. Что же тогда? Болезнь, преступность? Но совместимы ли с ними совесть и стыд, щепетильность и страх, власть над собой и чувствительность,— ибо и в мыслях допустить не могу, что причиню боль или вызову незабываемое отвращение. Вздор,— я не растлитель. В тех ограничениях, которые ставлю мечтанию, в тех масках, которые придумываю ему, когда, в условиях действительности, воображаю незаметнейший метод удовлетворения страсти, есть спасительная софистика. Я карманный вор, а не взломщик. Хотя, может быть, на круглом острове, с маленькой Пятницей... (не просто безопасность, а права одичания, или это — порочный круг, с пальмой в центре?). Рассудком зная, что евфратский абрикос вреден только в консервах; что грех неотторжим от гражданского быта; что у всех гигиен есть свои гиены; зная, кроме того, что этот самый рассудок не прочь опошлить то, что иначе ему не дается... Сбрасываю и поднимаюсь выше. Что́, если прекрасное именно-то и доступно сквозь тонкую оболочку,

то есть пока она еще не затвердела, не заросла, не утратила аромата и мерцания, через которые проникаешь к дрожащей звезде прекрасного? Ведь даже и в этих пределах я изысканно разборчив: далеко не всякая школьница привлекает меня,— сколько их, на серой утренней улице, плотненьких, жиденьких, в бисере прыщиков или в очках,— *такие* мне столь же интересны в рассуждении любовном, как иному — сырая женщина-друг. Вообще же, независимо от особого чувства, мне хорошо со всякими детьми, по-простому,— знаю, был бы страстным отцом в ходячем образе слова, и вот, до сих пор не могу решить, естественное ли это дополнение или бесовское противоречие. Тут взываю к закону степени, который отверг там, где он был оскорбителен: часто пытался я поймать себя на переходе от одного вида нежности к другому, от простого к особому,— очень хотелось бы знать, вытесняют ли они друг друга, надо ли все-таки разводить их по разным родам, или *то* — редкое цветение *этого* в Ивановой ночь моей темной души, потому что, если их два, значит есть две красоты, и тогда приглашенная эстетика шумно садится между двух стульев (судьба всякого дуализма). Зато обратный путь, от особого к простому, мне немного яснее: первое как бы вычитается в минуту его утоления, и это указывало бы на действительность однородной суммы чувств,— если б была тут действительна применимость арифметических правил. Странно, странно,— и страннее всего, что, быть может, под видом обсуждения диковинки я только стараюсь добиться оправдания вины».

Так приблизительно возилась в нем мысль. По счастью, у него была тонкая, точная и довольно прибыльная профессия, охлаждающая ум, утоляющая осязание, питающая зрение яркой точкой на черном бархате,— тут были и цифры, и цвета, и целые хрустальные системы,— и случалось, что месяцами воображение сидело на цепи, едва цепью позванивая. Кроме того, к сорока годам, довольно намучившись бесплодным самосожжением, он научился тоску регулировать и лицемерно примирился с мыслью, что только счастливейшее стечение обстоятельств, нечаяннейшая сдача судьбы может изредка составить минутное подобие невозможного. Он берег в памяти эти немногие минуты, с печальной благодарностью (все-таки — милость) и печальной усмешкой (все-таки — жизнь обманула). Так, еще в политехнические годы, натаскивая по элементарной геометрии младшую сестру товарища,— сонную, бледненькую, с бархатным взглядом и двумя черными косицами,— он ни разу к ней не притронулся, но одной близости ее шерстяного платья было достаточно для того, чтобы линии начинали дрожать и таять, все передвигалось в другое измерение тайной упругой трусцой,— и снова был твердый стул, лампа, пишущая гимназистка. Остальные удачи были в таком же лаконическом роде: егоза с локоном на глазу, в кожаном кабинете, где он дожидался ее отца,— колотьба в груди,— «а щекотки боишься?»,— или та, другая, с пряничными лопатками, показывающая ему в перечеркнутом углу солнечного двора черный салат, жевавший зеленого кролика. Жалкие, торопливые минуты, с годами ходьбы и сыска между ними, но и за каждую такую он готов был заплатить любую цену (посред-

ниц, впрочем, просил не беспокоиться), и, вспоминая этих редчайших маленьких любовнниц, инкуба так н не заметивших, он поражался своему таинственному неведению об их дальнейшей судьбе; а зато сколько раз на бедном лугу, в грубом автобусе, на прнморском песочке, годном лишь для питания песчаных часов, быстрый, угрюмый выбор ему изменял, мольбы случай не слушал, н отрада глаз обрывалась беспечным поворотом жизни.

Худощавый, сухогубый, со слегка лысеющей головой и внимательными глазамн, вот он сел на скамью в городском парке. Июль отменил облака, н через мнуту он надел шляпу, которую держал в белых тонкопалых руках. Пауза паука, сердечное затншье.

Слева сндела старая, краснолобая брюнетка в трауре, справа — белобрысая женщнна с вялымн волосамн, деятельно занимавшаяся вязанием. Машинально-проверочным взглядом следя за мельканием детей в цветном мареве, думая о другом, о текущей работе, о прнгожей ладности новой обувн, он случайно заметнл около каблука крупную, полуущербленную гравинками, ннкелевую монету. Поднял. Усатая слева ннчего не ответила на его естественный вопрос, бесцветная же сказала:

«Спрячьте. Прииоснт счастье в нечетные днн».

«Почему же только в нечетные?»

«А так говорят у нас, в — ».

Она назвала город, где ее собеседник однажды осматрнвал скульптурную роскошь черной церковки.

«...Мы-то живем по другой стороне речки. Весь склон в плодовых садах,— прекраснво,— и ни пыли, ни шума...»

«Говорлива,— подумал он.— Кажется, придется пересесть».

Но тут-то взвнвается занавес.

Девочка в лиловом, двенадцати лет (определял безошибочно) торопливо и твердо переступая ролнкамн, на гравии не катившимися, приподнимая и опуская их с хрустом, японскими шажкамн прнближалась к его скамье сквозь переменное счастье солнца, н впоследствнн (поскольку это последствие длилось) ему казалось, что тогда же, тотчас, он оценил ее всю, сверху доиизу: ожнвленность рыжевато-русых кудрей, недавно подровненных, светлость большнх, пустоватых глаз, напоминающих чем-то полупрозрачный крыжовннк, веселый, теплый цвет лица, розовый рот, чуть приоткрытый, так что чуть опирались два крупных передних зуба о прнпухлость ннжней губы, летнюю окраску оголенных рук с гладкнми лисьими волосками вдоль по предплечью, неточную нежность еще узкой, уже несовсем плоской груди, передвнженье юбочных складок, их короткий размах и мягкое впаданне, стройность н жар равнодушных ног, грубые ремни ролнков.

Она остановилась перед его общнтельной соседкой, которая отвернувшись, чтобы покопаться в чем-то лежавшем справа, достала н протянула девочке кусок хлеба с шоколадом. Та, проворно жуя, свободной рукой отцепила ремнн, всю эту тяжесть, стальные подошвы на цельных колеснках,— и сойдя к нам на землю, выпрямившнсь, с мгновенным ощущением небеснон босоты, не сразу принявшей форму туфель, устремн-

лась прочь, то сдерживаясь, то опять раскидывая ступни,— и наконец (вероятно, справившись с хлебом) пустилась во всю, плеча освобожденными руками, мелькая, мелькая, смешиваясь с родственной ей игрой света под лилово-зелеными деревьями.

«А дочка у вас,— заметил он бессмысленно,— уже большая». «О, нет, она мне ничем не приходится,— сказала вязальщица,— у меня своих нет,— и не жалею».

Старая в трауре зарыдала и ушла. Вязальщица посмотрела ей вслед и продолжала быстро работать, изредка подправляя молниеносным жестом спадающий хвост шерстяного зародыша. Стоило ли продолжать разговор? У ножки скамьи блестели запятки катков, желтые ремни зияли. Зияние жизни, отчаяние, притом составное, с ближайшим участием всех уже бывших отчаяний, с надбавкой новой, особой громады — нет, оставаться нельзя. Он приподнял шляпу («до свидания», ответила вязальщица дружелюбно) и пошел через сквер. Вопреки чувству самосохранения, тайный ветер относил его в сторону, линия его пути, задуманная в виде прямого пересечения, отклонялась вправо, к деревьям, и хотя он по опыту знал, что еще один кинутый взгляд только обострит безнадежную жажду, он совсем повернул в переливающуюся тень, исподлобья выискивая фиолетовый блик среди инакоцветных. На асфальтовой аллейке все рокотало от роликов, а у края панели шла частная игра в классы,— и в ожидании своей очереди, отставя ногу, скрестив горящие руки на груди, наклонив мреющую голову, вея страшным каштановым жаром, теряя, теряя лиловое, истлевающее под страшным, неведомым ей взглядом... но еще никогда придаточное предложение его страшной жизни не дополнялось главным, и он прошел, стиснув зубы, ахая про себя и стеная, а затем мельком улыбнулся малышу, который вбежал ему в ножиицы ног. «Улыбка рассеянности,— подумал он жалко,— но все-таки ведь рассеянным бывает только человек».

На рассвете, опустив плавник, отложив снулую книгу, он вдруг набросился на себя,— почему, дескать, поддался скуке отчаяния, почему не попробовал полностью разговориться, а там и подружиться с этой вязальщицей, шоколадницей, полу-гуверванткой,— и он вообразил жовиального господина (пока что лишь внутренними органами похожего на него), который таким способом нажил бы возможность — все так же жовиально — на колени к себе забирать эхтышалунью. Он знал, что, хотя нелюдим, а находчив, упорчив, умеет понравиться,— в других отраслях жизни ему не раз приходилось выдумывать себе тон или цепко хлопотать, не смущаясь тем, что непосредственный предмет хлопот в лучшем случае находится лишь в косвенном отношении к отдаленной цели. Но когда цель ослепляет, и душит, и сушит гортань, когда здоровый стыд и хилая трусливость сторожат каждый шаг.

Она гремела по асфальту среди других, сильно наклоняясь вперед и в ритм качая опущенными руками, промахивала с уверенной быстротой, ловко поворачиваясь, так что перехлест юбки обнажал ляжку, а затем платье прилипало сзади до обозначения выемки, пока с едва заметным вилянием икр она тихо катилась

обратным ходом. Вожделением ли было то мучительное чувство, с которым он ее поглощал глазами, любуясь ее разгоряченным лицом, собранностью и совершенством всех ее движений (особенно когда, едва успев оцепенеть, она вновь разбегалась, стремительно сгибая крупные колени),— или это была мука, всегда сопровождающая безнадежную жажду добиться чего-то от красоты, задержать ее, что-то с ней сделать,— все равно что, но только бы войти с ней в такое соприкосновение, которое как-нибудь, все равно как, жажду бы утолило? Что гадать,— вот, разбежится еще раз и сгинет, а завтра мелькнет другая, и жизнь так пройдет: вереницей исчезновений.

Ой ли. Он увидел на той же скамье ту же вязальщицу и, чувствуя, что, вместо улыбки джентльменского привета, осклабился и показал из-под синей губы клык, сел. Стеснение и дрожь в руках длились недолго. Наладился разговор, в самом ведении которого он нашел странную приятность; тяжесть в груди растаяла, ему стало почти весело. Она явилась, хляпая роликами, как вчера. Ее светлые глаза задержались на нем, хотя не он говорил, а вязальщица, и приняв его, она бездумно отвернулась. Теперь она сидела с ним рядом, держась за край сиденья розоватыми, с острыми костяшками, руками, на которых двигалась то жилка, то глубокая лунка у запястья, между тем как сжатые плечи не шевелились, а растущие зрачки провожали чей-то бегущий по гравию мяч. Как вчера, соседка передала ей — мимо него — тартинку, и она слегка застучала рубцеватыми коленками, принимаясь за еду.

«...Здоровее, конечно; а главное — прекрасная гимназия»,— говорил далекий голос, как вдруг он заметил, что русокудрая голова слева безмолвно и низко наклонилась над его рукой.

«Вы потеряли стрелки»,— сказала девочка.

«Нет,— ответил он, кашлянув,— это так устроено. Редкость».

Она левой рукой наперекрест (в правой торчала тартинка) задержала его кисть, рассматривая пустой, без центра, циферблат, под который стрелки были пущены снизу, выходя на свет только самыми остриями — в виде двух черных капель среди серебристых цифр. Сморщенный листок дрожал у нее в волосах, у самой шеи, над нежным горбом позвоночника,— и в течение ближайшей бессонницы он призрак листка все снимал, брал и снимал, двумя, тремя, потом всеми пальцами.

На другой день и в следующие он сидел там опять, по-любительски, но вполне сносно играя одинокого чудака: привычный часок, привычное место. Появления девочки, ее дыхание, ноги, волосы, все, что она делала,— чесала ли она голень, оставляя белые черты, бросала ли высоко в воздух черный мячик, касалась ли голым локтем, присаживаясь на скамейку,— отзывалось в нем (на вид поглощенным приятной беседой) невыносимым ощущением кровной, кожной, многососудной соединенности с ней, словно в ней пульсирующим пунктиром продолжалась чудовищная биссектриса, выкачивавшая из его глубины весь сок, или словно эта девочка из него вырастала, каждым беспечным движением дергая и будоража свои живые корни, находящиеся в недрах его естества, так что, когда она внезапно

меняла позу или кидалась прочь, это было как рывок, как варварская хватка, как мгновенная потеря равновесия: вдруг едешь в пыли на спине, стукаясь теменем,— к повешению на изворот. А между тем, он спокойно сидел и слушал, и улыбался, и покачивал головой, и подтягивал на колене штанину, и тростью слегка ковырял гравий, и говорил: «Вот как?», или «Да, знаете, бывает...» — но понимал слова собеседницы только тогда, когда девочки не было вблизи. Он узнал от этой вдумчивой болтуньи, что с матерью девочки, сорокадвухлетней вдовой, она связана пятилетней симпатией,— покойный спас честь ее мужа; что весной сего года эта вдова, долго перед тем болевшая, подверглась тяжелой операции кишечника; что, давно потеряв всех родных, она крепко ухватилась за дружеское предложение доброй четы: тогда же девочка переселилась к ним в провинцию, теперь привезли ее мать навестить, благо у мужа есть кляузное дельце в столице, но скоро пора возвращаться,— чем скорее, тем лучше, так как присутствие дочки только раздражает редко порядочную, но несколько распустившуюся вдову.

«Слушайте, вы мне, кажется, говорили, что она распродает какую-то мебель?»

Этот вопрос (с продолжением) он составил ночью, задал вполголоса тикающей тишине и, убедившись в его звуковой натуральности, повторил его на другой день своей новой знакомой. Она ответила утвердительно и без обиняков пояснила, что было бы неплохо, кабы та заработала, лечение стоило и будет стоить дорого, денег у больной в обрез, за содержание дочки непременно хотела платить, но делает это неаккуратно,— а мы люди небогатые,— словом, долг чести считался, видимо, уже погашенным. 137

«Дело в том,— продолжал он без запинки,— что мне как раз не хватает кое-чего в смысле обстановки. Полагаете ли вы, что будет и удобно и прилично, если я,— конца фразы он не помнил, но досочинил ее весьма ловко, уже свыкшись с вычурным стилем еще не совсем понятного многокольчатого сна, с которым он так смутно, но так плотно сплелся, что, например, не знал, чье это, что это, часть собственной ноги или часть спрута.

Она явно обрадовалась и предложила повести его туда хоть сейчас,— квартира вдовы, где стояла и она с мужем, была неподалеку, за мостом электрической дороги.

Двинулись. Девочка шла впереди, сильно раскачивая холщовый мешок на шнуре, и уже все в ней было его глазам страшно, неутолимо знакомо,— и выгиб узкой спины, и упругость двух кругленьких мышц пониже, и то, как именно натягивались клетки платья (второго, коричневого), когда она поднимала руку, и тонкость щиколоток, и довольно высокие каблучки. Немножко замкнутая, пожалуй,— живая скорее в движениях, чем в разговоре, не застенчивая, но и не бойкая, с подводной душой, кажется, но в светлой влаге, опаловая на поверхности и прозрачная на глубине, любящая сладости, щенят, невинный монтаж киножурналов,— и у таких, теплокожих, с рыжинкой, с раскрытыми губами, рано бывает первая уборка,— в общем игра, кукольная кухня... И не очень счастливое детство, полусиротское,— эта твердая женщина добра добротой горького шоколада,

а не молочного, ласки в доме не держат, порядок, признаки утомления, дружеская услуга обернулась обузой... И за это за все, за жар щек, за двенадцать пар тонких ребер, за пушок вдоль спины, за дымок души, за глуховатый голос, за ролики и за серый денек, за то неизвестное, что сейчас подумала, неизвестно на что посмотревши с моста... Мешок рубинов, ведро крови,— все, что угодно...

У дома они встретили небритого мужчину с портфелем,— столь же разбитного и серого, как его жена,— так что громко вошли вчетвером. Он ожидал, что увидит изможденную больную в креслах, но вместо этого к нему вышла рослая, бледная, широкобокая дама, с безволосой бородавкой у ноздри круглого носа,— одно из тех лиц, в описании коих ничего нельзя сказать о губах или глазах, потому что всякое о них упоминание — даже такое! — невольно противоречит их совершенной неприметности. Узнав, что это покупатель, она сразу повела его в столовую, объясняя на тихом и слегка накрененном ходу, что ей четырех комнат много, что она зимой переедет в две и рада была бы отделаться от этого раздвижного стола, лишних стульев, того дивана в гостиной (когда дослужит ложем для ее друзей), большой этажерки и шкапчика. Он выразил желание ознакомиться с последним из этих предметов, оказавшимся в комнате, занимаемой девочкой, которую они застали валяющейся на кровати и глядящей в потолок,— поднятые колени, охваченные вытянутыми руками, сообща качались,— «Слезь с постели, что это!» — и поспешно затмив нежность кожи с исподу и клинышек тесных штанишек, она скатилась, а чего только я бы ей не разрешил... Он сказал, что шкапчик покупает,— за право входа в дом плата была смехотворная,— и вероятно еще кое-что,— но надо сообразить,— если разрешите, я на днях опять загляну и потом уже пришлю за всем сразу, вот вам, между прочим, моя визитная карточка. Провожая его, она без улыбки (улыбалась, по-видимому, редко), но вполне приветливо, упомянула о том, что приятельница и дочка уже ей про него говорили, и что муж приятельницы даже немножко ревнует,— «Ну, положим! — сказал тот, выходя в переднюю,— я мою благоверную рад бы сбыть всякому»,— «А ты не зарекайся,— сказала жена, появляясь из той же комнаты,— когда-нибудь можешь заплакать!».

«Итак, милости просим,— повторила вдова,— я всегда дома, и может быть вас заинтересует лампа или коллекция трубок, это все отличные вещи,— жалковато с ними расставаться, но ничего не поделаешь».

«А что дальше?» — раздумывал он, возвращаясь к себе. До сих пор он действовал ощупью, едва соображая, следуя слепому побуждению, как шахматный игрок, пробирающийся и напирающий туда, где у противника что-то смутно висит или связано. Но дальше? Послезавтра мою душеньку увезут,— значит, прямая выгода от знакомства с матушкой сейчас исключается,— но она приедет опять, и может быть, совсем останется, а к этому времени я буду желанным гостем,— но если та не проживет и года (как намекают), тогда все насмарку,— вид у нее, правда, не слишком дохлый, но если все-таки сляжет и умрет, тогда

обстаиовка и условия жовиальных возможностей вдруг распадутся, тогда коичено,— где разыщу, под каким видом..? А все-таки чуствовалось: так нужно, и лучше ие соображать, а продолжать давить иа слабый угол, и потому иа другой деиь ои отправился в парк с красивой коробочкой глазироваиных каштаиов и фиалок в сахаре, девочке иа дорогу,— рассудок ему твердил, что это лубок, глупость, что сейчас-то как раз и опасно ее отличать откровеииым виимаиием, даже со стороиы свободиого чудака, тем более что до сих пор ои — совершеиио правильно — едва ее замечал (в скрываиии молиий был мастер),— вот гиилые старички, те — точио, всегда иосят при себе карамель для замаииваиия девчонок,— а все-таки ои семеиил с подарком, слушаясь тайиого побуждеиия, которое было талаитливее рассудка.

Ои целый час просидел иа скамейке, оии ие пришли. Зиачит, уехали дием раньше. И хотя лишияя одна встреча с ией ие могла бы иикак облегчить образовавшееся за эту неделю совсем особое бремя, ои испытал жгучую досаду, как если бы стал жертвой измеиы.

Продолжая ие слушаться рассудка, говорившего, что ои опять делает ие то, ои поиесся к вдове и купил лампу. Видя, как ои страино запыхался, оиа пригласила его сесть и предложила папиросу. В поисках зажигалки он иаткнулся иа продолговатую коробку и сказал, как человек в книге:

«Это, быть может, вам покажется страиностью, мы так недавио зиакомы, ио все-таки позвольте презентовать вам этот пустяк,— иемиожко конфет, кажется неплохих,— ваше согласие мие доставит большое удовольствие».

Она впервые улыбнулась,— была видимо более польщеиа, чем удивлеиа,— и объяснила, что все лакомства в жизни ей запрещеиы,— передаст дочке.

«Как! Я думал, что они сегодня —»

«Нет, завтра утром,— продолжала вдова, не без грусти трогая золотую перевязь.— Сегодия моя приятельница, которая страшно ее балует, повела ее иа выставку рукоделий»,— и вздохнув, оиа осторожио, как иечто бьющееся, отложила подарок на соседиий столик,— а пресимпатичиый гость спрашивал, что ей можио, чего иельзя, и слушал эпопею ее болезии, ссылаясь на вариаиты и весьма умио толкуя поздиейшие искажеиия текста.

При третьем посещеиии (пришел предупредить, что перевозчик заедет ие раиьше пятиицы) он пил у иее чай и в свою очередь рассказывал о себе, о своей чистой, изящиой профессии. У иих оказался общий зиакомый: брат адвоката, скоичавшегося в том же году, что ее муж. Рассудительио, без ложных сожалеиий, поговорила об этом муже,— про которого ои уже зиал коечто: был веселым малым, зиатоком иотариальиых дел, с женой ладил, ио старался как можио реже бывать дома.

В четверг ои купил диваи и два стула, а в субботу зашел за ией, как было условлеио, чтоб тихонько погулять в парке; но она скверио себя чувствовала, лежала с грелкой в постели, певуче говорила с иим через дверь, и ои попросил угрюмую старуху, периодически появлявшуюся в доме, для стряпии и ухода, сообщить ему по такому-то иомеру, как больиая провела ночь.

Так прошло еще несколько деятельных недель,— журчания, вникания, улещевания, интенсивной обработки чужого плавкого одиночества. Теперь он двигался к определенной цели, ибо еще тогда, суя ей конфеты, вдруг понял, какую околицу молчаливо указывал ему странный перст без ногтя (эскиз на заборе), и в чем именно кроется настоящая, ослепительная возможность. Путь был неувлекательный, но и нетрудный, и достаточно было увидеть непонятно-небрежно брошенное еженедельное письмецо к матери с еще неустойчивым, по-жеребячьи расползающимся почерком, чтобы справиться с любого рода сомнением. Стороной он знал, что она собрала о нем справки, которыми не могла не остаться довольна: чего стоил хотя бы корректный банковский счет. По тому же, с каким религиозным понижением голоса она ему показывала старые твердые фотографии, где в разных, более или менее выгодных позах, была снята девушка в ботинках, с круглым, приятным лицом, полненьким бюстом и зачесанными со лба волосами (а также свадебные, где неизменно присутствовал жених, весело удивленный, со странно знакомым разрезом глаз), он догадывался, что она тайком обращалась к бледному зеркалу прошлого, чтобы выяснить, чем же могла *теперь* заслужить мужское внимание,— и должно быть решила, что зоркому зрению, оценщику граней и игры, все виды следы ее былой миловидности (ею, впрочем, преувеличенной) и станут еще виднеи после этих обратных смотрин. Чашке чаю, наливаемой ему, она придавала деликатную индивидуальность; в подробнейшие рассказы о своих разнородных недомоганиях ухитрялась вносить столько романтизма, что подмывало спросить что-нибудь грубое; и подчас будто задумывалась, догоняя запоздалым вопросом его крадущуюся речь. Ему было и жалко ее и противно, но понимая, что материал, помимо своего назначения, просто не существует, он упрямо продолжал работу, которая сама по себе требовала такой пристальности, что физический облик этой женщины растворился, пропал (если бы встретил ее на улице в другом квартале, не узнал бы) и по отсутствию был кое-как замещен формальными чертами отвлеченной невесты на примелькавшихся снимках (так что все-таки она не ошиблась в своем бедном расчете). Работа спорилась,— и когда в конце осени, дождливым вечером, она безучастно, без единого женского совета, выслушала его неопределенные жалобы на томление холостяка, с завистью глядящего на фрак и дымку чужого венчания и невольно думающего об одинокой могиле в конце одинокого пути, он убедился, что можно звать упаковщиков,— но пока что вздохнул и переменил течение разговора, а через день каково было ее удивление, когда их молчаливое чаепитие (он раза два подходил к окну словно в каком-то раздумье) было прервано могучим звонком мебельного перевозчика, и вернулись домой два стула, диван, лампа, шкапчик: так решающий задачу сперва отводит иное число, чтоб было сподручнее с нею справиться, и затем возвращает его в лоно решения.

«Вы непонятливы. Это просто значит, что у супругов имущество общее. Другими словами, я предлагаю вам содержимое манжеты и живой туз червей».

Тут же около ходили два мужика, вносивших вещи, и она целомудренно отступила в другую комнату.

«Знаете что,— сказала она,— пойдите и хорошенько выспитесь».

Он, посмеявшись, хотел взять ее руку в свои, но она заложила ее за спину и упрямо повторяла, что все это вздор.

«Хорошо,— ответил он, вынув горсть монет и отсчитывая на ладони чаевые.— Хорошо, я удалюсь, но в случае вашего согласия извольте мне дать знать, а иначе можете не беспокоиться,— от моего присутствия я вас избавлю навеки».

«Обождите. Пускай они сначала уйдут. Вы избираете странные минуты для таких разговоров».

«Теперь сядем и потолкуем,— через минуту заговорила она, тяжело и смиренно присев на вернувшийся диван (а он, с нею рядом, в профиль, подложив под себя ногу и держа себя сбоку за шнурок башмака).— Прежде всего... Прежде всего, мой друг, я, как вы знаете, больная, тяжело больная женщина; вот уже года два, как жить значит для меня лечиться; операция, которую я перенесла двадцать пятого апреля, по всей вероятности предпоследняя, иначе говоря, в следующий раз меня из больницы повезут на кладбище. Ах, нет, не отмахивайтесь... Предположим даже, что я протяну еще несколько лет,— что может измениться? Я до гроба приговорена ко всем мукам адовой диеты, и единственное, что занимает меня, это мой желудок, мои нервы; характер мой безнадежно испорчен: когда-то была хохотушкой... но впрочем всегда относилась требовательно к людям,— а теперь я требовательна ко всему, к вещам, к соседской собаке, ко всякой минуте существования, которая не так служит мне, как хочу. Вам известно... я была семь лет замужем,— особого счастья не запомнилось; я дурная мать, но сама с этим примирилась, твердо зная, что мою смерть только ускорит близость шумной девчонки,— причем глупо, болезненно завидую ее мускулистым ножкам, румянцу, пищеварению. Я бедна: одну половину моей ренты съедает болезнь, другую — долги. Даже если и допустить, что *вы* по характеру, по чуткости... ну, словом, по разным чертам, в мужья *мне* годитесь,— видите, я делаю ударение на «мне»,— то каково будет вам с такой женой? Душой-то я, может быть, и молода, ну и внешностью еще не вовсе монстр, но не наскучит ли вам возиться с привередницей, никогда-никогда ей не перечить, соблюдать *ее* привычки, *ее* причуды, *ее* посты и правила, а все ради чего? — ради того, чтобы, может быть, через полгода остаться вдовцом с чужим ребенком на руках!»

«Посему заключаю,— сказал он,— что мое предложение принято».

И он вытряхнул на ладонь из замшевого мешочка чудный неотшлифованный камешек, как бы освещенный снутри розовым огнем сквозь винную синеватость.

Она приехала за два дня до свадьбы, с пламенными щеками, в незастегнутом синем пальто с болтающимися сзади концами пояска, в шерстяных носках почти до колен, в берете на мокрых кудрях. Стоило, стоило, стоило,— повторял он мысленно, держа ее холодную красную ручку и с улыбкой морщась от воплей ее

неизбежной спутницы: «Это я жениха нашла, это я жениха привела, жених — мой» (и вот, с ухватками орудийной прислуги попыталась закружить неповоротливую невесту). Стоило, да, сколько бы времени ни пришлось тащить сквозь невылазный брак эту махину,— стоило, переживи она всех, стоило, ради естественности его присутствия здесь и ласковых прав будущего отчима.

Но правами этими он еще не умел пользоваться,— отчасти с непривычки, отчасти от опасливого ожидания, неимоверно большей свободы, главное же потому, что ему никак не удавалось побыть с этой девочкой наедине. Правда, с разрешения матери, он повел ее в ближнюю кофейню, и сидел, и смотрел, опираясь на трость, как она въедается в абрикосовый край плетеного пирожного, поддаваясь вперед, выпячивая нижнюю губу, дабы подхватить липкие листики, и старался ее смешить, говорить с ней так, как умел говорить с детьми обыкновенными, но все тормозила поперек лежавшая мысль, что будь помещение безлюднее да уголковатее, он без особого предлога слегка потискал бы ее, не боясь чужих взглядов, более прозорливых, чем ее доверчивая чистота. Ведя ее домой, не поспевая за ней на лестнице, он мучился не только чувством упущенного; он мучился еще тем, что, пока хоть раз не сделал того-то и того-то, не может положиться на обещание судьбы в невинных речах, в тонких оттенках ее детской толковости и молчания (когда из-под внимающей губы зубы нежно опирались на задумчивую), в медленном образовании ямок при старых шутках, поражающих
142 новизной, в чуемых излучинах ее подземных ручьев (без них не было бы этих глаз). Пусть, в будущем, свобода действий, свобода особого и его повторений, все осветит и согласует; пока, сейчас, сегодня, опечатка желания искажала смысл любви; оно служило, это темное место, как бы помехой, которую надо было как можно скорее раздавить, стереть,— любым подлогом наслаждения,— чтобы в награду получить возможность смеяться вместе с ребенком, понявшим наконец шутку, бескорыстно печься о нем, волну отцовства совмещать с волной влюбленности. Да, подлог, утайка, боязнь легчайшего подозрения, жалоб, доноса невинности (знаешь, мама, когда никого нет, он непременно начинает ласкаться), необходимость быть настороже, чтобы не попасться случайному охотнику в этих густо населенных долинах,— вот что сейчас мучило, и вот чего не будет в заповеднике, на свободе,— «но когда, когда?» — в отчаянии думал он, расхаживая по своим тихим, привычным комнатам. На другое утро он сопровождал свою страшную невесту в какое-то присутственное место, оттуда она собралась к врачу, которому, по-видимому, хотела задать кое-какие щекотливые вопросы, ибо велела жениху отправиться к ней на квартиру и там ее ждать через час к обеду. Отчаяние ночи забылось. Он знал, что приятельница тоже в бегах (муж вообще не приехал),— и предвкушение того, что он девочку застанет одну, кокаином таяло у него в чреслах. Но когда он домчался, то нашел ее болтающей с уборщицей в розе сквозняков. Он взял газету от тридцать второго числа и, не видя строк, долго сидел в уже отработанной гостиной и слушал оживленный

за стеной разговор в промежутках пылесосного воя, и посматривал на эмаль часов, убивая уборщицу, отсылая труп на Борнео, а тем временем он различил третий голос и вспомнил, что еще есть старуха на кухне, ему будто послышалось, что девочку посылали в лавку. Потом пылесос отсопел и был выключен, где-то стукнули оконные рамы, уличный шум замолк. Выждав еще с минуту, он встал, и, вполголоса напевая, с бегающими глазами, стал обходить притихшую квартиру. Нет, никуда не послали,— стояла у окна в своей комнате и смотрела на улицу, приложив ладони к стеклу; оглянулась и быстро сказала, тряхнув волосами и уже опять принимаясь наблюдать: «Смотрите: столкновение!» Он подступал, подступал, затылком чувствуя, что дверь сама затворилась, подступал к ее гибко вдавленной спине, к сборкам у талии, к ромбовидным клеткам уже за сажень ощутимой материи, к плотным голубым жилкам над уровнем получулок, к лоснящейся от бокового света белизне шеи около коричневых кудрей, которыми она опять сильно тряхнула: семь восьмых привычки, осьмушка кокетства. «Ага, столкновение, злоключение...»,— бормотал он, как бы глядя в пустое окно поверх ее темени, но лишь видя перхотинки в шелку завоя. «Красный виноват!» — воскликнула она убежденно. «Ага, красный... подайте сюда красного...»,— продолжал он бессвязно, и, стоя за ней, обмирая, скрадывая последний дюйм тающего расстояния, он взял ее сзади за руки и принялся их бессмысленно раздвигать, подтягивать, и она только чуть вертела косточкой правой кисти, машинально стремясь указать ему на виноватого. «Постой,— сказал он хрипло,— придвинь локти к бокам, посмотрим, могу ли, могу ли тебя приподнять». В это время стукнуло в прихожей, раздался зловещий макинтошный шорох, и он с неловкой внезапностью отошел от нее, засовывая руки в карманы, покашливая, рыча, начиная громко говорить «...наконец-то! Мы тут голодаем...» — и, когда садились за стол, у него все еще ныла неудовлетворенная тоскливая слабость в икрах. 143

После обеда пришло несколько кофейниц,— и под вечер, когда гости схлынули, а приятельница деликатно ушла в кинематограф, хозяйка в изнеможении вытянулась на кушетке.

«Уходите, друг мой, домой,— проговорила она, не поднимая век.— У вас, должно быть, дела, ничего, верно, не уложено, а я хочу лечь, иначе завтра ни на что не буду годиться».

Он клюнул ее в холодный, как творог, лоб, коротким мычанием симулируя нежность, и затем сказал:

«Между прочим... я все думаю: жалко девчонку! Предлагаю все-таки оставить ее тут,— что ей в самом деле продолжать обретаться у чужих,— ведь это даже нелепо,— теперь-то, когда снова образовалась семья. Подумайте-ка хорошенько, дорогая».

«И все-таки я отправлю ее завтра»,— протянула она слабым голосом, не раскрывая глаз.

«Но поймите,— продолжал он тише,— ибо ужинавшая на кухне девочка кажется кончила и где-то теплилась поблизости; — поймите, что я хочу сказать: отлично,— мы им все заплатили и даже переплатили, но вероятно ли, что ей там от этого станет уютнее? Сомневаюсь. Прекрасная гимназия, вы

скажете (она молчала), но еще лучшая найдется и здесь, не говоря о том, что я вообще всегда стоял и стою за домашние уроки. А главное... видите ли, у людей может создаться впечатление,— ведь один намечек в этом роде уже был нынче,— что, несмотря на изменившееся положение, т. е. когда у вас есть моя всяческая поддержка и можно взять бо́льшую квартиру,— совсем отгородиться и так далее,— мать и отчим все-таки не прочь забросить девчонку».

Она молчала.

«Делайте, конечно, как хотите»,— проговорил он нервно, испуганный ее молчанием (зашел слишком далеко!).

«Я вам уже говорила,— протянула она, с той же дурацкой страдальческой тихостью,— что для меня главное мой покой. Если он будет нарушен, я умру... Вот, она там шаркнула или стукнула чем-то, негромко, правда? — а у меня уже судорога, в глазах рябит,— а дитя не может не стучать, и если будет двадцать пять комнат, то будет стук во всех двадцати пяти. Вот, значит, и выбирайте между мною и ею».

«Что вы, что вы! — воскликнул он с паническим заскоком в гортани.— Какой там выбор... Бог с вами! Я это только так,— теоретические соображения. Вы правы. Тем более, что я сам ценю тишину. Да! Стою за статус кво,— а кругом пускай квакают. Вы правы, дорогая. Конечно, я не говорю. Может быть, впоследствии, может быть, там весной... Если вы будете совсем здоровы...»

144 «Я никогда не буду совсем здорова»,— тихо ответила она, приподнимаясь и со скрипом переваливаясь на бок, после чего подперла кулаком щеку, и, качая головой, глядя в сторону, повторила эту фразу.

И на следующий день, после гражданской церемонии и в меру праздничного обеда, девочка уехала, дважды при всех коснувшись его бритой щеки, медленными свежими губами: раз — поздравительно, над бокалом, и раз — на прощание, в дверях. Затем он перевез свои чемоданы и долго раскладывался в бывшей ее комнате, где в нижнем ящике нашел какую-то ее тряпочку, больше сказавшую ему, чем те два неполных поцелуя.

Судя по тому, каким тоном его особа (называть ее женой было невозможно) подчеркнула, насколько вообще удобнее спать в разных комнатах (он не спорил), и как, в частности, она привыкла спать одна (пропустил), он не мог не заключить, что в ближайшую же ночь от него ожидается первое нарушение этой привычки.

По мере того, как сгущалась за окном темнота и становилось все глупее сидеть рядом с ее кушеткой в гостиной и молча пожимать или подносить и прилаживать к своей напряженной скуле ее угрожающе покорную руку в сизых веснушках по глянцевитому тылу, он все яснее понимал, что срок платежа подошел, что теперь уже неотвратимо то самое, наступление чего он конечно давно предвидел, но — так, не вдумываясь, придет время как-нибудь справлюсь,— а время уже стучалось, и было совершенно очевидно, что ему (маленькому Гулливеру) физически невозможно приступить к этому ширококостному

многостремнинному, в громоздком бархате, с бесформенными лодыгами и ужасной косинкой в строении тяжелого таза,— не говоря о кислой духоте увядшей кожи и еще неизвестных чудесах хирургии,— тут воображение повисало на колючей проволоке.

Еще за обедом, отказываясь, словно нерешительно, от второго бокала и, словно уступая соблазну, он на всякий случай ей объяснил, что в минуты подъема подвержен различным угловым болям, так что теперь он постепенно стал отпускать ее руку и, довольно грубо изображая дергание в виске, сказал, что выйдет проветриться,— «понимаете,— добавил он, заметив, с каким странным вниманием (или это мне кажется?) уставились на него ее два глаза и бородавка,— понимаете, счастье мне так ново... ваша близость... эх, никогда ведь не смел мечтать о такой супруге...»

«Только не надолго. Я ложусь рано... и не люблю, чтоб меня будили»,— ответила она, распустив свежегофрированную прическу и ногтем постукивая по верхней пуговице его жилета; потом слегка его оттолкнула, и он понял, что приглашение неотклонимо.

Теперь он бродил в дрожащей нищете ноябрьской ночи, в тумане улиц, с потопа впавших в состояние мороси, и, стараясь отвлечься, принуждал себя думать о счетах, о призмах, о своей профессии, искусственно увеличивал ее значение в своем существовании,— и все расплывалось в слякоти, в ознобе ночи, в агонии изогнутых огней. Но именно потому, что сейчас не могло быть и речи о каком-либо счастье, прояснилось вдруг что-то другое: он с точностью измерил пройденный путь, оценил всю непрочность, всю призрачность проектов, все это тихое помешательство, очевидную ошибку наваждения, которое отступило от своего единственно законного естества, свободного и действительного только в цветущем урочище воображения, чтобы с жалкой серьезностью лунатика, калеки, тупого ребенка (ведь сейчас одернут и взгреют), заниматься планами и действиями, подлежащими компетенции лишь взрослой вещественной жизни. А еще можно было выкрутиться! Вот сейчас бежать — и скорее письмо к особе с изложением того, что сожительство для него невозможно (любые причины), что только из чудаковатого сострадания (развить) он взялся ее содержать, а теперь, узаконив сие навсегда (точнее), удаляется опять в свою сказочную неизвестность. «А между тем,— продолжал он мысленно, полагая, что все еще следует тому же порядку трезвых соображений (и не замечая, что изгнанная босоножка вернулась с черного хода), как было бы просто, если бы матушка завтра умерла,— да ведь, нет, ей не к спеху,— вцепилась зубами в жизнь, будет виснуть,— а какой мне в том прок, что умрет с запозданием, и приедет ее хоронить шестнадцатилетняя недотрога или двадцатилетняя незнакомка? Как было бы просто (размышлял он, задержавшись, весьма кстати, у освещенной витрины аптеки), коли был бы яд под рукой... Да много ли нужно, когда для нее чашка шоколада равносильна стрихнину! Но отравитель оставляет в спущенном лифте свой пепел... а ее непременно ведь вскроют, по привычке

вскрывать»; и хотя рассудок и совесть наперебой твердили (немножко подзадоривая), что — все равно, даже если бы нашлось незаметное зелье, он не решился бы на убийство (разве что если совсем, совсем бесследное, да и то — в крайнем случае, да и то — лишь с целью сократить страдания все равно обреченной *жены*), он давал волю теоретическому развитию невозможной мысли, наталкиваясь рассеянным взглядом на идеально упакованные флаконы, на модель печени, на паноптикум мыл, на взаимную дивнокоралловую улыбку женской головки и мужской, благодарно глядящих друг на дружку,— потом прищурился, кашлянул,— и после минутного колебания быстро вошел в аптеку.

Когда он вернулся домой, в квартире было темно,— шмыгнула надежда, что она уже спит, но увы, дверь ее спальни была по линейке подчеркнута остро отточенным светом.

«Шарлатаны...— подумал он, мрачно пожимаясь,— что ж, придется держаться первоначальной версии. Пожелаю покойнице ночи,— и на боковую». (А завтра? А послезавтра? А вообще?)

Но посреди прощальных речей о мигрени, у пышного изголовья, вдруг, ни с того ни с сего, и само по себе, положение круто переменилось, предмет же был несуществен, так что потом удивительно было найти труп чудом поверженной великанши и взирать на муаровый нательный пояс, почти совсем закрывавший шрам.

Последнее время она чувствовала себя сносно (донимала только отрыжка), но в первые же дни брака тихонько возобновились боли, знакомые ей по прошлой зиме. Не без поэзии она предположила, что больной, ворчливый орган, задремавший было в тепле постоянного пестования, «как старая собака», теперь приревновал к сердцу, к новичку, которого «погладили один раз». Как бы то ни было, она с месяц пролежала в постели, прислушиваясь к этой внутренней возне, пробному царапанию, осторожным укусам; потом стихло,— она даже встала, копалась в письмах первого мужа, кое-что сожгла, разбирала какие-то страшно старенькие вещицы — детский наперсток, чешуйчатый кошелек матери, еще что-то, золотое, тонкое,— как время, текучее. Под Рождество ей сделалось опять плохо, и ничего не вышло из предполагавшегося приезда дочки.

Он выказывал ей неизменную заботливость; он утешительно мычал, с ненавистью принимая от нее неловкую ласку, когда она, бывало, с ужимками старалась объяснить, что не она, а оно (мизинцем на живот) виновато в их ночном разъединении.— и все это так звучало, точно она беременна (ложно беременна своей же смертью). Всегда ровный, всегда подтянутый, он соблюдал плавный тон, что усвоил сначала, и она была ему благодарна за все,— за старомодную галантность обращения, за это «вы», казавшееся ей собственным достоинством нежности, за исполнение прихотей, за новую радиолу, за то, что он безропотно согласился дважды переменить сиделку, нанятую для постоянного ухода за ней.

По пустякам она не отпускала его от себя дальше угловой комнаты, а когда он шел по делу, то совместно разрабатывался наперед точный предел отлучки, и так как его ремесло не

требовало определенных часов, то всякий раз приходилось — весело, скрипя зубами,— бороться за каждую крупицу времени. В нем корчилась бессильная злоба, его душил прах рассыпавшихся комбинаций, но ему так надоело торопить ее смерть, так опошлилась в нем эта надежда, что он предпочитал заискивать перед противоположной: может быть, к лету настолько оправится, что разрешит девочку увезти к морю на несколько дней. Но как подготовить? Еще в начале ему казалось, что будет легко как-нибудь, под видом деловой поездки, махнуть в тот городок с черной церковью и с садами, отраженными в реке, но когда он раз сказал, что — вот какой случай, мне может быть удастся посетить вашу дочку, если придется съездить туда-то (назвал соседний город), ему почудилось, что какой-то смутный, почти бессознательный, ревнивый уголек вдруг оживил ее дотоле несуществовавшие глаза,— и поспешно замяв разговор, он удовольствовался тем, что видимо она сама тотчас забыла идиотски-интуитивное чувство,— которое, уж конечно, нечего было опять возбуждать.

Постоянство колебаний в состоянии ее здоровья представлялось ему самой механикой ее существования; постоянство их становилось постоянством жизни; со своей же стороны он замечал, что вот уже на его делах, на точности глаза и граненой прозрачности заключений, начинает дурно отражаться постоянное качание души между отчаянием и надеждой, вечная зыбь неудовлетворенности, болезненный груз скрученной и спрятанной страсти,— вся та дикая, душная жизнь, которую он сам, сам себе устроил.

Случалось, он проходил мимо игравших девочек, случалось, миленькая бросалась ему в глаза, но бросалась она бессмысленно плавным движением замедленной фильмы, и он сам изумлялся тому, до чего неотзывчив, до чего *занят*, с какой определенностью стянулись навербованные отовсюду чувства,— тоска, жадность, нежность, безумие,— к образу той совершенно единственной и незаменимой, которая проносилась тут в раздираемом солнцем и тенью платье. И случалось, ночью, когда все стихало,— и радиола, и вода в уборной, и белые шажки сиделки, и тот бесконечно задерживаемый звук (хуже любого грохота!), с которым она затворяла двери, и осторожный звон ложечки, и трык-трык аптечки, и отдаленная загробная жалоба особы,— когда все это окончательно стихало, он ложился навзничь и вызывал единственный образ, и восьмью руками оплетая улыбающуюся добычу, осьмью щупальцами присасываясь к ее подробной наготе, наконец исходил черным туманом и терял ее в черноте, а черное расползалось сплошь, да всего лишь было чернотой ночи в его одинокой спальне.

Весной ей как будто сделалось хуже, и после консилиума ее перевезли в госпиталь. Там, накануне операции, она ему с достаточной, несмотря на страдания, отчетливостью, говорила о завещании, о поверенном, о том, что необходимо сделать, если она завтра... и дважды, дважды заставила его поклясться, что он будет, как о собственной... и чтобы та не сердилась, не сердилась на покойную мать. «Может быть, все-таки ее вызвать,— сказал

он громче, чем хотел,— а?» — но она уже все выложила, зажмурилась в муке, и постояв у окна, он вздохнул, поцеловал ее в желтый кулак, сжатый на отвороте простыни, и вышел.

Рано утром ему позвонил один из больничных врачей, чтобы сообщить, что ее только что оперировали, что успех, кажется, полный, превзошедший все надежды хирурга, но что до завтра ее лучше не навещать.

«Ах, успех, ах, полный,— бессмысленно бормотал он, устремляясь из комнаты в комнату,— ах, как мило... поздравьте нас,— будем поправляться, будем цвести... Что это такое!» — вдруг вскрикнул он горловым голосом, так ахнув дверью клозета, что из столовой откликнулся испуганный хрусталь. «Ну, посмотрим,— продолжал он среди паники стульев,— посмотрим... Я вам покажу успех! Успьех, усопьех,— передразнил он произношение сопливой судьбы,— ах, прелестно! Будем жить, поживать, дочку выдадим раненько, ничего, что хрупка, зато муж — здоровяк, да как всадит нахрапом в хрупь... Нет, господа, довольно! Это издевка! Я тоже имею право голоса! Я...» — и вдруг его блуждающее бешенство натолкнулось на неожиданную добычу.

Он замер, шевеление пальцев прекратилось, глаза на минуту закатились,— а вернулся он из этого краткого столбняка с улыбкой. «Довольно, господа»,— повторил он, но уже совсем с другим, почти вкрадчивым выражением.

Немедленно он навел нужную справку: был весьма удобный экспресс в 12.23... прибывающий ровно в 16.00. С обратным сообщением обстояло хуже... придется нанять там машину, сразу назад, к ночи мы будем тут,— вдвоем, совершенно взаперти, с усталенькой, сонненькой, скорей раздеваться, я буду тебя баюкать,— только это... только уют — какая там каторга (хотя, между прочим, лучше сейчас каторга, чем поганец в будущем)... тишина, голые ключицы, бридочки, пуговки сзади, лисий шелк между лопаток, зевота, горячие подмышки, ноги, нежности,— не терять головы,— но чего впрочем естественнее, что привез маленькую падчерицу,— что все-таки решил это сделать,— режут мать, ответственность, усердие, сама же просила «заботиться»,— и пока мать спокойно лежит в больнице, что может быть, повторяем, естественнее, что здесь, где, кому ж моя душенька помешает... и вместе с тем, знаете,— под боком, мало ли что, надо быть ко всему... ах, успех? тем лучше — выздоравливающие добреют, а если все-таки изволите гневаться,— объясним, объясним,— хотели сделать лучше,— ну, может быть, немножко растерялись, признаемся, но с самыми лучшими...— и, радостно торопясь, он у себя (в *ее* бывшей комнате) перестелил постель, навел беглый порядок, принял ванну, отменил деловое свидание, отменил уборщицу, быстро закусил в своем «холостом» ресторане, накупил фиников, ветчины, пеклеваного, сбитых сливок, мускатного винограда,— чего еще? — и вернувшись домой, разваливаясь на пакеты, все видел, как она вот тут пройдет, как там сядет, отведя назад тонкие обнаженные руки, пружинисто опираясь сзади себя, кудрявая, томненькая, и тут позвонили из больницы, прося его все-таки заглянуть, и, когда по пути на вокзал он нехотя заехал, то узнал, что особа кончилась.

Прежде всего охватила яростная досада: значит, план провалился, это близкое, теплое ночное отнято у него, и когда она явится, вызванная телеграммой, то, конечно, вместе с той выдрой и мужем выдры, которые и вселятся на недельку. Но именно потому, что первое его движение было таким, силой этого близкого порыва образовалась пустота, ибо не могла же досада на (случайно помешавшую) смерть сразу перейти в благодарность за нее (основному року). Пустота между тем заполнялась предварительным серо-человеческим содержанием,— сидя на скамье в больничном саду, успокаиваясь, готовясь к различным хлопотам, связанным с техникой похоронного положения, он с приличной печалью пересматривал в мыслях то, что видел только что воочию: отполированный лоб, прозрачные крылья ноздрей с жемчужиной сбоку, эбеновый крест,— всю эту ювелирную работу смерти,— между прочим, презрительно дунул на хирургию и стал думать о том, что все-таки ей было здорово хорошо под его опекой, что он походя дал ей настоящее счастье, скрасившее последние месяцы ее прозябания, а отсюда уже был естественен переход к признанию за умницей судьбой прекрасного поведения к первому сладкому содроганию крови: бирюк надевал чепец.

Он ожидал, что они приедут на другой день к завтраку,— и действительно — звонок... но приятельница покойной особы стояла на пороге одна (протягивая костлявые руки и недобросовестно пользуясь сильным насморком для нужд наглядного соболезнования): ни муж, ни «сиротка», оба лежавшие с гриппом, не могли приехать. Его разочарование сгладилось мыслью, что так правильно,— не надо портить: присутствие девочки в этом сочетании траурных помех было бы столь же мучительно, как был ее приезд на свадьбу, и гораздо разумнее в течение ближайших дней покончить со всеми формальностями и основательно подготовить отчетливый прыжок в полную безопасность. Раздражало только, что «оба»: связь болезни (словно в одной постели), связь заразы (может быть, этот пошляк, поднимаясь за ней по крутой лестнице, любил лапать за голые ляжки). Изображая совершенное оцепенение — что было проще всего, как знают и уголовные,— он сидел одеревеневшим вдовцом, опустив увеличившиеся руки, чуть шевеля губами в ответ на совет облегчить запор горя слезами, и смотрел мутным глазом, как она сморкается (тройственный союз,— это лучше), и когда, рассеянно, но жадно занимаясь ветчиной, она говорила такие вещи, как «По крайней мере, не долго страдала» или «Слава Богу, что в беспамятстве», сгущенно подразумевая, что страдания и сон суть естественный удел человека, и что у червей добрые личики, а что главное плавание на спине происходит в блаженной стратосфере, он едва не ответил ей, что сама по себе смерть всегда была и будет похабной дурой, да вовремя сообразил, что его утешительница может неприятно усомниться в его способности дать отроковице религиозно-нравственное воспитание.

На похоронах народу было совсем мало (но почему-то явился один из его прежних полуприятелей,— золотых дел мастер с женой), и потом, в обратном автомобиле, полная дама (бывшая

также на его шутовской свадьбе) говорила ему, участливо, но и внушительно (он сидел, головы не поднимая,— голова от езды колебалась), что теперь-то по крайней мере ненормальное положение ребенка должно измениться (приятельница бывшей особы притворялась, что смотрит на улицу), и что в отеческой заботе он непременно найдет должное утешение, а другая (бесконечно отдаленная родственница покойной) вмешалась и сказала: «Девчонка-то прехорошенькая! Придется вам смотреть в оба,— и так уже не по летам крупненькая, а годика через три так и будут липнуть молодые люди,— забот не оберетесь»,— и он про себя хохотал, хохотал, на пуховиках счастья.

Накануне, в ответ на новую телеграмму («Беспокоюсь как здоровье целую»— причем этот вписанный в бланк поцелуй был уже первым настоящим), пришло сообщение, что у обоих жар спал, и перед отъездом восвояси все еще сморкавшаяся женщина спросила, показывая шкатулку, может ли она взять это для девочки (какие-то материнские мелочи заветной давности), а затем поинтересовалась, как и что будет дальше. Только тогда, крайне замедленным голосом, точно каждый слог был преодолением скорбной немоты, с паузами и без всякого выражения, он ей доложил, как и что будет: поблагодарил за годовой присмотр и предупредил, что ровно через две недели он заедет за дочерью (так и вымолвил), чтобы взять ее с собой на юг, а оттуда вероятно заграницу. «Да, это мудро,— ответила та с облегчением (слегка разбавленным, будем надеяться, мыслью, что последнее время она на питомице вероятно подрабатывала).— Поезжайте, рассейтесь, ничто так не врачует горя».

Эти две недели были ему нужны для устройства своих дел — с таким расчетом, чтобы по крайней мере год не думать о них,— а там будет видно. Пришлось продать кое-что из собственных экземпляров. А укладываясь, он случайно нашел в столе некогда подобранную монету (между прочим оказавшуюся фальшивой) и усмехнулся: талисман уже отслужил.

Когда он сел на поезд, послезавтрашний адрес все еще был как берег в тумане зноя: предварительный символ будущей анонимности; он всего лишь наметил, где, по пути на этот мерцающий юг, заночуют, но не считал нужным предрешать дальнейшее новоселье. Все равно где,— место красит босая ножка; все равно куда,— только бы унести — и потеряться в лазури. Грифы столбов пролетали со спазмами гортанной музыки. Дрожь в перегородках вагона была как треск мощно топорщившихся крыл. Будем жить далеко, то на холмах, то у моря, в оранжерейном тепле, где обыкновенне дикарской оголенности установится само собой, совсем одни (без прислуги!), не видаясь ни с кем, вдвоем в вечной детской, что уж окончательно добьет стыдливость; при этом — постоянное веселье, шалости, утренние поцелуи, возня на общей постели, большая губка, плачущая над четырьмя плечами, прыщущая от смеха между четырех ног,— и он думал, блаженствуя на внутреннем припеке, о сладком союзе умышленного и случайного, о ее эдемских открытиях, о том, сколь естественными и зараз особыми, нашенскими, ей будут вблизи казаться смешные приметы

разнополых тел,— между тем как дифференциалы изысканнейшей страсти долго останутся для нее лишь азбукой невинных нежностей: ее будут тешить только картинки (ручной великан, сказочный лес, мешок с кладом) да забавные последствия любознательных прикосновений к игрушке со знакомым, никогда не скучным фокусом. Он был убежден, что пока новизна довлеет себе и еще не озирается, будет легко при помощи прозвищ и шуток, утверждающих бесцельную в сущности простоту данных оригинальностей, заранее отвлечь нормальную девочку от сопоставлений, обобщений, вопросов, на которые что-нибудь подслушанное прежде, или сон, или первые сроки, могли бы ее подтолкнуть, так что из мира полуотвлеченностей, ей вероятно полуизвестных (вроде правильного толкования самостоятельного живота соседки, вроде школьных пристрастий к морде модного комедианта), от всего как-либо связанного со взрослой любовью, будет пока что изъят переход к привычной действительности милых развлечений, а пристойность, мораль не заглянут сюда по незнанию порядков и адреса.

Система подъемных мостов хороша до тех пор, покамест цветущая пропасть сама не дотянет крепкой молодой ветви до светлицы; но именно потому, что в первые, скажем, два года пленнице будет неведома временно вредная для нее связь между куклой в руках и одышкой пуппенмейстера, между сливой во рту и восторгом далекого дерева, придется быть сугубо осторожным, не отпускать ее никуда одну, почаще менять местожительство (идеал — миниатюрная вилла в слепом саду), зорко смотреть за тем, чтобы не было у нее ни знакомств с другими детьми, ни случая разговориться с фруктовщицей или поденщицей,— ибо мало ли какой вольный эльф может слететь с уст волшебной невинности,— и какое чудовище чужой слух понесет к мудрецам для рассмотра и обсуждения. А вместе с тем, в чем упрекнуть волшебника? Он знал, что найдет в ней достаточно утех, чтобы не расколдовать ее слишком рано, ничего в ней не отличать слишком явным вниманием неги: играя в прогулку капуцина, не слишком упираться в иной тупичок; он знал, что не посягнет на ее девственность в самом тесном и розовом смысле слова, пока эволюция ласк не перейдет незаметной ступени,— дотерпит до того утра, когда она сама, еще смеясь, прислушается к собственной отзывчивости и, уже молча, потребует совместных поисков струны. 151

Воображая дальнейшие годы, он все видел ее подростком, таков был плотский постулат; зато, ловя себя на этой предпосылке, он понимал без труда, что если мыслимое течение времени и противоречит сейчас бессрочной основе чувств, то постепенность очередных очарований послужит естественным продолжением договора со счастьем, принявшим в расчет и гибкость живой любви; что на свет этого счастья, как бы она ни повзрослела,— в семнадцать лет, в двадцать,— ее сегодняшний образ всегда будет сквозить в ее метаморфозах, питая их прозрачные слои своим внутренним ключом; и что именно это позволит ему, без урона или утраты, насладиться чистым уровнем каждой из ее перемен. Она же сама, утончившись и удлинившись в женщи-

ну, уже никогда не будет вольна отделить в сознании и памяти свое развитие от развития любви, воспоминания детства от воспоминаний мужской нежности,— вследствии чего прошлое, настоящее, будущее представятся ей единым сиянием, источник коего, как и ее самое, излучил он, живородящий любовник.

Так они будут жить,— и смеяться, и читать книги, и дивиться светящимся мухам, и говорить о цветущей темнице мира, и он будет рассказывать, и она будет слушать, маленькая Корделия, и море поблизости будет дышать под луной,— и чрезвычайно медленно, сначала всей чуткостью губ, затем всей их тяжестью, вплотную, все глубже, только так, в первый раз, в твое воспаленное сердце, так, пробиваясь, так погружаясь, между его тающих краев...

Дама, сидевшая напротив, почему-то вдруг поднялась и перешла в другое отделение; он посмотрел на пустые свои часики, теперь уже скоро,— и вот, он уже поднимался вдоль белой стены, увенчанной ослепительными осколками; летало множество ласточек,— а встретившая его на крыльце приятельница покойной особы объяснила ему присутствие груды золы и обугленных бревен в углу сада тем, что ночью случился пожар,— пожарные не сразу справились с летящим пламенем, сломали молодую яблоню, и конечно никто не выспался. В это время вышла она, в темном вязаном платье (в такую жару!), с блестящим кожаным пояском и цепочкой на шее, в длинных черных чулках, бедненькая, и в самую первую минуту ему показалось, что она слегка подурнела, стала курносее и голенастее,— и хмуро, быстро, с одним только чувством острой нежности к ее трауру, он взял ее за плечо и поцеловал в теплые волосы. «Все могло вспыхнуть!» — воскликнула она, подняв розово-озаренное лицо с тенью листьев на лбу и таращa глаза, прозрачно-жидко колеблемые отражением солнца и сада.

Она, довольная, держала его под руку, пока входили в дом, следом за громко говорившей хозяйкой,— и естественность уже улетучилась, он уже неловко сгибал свою-не-свою руку,— и на пороге гостиной, в которой гремели вошедший вперед монолог и раскрываемые ставни, он руку высвободил и, в виде рассеянной ласки (а в действительности весь на мгновенье уйдя в крепкое с ямкой осязание), слегка похлопал ее по бедру — беги, дескать — и вот уже садился, пристраивал трость, закуривал, искал пепельницу, что-то отвечал,— преисполненный дикого ликования.

От чайку он отказался, объяснив, что сейчас появится заказанный на вокзале автомобиль, что туда уже погружены его чемоданы (эта подробность, как бывает во сне, имела какой-то мелькающий смысл), и что «покатим с тобой к морю!» — почти выкрикнул он по направлению девочки, которая, оборотясь на ходу, чуть не упала с треском через табурет, но мгновенно выправила молодое равновесие, повернулась и села, покрыв табурет опавшей юбкой. «Что?» — спросила она, отводя волосы и косясь на хозяйку (табурет уже раз был сломан). Он повторил. Она радостно подняла брови,— не думала, что случится именно так, и сегодня же. «Я-то надеялась,— солгала хозяйка,— что вы у нас



переночуете». «О нет»,— крикнула девочка, шаркающим скольженнем подлетая к нему, н продолжала неожиданной скороговоркой: «А как вы счнтаете, я скоро научусь плавать,— одна моя подруга говорнт, что можно сразу, то есть нужно сперва только научнться не бояться,— а это берет месяц...» — но хозяйка уже толкала ее в локоть, чтобы она доуложила, с Марней, то, что прнготовлено слева в шкапу.

«Прнзнаюсь, не завидую вам,— сказала сделавшая должность, когда девочка выбежала.— Последнее время, особенно после гриппа, у нее бывают всякие вспышки н капризы, на днях нагрубила мне — трудный возраст. Вообще мне кажется, хорошо бы, если б вы взяли к ней пока что какую-нибудь барышню, а осенью — в хороший католический ннтернат. Смерть матери она переживает, как видите, довольно легко,— да, может быть, не показывает,— не знаю. Кончилось наше совместное житье... Я вам, кстати, еще осталась... Нет-нет, полноте, как же... Да, он только к семи приходит со службы,— будет очень жалеть... Жизнь,— ничего не поделаешь! Она-то, бедняжка, во всяком случае на небесах спокойна, да и у вас лучше вид,— а если бы не наша встреча... Просто не вижу, как бы я содержала чужого ребенка, а нз сиротских приютов прямой шаг самн знаете куда. Вот я поэтому всегда н говорю: жизнь — одно слово. Помните, как мы с вамн — на скамейке,— помните? Мне-то в голову ие приходило, что она может найти второго,— н все-таки — мое женское чутье: что-то в вас было тоскующее — именно по такой прнстанн».

154 За листвой родился автомобиль. Садиться! Знакомая черная шапочка, пальто на руке, небольшой чемодан, помощь краснорукой Марии. Погоди, уж я тебе накуплю... Захотела непременно — рядом с шофером, н пришлось согласнться да скрыть досаду. Женщина, которой мы никогда больше не увндим, махала яблоневой веточкой. Марня загоняла цыплят. Поехали, поехали.

Он сндел, откинувшнсь, промеж колен держа трость, весьма ценную, старнннуюю, с толстым коралловым набалдашником, н смотрел сквозь переднее стекло на берет н довольные плечн. Погода была необыкновенно жаркая для нюня, в окно била горячая струя, вскоре он снял галстук н расстегнул ворот. Через час девочка на него оглянулась (показала на что-то близ дороги, но он, хотя н обернулся с разннутым ртом, ничего не успел рассмотреть — н почему-то без всякой связн подумалось, что все-таки — почти тридцать лет разницы). В шесть они ели мороженое, а говорливый шофер пил пиво за соседним столиком, обращаясь к клиенту с различнымн рассуждениями. Дальше. Глядя на лесок, волнистыми прыжками все прнближавшийся с холмика на холмик, пока не съехал по скату н не споткнулся о дорогу, где был пересчитан н убран,— он думал: «Не сделать ли тут прнвал? небольшая прогулка, посидим на мху среди грнбов н бабочек». Но остановнть шофера он не решился: что-то невыносимое было в образе подозрнтельного автомобиля, бездельничающего на шоссе.

Затем стемнело, незаметно зажглись их фары. В первой же

придорожной харчевне сели поужинать,— и резонер опять разлился поблизостн, да, кажется, заглядывается не столько на господский бнфштекс с дутым картофелем, сколько на шору ее волос в профиль н прелестную щеку: голубка моя н устала н раскраснелась,— путешествне, жирное жаркое, капля вина,— сказывалась бессонная ночь, розовый пожар впотьмах, салфетка спадала с мягко вдавленной юбочки,— н это теперь все мое,— он спросил, сдаются ли тут комнаты,— нет не сдавались.

Несмотря на растущую томность, она решительно отказалась променять свое место спереди на поддержку н уют в глубине, сказав, что сзадн ее будет тошнить. Наконец, наконец, среди черной, жаркой бездны созрели и стали лопаться огоньки, н была немедленно выбрана гостиница, и уплачено за мучительную поездку, и покончено с этим. Она почтн дремала, выползая на панель, застывая в сниеватой, щербатой тьме, в теплом запахе гари, в шуме н дрожи двух, трех, четырех грузовиков, пользовавшихся ночным безлюдием, чтобы чудовищно быстро съезжать под гору нз-за угла улицы, где ныл, и тужился, и скрежетал скрытый подъем.

Коротконогий, большеголовый старнк в расстегнутой жилетке, нерасторопный, медлительный н все объяснявший с виноватым добродушием, что он только заменяет хозяина,— старшего сына, отлучнвшегося по семейному делу,— долго нскал в черной книге... сказал, что свободной комнаты с двумя кроватями нет (выставка цветов, много приезжих), но имеется одна с двуспальной,— «что сводится к тому же, вам с дочкой будет только —» «Хорошо, хорошо»,— перебил приезжий, а туманное дитя стояло поодаль, мигая и глядя сквозь поволоку на двоившуюся кошку.

Отправились наверх. Прислуга по-видимому ложилась рано — или тоже отсутствовала. Покамест, кряхтя н низко нагибаясь, гном испытывал ключ за ключом,— нз уборной рядом вышла, в лазурной пижаме, курчаво-седая старуха, с ореховым от загара лицом, н мимоходом полюбовалась на эту усталую красивую девочку, которая, в покорной позе нежной жертвы, темнелась платьем на охре, прнслоняясь к стенке, опираясь лопатками н слегка откинутой лохматой головой, медленно мотая ей и подергиванием век как бы стараясь распутать слишком густые ресницы. «Отоприте же, наконец»,— сердито проговорил ее отец, плешивый джентльмен, тоже турист.

«Тут буду спать?» — безучастно спросила девочка, и когда, борясь со ставнямн, поплотнее сощурнвая их щели, он ответил утвердительно, посмотрела на шапочку, которую держала, н вяло бросила ее на широкую постель.

«Ну вот,— сказал он после того, как старик, ввалив чемоданы, вышел, н остались только стук сердца да отдаленная дрожь ночи.— Ну вот... теперь надо ложнться».

Шатаясь от сонливости, она наткнулась на край кресла, н тогда, одновременно садясь, он привлек ее за бедро,— она, выгнувшнсь, вырастая, как ангел, напрягла на мгновенне все мускулы, сделала еще полшажка и мягко опустилась к нему на колени. «Моя душенька, моя бедная девочка»,— проговорил он в каком-то общем тумане жалости, нежности, желания, глядя на ее

сонность, дымчатость, заходящую улыбку, ощупывая ее сквозь темиое платье, чувствуя на голом, сквозь тоико-шерстяное, полоску сиротской подвязки, думая о ее беззащитиости, заброшеииости, теплоте, иаслаждаясь живой тяжестью ее разползавшихся н опять, с легчайшим телесиым шорохом, повыше скрещивающихся иог,— и оиа медленно обвила вокруг его затылка сонную руку в тесиом рукавчике, обдавая его каштаиовым запахом мягких волос, но рука сползла, подошвой сандалий она дремотно отталкивала несессер, стоявший рядом с креслом... Прогрохотало за окном, и потом, в тишине, стало слышно, как иоет комар, и почему-то это ему мельком иапомиило что-то страшио далекое, какие-то поздиие укладываиия в детстве, плывущую лампу, волосы сверстиицы-сестры, давно-давно умершей. «Душенька моя»,— повторил ои и, отведя трущимся иосом кудрю, теребливо прилаживаясь, почтн без нажима вкусил ее горячей шелковистой шеи около холодка цепочки; затем, взяв ее за виски, так что глаза ее удлиинились и полусомкнулись, прннялся ее целовать в расступившиеся губы, в зубы,— оиа медленно отерла рот углами пальцев, ее голова упала ему на плечо, промеж век видиелс лишь узкий закатный лоск, оиа совсем засыпала.

В дверь постучалн,— он сильно вздрогнул (отдернул руку от пояска,— так н не поияв, как собственно расцепляется). «Проснись, слезай»,— сказал ои, быстро ее тормоша, н оиа, широко раскрыв пустые глаза, через кочку съехала. «Войдите»,— сказал он.

158 Заглянул старик и сообщил, что господиииа просят сойти вииз: пришли из полицейского участка. «Полиция? — переспросил он, морщаясь в недоумеиии. «Полиция?»... Хорошо, идите, я сейчас спущусь»,— добавил ои, ие вставая. Закурил, высморкался, аккуратно сложил платок, щурясь сквозь дым. «Слушай,— сказал он прежде, чем выйти.— Вот твой чемодаи, вот я тебе его раскрою, иайди, что тебе иужио, раздевайся пока и ложись; убориая — от двери иалево».

«При чем тут полиция? — думал он, спускаясь по скверно освещенной лестнице.— Что им нужно?»

«В чем дело?» — резко спросил ои, сойдя в вестибюль, где увидел застоявшегося жаидарма, черного гиганта с глазами н подбородком кретиниа.

«А в том,— последовал охотный ответ,— что вам как видно придется сопроводить меия в комиссариат,— это иедалеко отсюда».

«Далеко или недалеко,— заговорил путешественник после легкой паузы,— но сейчас за полиочь, н я собираюсь ложиться. Кроме того, ие скрою от вас, что всякий вывод, особенно столь дииамический, звучит криком в лесу для слуха, ие посвященного в предшествовавший ход мыслей — то есть проще: логическое воспринимается как зоологическое. Между тем, глобтроттеру, только что и впервые попавшему в ваш радушиый городок, любопытно узнать, на чем,— на каком, может быть, местном обычае,— основаи выбор иочн для прнглашення в гости, приглашения тем более непрнемлемого, что я ие одии, а с утомленной девочкой. Нет, погодите,— я еще не кончил... Где это видаио,

чтобы правосудие предпосылало действие закона основанию его применить? Дождитесь улик, господа, дождитесь доносика! Пока что — сосед не видит сквозь стену, и шофер не читает в душе. А в заключение,— и это может быть самое существенное,— извольте ознакомиться с моими бумагами».

Помутневший дурень ознакомился,— очнулся и пустился трепать незадачливого старика: оказалось, что тот не только спутал две схожие фамилии, но никак не мог объяснить, когда и куда нужный проходимец съехал.

«То-то»,— сказал путешественник мирно, досаду на задержку полностью выместив на поспешившем враге — при сознании своей неуязвимости (слава Року, что сзади не села, слава Року, что грибов не искали в июне,— а ставни, конечно, плотные).

Добежав до площадки, он спохватился, что не заметил номера комнаты, остановился в нерешительности, выплюнул окурок... но теперь нетерпение чувств не пускало вернуться за справкой, и не нужно,— помнил расположение дверей в коридоре. Нашел, быстро облизнулся, взялся за ручку, хотел —

Дверь была заперта; и отвратительно поддалось под сердцем. Раз заперлась — значит, от него значит — подозрение, не надо было так целовать, спугнул, что-нибудь заметила,— или глупее и проще: по наивности убеждена, что он лег спать в другой комнате, в голову пришло, что она будет спать в одной, вместе с чужим,— все-таки, еще чужим,— и он постучал, едва ли еще сам сознавая всю силу своей тревоги и раздражения.

Услышал отрывистый женский смех, гнусное восклицание матрацных пружин и затем шлепанье босых ног. «Кто там? — сердито спросил мужской голос...— Ах, вы ошиблись? Так пожалуйста, не ошибайтесь. Человек тут занимается делом, человек обучает молодую особу, человека перебивают...» В глубине опять прокатился смех.

Ошибка была пошлая — и только. Он двинулся дальше по коридору,— вдруг сообразил, что не та площадка,— пошел назад, повернул за угол, озадаченно взглянул на счетчик в стене, на раковину под капающим краном, на чьи-то желтые сапоги у двери,— повернул опять,— лестница исчезла! Та, которую он наконец нашел, оказалась другой: спустившись по ней, он заблудился в полутемных помещениях, где стояли сундуки, где из углов выступали с фатальным видом то шкапчик, то пылесос, то сломанный табурет, то скелет кровати. Вполголоса выругался, теряя власть над собой, изведенный этими преградами...

Толкнул дверь в глубине и, стукнувшись головой о низкую притолоку, вынырнул в вестибюль со стороны тускло освещенного закута, где, почесывая щетину щеки, старик смотрел в черную книгу, а на лавке рядом храпел жандарм — как в кордегардии. Получить нужное сведение было делом минуты — слегка удлиненной извинениями старика.

Он вошел. Он вошел и прежде всего, никуда не глядя, украдчиво горбясь, дважды повернул тугой ключ в замке. Затем увидел черный чулок с резинкой под умывальником. Затем увидел раскрытый чемодан, начатый в нем беспорядок, полувытащенное за ухо вафельное полотенце. Затем увидел комок

платья и белья на кресле, поясок, второй чулок. Только тогда он повернулся к острову постели.

Она лежала на спине поверх нетронутого одеяла, заложив левую руку за голову, в разошедшемся книзу халатике,— сорочки не доискалась,— и при свете красноватого абажура, сквозь муть, сквозь духоту в комнате, он видел ее узкий впалый живот между невинных выступов бедряных косточек. Со звуком пушечной пальбы поднялся со дна ночи грузовик, стакан зазвенел на мраморе столика, и было странно смотреть, как мимо всего ровно тек ее заколдованный сон.

Завтра, конечно, начнем с азов, с продуманной постепенности, но сейчас ты спишь, ты ни при чем, не мешай взрослым, так нужно, это моя ночь, мое дело,— и раздевшись, он лег слева от едва качнувшейся пленницы и застыл, сдержанно переводя дух. Так: час, которым он бредил вот уже четверть века, теперь наступил, но облаком блаженства он был скован, почти охлажден; наплывы и растекание ее светлого халатика, мешаясь с откровениями ее красоты, еще дрожали в глазах сложной зыбью, как сквозь хрусталь. Он все не мог найти оптический фокус счастья, не знал, с чего начать, к чему можно притронуться, как полнее всего в пределах ее покоя насытиться этим часом. Так. Пока что, с лабораторной бережностью он снял с кисти бельмо времени и через ее голову положил на ночной столик, между блестящей каплей воды и пустым стаканом.

Так. Бесценный оригинал: спящая девочка, масло. Ее лицо в мягком гнезде тут рассыпанных, там сбившихся кудрей, с бороздками запекшихся губ, с особенной складочкой век над едва сдавленными ресницами, сквозило рыжеватой розовостью на ближней к свету щеке, флорентийский очерк которой был сам по себе улыбкой. Спи, моя радость, не слушай. Уже его взгляд (себя ощущающий взгляд смотрящего на казнь или на точку в пропасти) пополз по ней вниз, левая рука тронулась в путь,— но тут же он вздрогнул, ибо шевельнулся кто-то другой в комнате,— на границе зрения,— не сразу признал отражение в шкапном зеркале (его уходящие в тень пижамные полосы, да смутный отблеск в лакированном дереве, да что-то черное под ее розовой щиколкой). Наконец решившись, он слегка погладил ее по длинным, чуть липким ногам, шершаво свежившим книзу, ровно разгоравшимся к верховьям,— с бешеным торжеством вспомнил ролики, солнце, каштаны, все...— пока концами пальцев поглаживал, дрожа и косясь на толстый мысок, едва опушившийся,— посвоему, но родственно, сгустивший в себе что-то от ее губ, щек,— а немного повыше, на прозрачном разветвлении вен, упивался комар, и ревниво прогоняя его, он нечаянно помог спасть давно мешавшему отвороту, и вот они, вот, эти странные, слепые, как бы двумя нежными нарывами вспухшие грудки,— и теперь обнажилась вдоль тонкой, еще детской мышцы, натянутая, молочно-белая впадина подмышки, в пяти-шести расходящихся, шелковисто-темных штрихах,— туда же стекала наискось золотая струйка цепочки,— вероятно крестик или медальон,— и уже начинался опять ситец — рукав круто закинутой руки. В который раз нахлынул и взвыл грузовик, наполняя комнату дро-

жью,— и он остановился в своем обходе, неловко накренившись над ней, невольно вжимаясь в нее зрением и чувствуя, как отроческий, смешанный с русостью запах ее кожи зудом проникает в его кровь. Что мне делать с тобой, что мне с тобой делать?— Девочка во сне вздохнула, разожмурив пупок, и медленно, с воркующим стоном, дыхание выпустила, и этого было достаточно ей, чтобы продолжать дальше плыть в прежнем оцепенении. Он тихонько вытащил из-под ее холодной пятки примятую черную шапочку,— и снова замер, с биением в виске, с толчками ноющего напряжения — не смея поцеловать эти угловатые сосцы, эти длинные пальчики ног с желтоватыми ногтями,— отовсюду возвращаясь сходящимися глазами к той же замшевой скважинке, как бы оживавшей под его призматическим взглядом,— и все еще не зная, что предпринять, боясь упустить что-то, до конца не воспользоваться сказочной прочностью ее сна. Духота в комнате и его возбуждение делались невыносимы, он слегка распустил пижамный шнур, впивавшийся в живот, и, скрипнув сухожилием, почти бесплотно скользнул губами там, где виднелась родинка у нее под ребром... но было неудобно, жарко, напор крови требовал невозможного. Тогда, понемножку начав колдовать, он стал поводить магическим жезлом над ее телом, почти касаясь кожи, питая себя ее притяжением, зримой близостью, фантастическими сопоставлениями, дозволенными сном этой голой девочки, которую он словно мерил волшебной мерой, пока слабым движением она не отвернула лица, едва слышно во сне причмокнув — и все замерло снова, и теперь он видел промеж коричневых прядей пурпурный ободок уха и ладонь освобожденной руки, забытой в прежнем положении. Дальше, дальше. В скобках сознания, как перед забытьем, мелькали эфемерные околичности,— какой-то мост над бегущими вагонами, пузырек воздуха в стекле какого-то окна, погнутое крыло автомобиля, еще что-то, где-то виденное недавно вафельное полотенце, а между тем он медленно, не дыша, подтягивался и вот, соображая все движения, стал пристраиваться, примеряться... под боком опасливо поддалась пружина, правый осторожно похрустывающий локоть искал опоры, взор заволокло туманом тайной сосредоточенности... Он почувствовал пламень ее ладной ляжки, почувствовал, что больше сдерживаться не может, что все — все равно, и по мере того, как между его шерстью и ее бедром закипала сладость, ах, как отрадно раскрепощалась жизнь, упрощаясь до рая,— и еще успев подумать: нет, прошу вас, не убирайте, он увидел, что, совершенно проснувшись, она диким взглядом смотрит на его вздыбленную наготу.

Мгновенно, в провале синкопы, он увидел и то, чем ей это представилось — каким уродством или страшной болезнью,— или она уже знала,— или все это вместе,— она смотрела и вопила, но волшебник еще не слышал ее вопля, оглушенный собственным ужасом, стоя на коленях, подхватывая складки, ловя шнур, стараясь остановить, спрятать, щелкая скошенной судорогой, бесмысленной, как стук вместо музыки, бессмысленно истекая топленым воском, не успевая ни остановить, ни спрятать. Как она скатилась с постели, как она теперь орала, как убегала

лампочка в своем красном куколе, как грохотало за окном, ломая, добивая ночь, все, все разрушая,— «Замолчи, это пo-хорошему, такая игра, это бывает, замолчи же»,— умолял он. Она, как дитя в экранной драме, заслонялась остреньким локтем, вырываясь и продолжая бессмысленно орать, и кто-то бил в стену, требуя невообразимой тишины. Попыталась выбежать из комнаты, не могла отпереть, а он не мог ухватить, не за что, некого, теряла вес, скользкая как подкидыш, с лиловым задком, с искаженным младенческим личиком,— укатывалась,— с порога назад в люльку, из люльки обратным ползком в лоно бурно воскресающей матери.— «Ты у меня успокоишься,— кричал он (толчку, точке, несуществующему).— Хорошо, я уйду, ты у меня» — справился с дверью, выскочил, оглушительно запер за собой,— и еще слушая, стискивая в ладони ключ, босой, с пятном холода под макинтошем, так стоял, так погружался.

Но из ближнего номера уже появились две старухи в халатах, первая, как негр седая, коренастая, в лазурных штанах, с заокеанским захлебом и токаньем,— защита животных, женские клубы,— приказывала этуанс, этудверь, этутсуйт,— и царапнув его по ладони, ловко сбила на пол ключ,— в продолжении нескольких пружинистых секунд он и она отталкивали друг дружку боками, но все равно все было кончено, отовсюду вытягивались головы, гремел где-то звонок, сквозь дверь мелодичный голос словно дочитывал сказку,— белозубый в постели, братья с шапрон-ружьями,— старуха завладела ключом, он быстро дал ей пощечину и побежал, весь звеня, вниз по липким ступенькам. Навстречу бодро взбирался брюнет с эспаньолкой в подштанниках, за ним извивалась щуплая блудница — мимо; дальше — поднимался призрак в желтых сапогах, дальше — старик раскорякой, жадный жандарм — мимо; и, оставив за собою множество пар ритмических рук, гибко протянутых в пригласительном всплеске через перила,— он, пируэтом, на улицу,— ибо все было кончено, и любым изворотом, любым содроганием надо было тотчас отделаться от ненужного, досмотренного, глупейшего мира, на последней странице которого стоял одинокий фонарь с затушеванной у подножия кошкой. Ощущая босоту *уже* как провал в другое, он понесся по пепельной панели, преследуемый топотом вот уже отстающего сердца, и самым последним к топографии бывшего обращения было немедленное требование потока, пропасти, рельсов,— все равно как,— но тотчас. Когда же завыло впереди, за горбом боковой улицы, и выросло, одолев подъем, распирая ночь, уже озаряя спуск двумя овалами желтоватого света, готовое низринуться,— тогда, как бы танцуя, как бы вынесенный трепетом танца на середину сцены,— под это растущее, руплегрохотный ухмыш, краковяк, громовое железо, мгновенный кинематограф терзаний — так его, забирай под себя, рвякай хрупь,— плашмя пришлепнутым лицом я еду,— ты, коловратное, не растаскивай по кускам, ты, кромсающее, с меня довольно,— гимнастика молнии, спектрограмма громовых мгновений,— и пленка жизни лопнула.

Париж
октябрь — ноябрь 1939 г.



Л. ГРИНФИЛД. Танцевальная группа «ИЗО».

ФОТОГРАФИНИ

Прекрасная половина человечества и сегодня отваживается, а вернее умудряется не только рожать и растить детей, кормить мужей и зарабатывать на хлеб насущный, но и находит время и силы для традиционно «мужского» вида творчества — фотографии...

Об этом зримо и объективно (да простят мне невольный каламбур) свидетельствовали 270 светописных работ, представленных в экспозиции международной выставки «Фотографируют женщины». Участвовали в ней сорок соотечественниц и восемь американских коллег. И хотя не все владели двумя языками, но прекрасное знание фотографического языка — этого изобразительного эсперанто — помогло им узнать и понять друг друга, поделиться секретами фотомастерства.

Пять дней общения и совместных натурных съемок на рязанской земле были столь плодотворны (но, увы, и быстротечны!), что по единодушному желанию хозяев и гостей решено провести в нынешнем году 2-ю международную выставку-встречу «Фотографируют женщины», которая, как и первая, пройдет в конце мая в гостеприимном городе Рязани.

Остается добавить, что прошлогодняя выставка и семинар были организованы Союзом фотохудожников России, Всероссийским Центром народного творчества и Рязанским управлением культуры. А в финансировании помогли спонсоры из Пензы и Челябинска.

СВЕТЛАНА ПОЖАРСКАЯ,
член Союза фотохудожников России

Л. СОЛОМКО. Дядя Ваня.



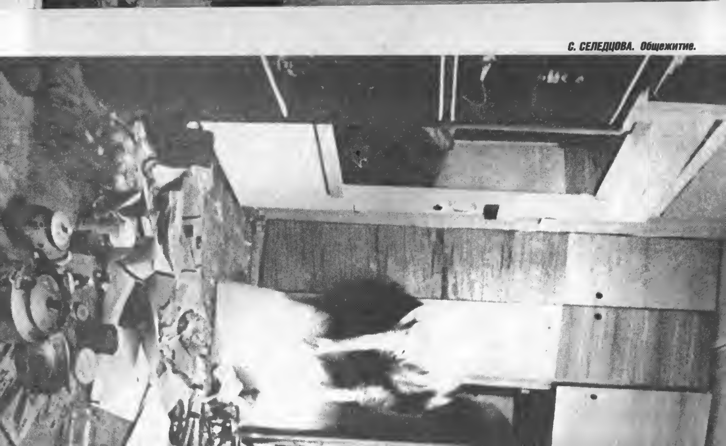


Л. ИВАНОВА. Послушница.





Д. МАЙЕРСОН. Из серии «Бойня».



С. СЕЛЕДЦОВА. Общежитие.



Л. СОЛОМКО. Натюрморт.





А. МАРКОВСКАЯ. У окна.



Д. РОССА. Первое причастие.

Ф. ФАЙЗУЛИНА. Из цикла «Горожане».





Д. ГРИНФИЛД. Пространство на двоих.



Л.ТАБОЛИНА. Позднее утро.



ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОПЕНКО

ПАМЯТНИК

Судьба художника в обществе — лакмусовая бумажка, посредством которой проверяется то, как общество относится к носителям духовности, к главному своему богатству, проявляются его зрелость и жизнеспособность.

В Москве на Кутузовском проспекте установлен памятник Тарасу Шевченко. Можете ли вы назвать имя автора этого выразительного и мощного произведения искусства? Не гадайте, не вспоминайте. Грустная статистика говорит о том, что его создателей, кроме узкого круга специалистов, вообще никто не знает. Даже московские экскурсоводы. Я имел возможность убедиться в этом, проводя импровизированные опросы прямо на ступенях памятника. На мой взгляд, это не случайно — и в этом след эпохи.

Заинтересованными лицами немало было сделано, чтобы принизить значение монумента национальному поэту в столице, чтобы умолчать, затушевать, не допустить рекламы, просто заслуженной оценки. Между тем история создания не совсем обычна.

К 150-й годовщине со дня рождения Шевченко, приходившейся на 1964 год, был объявлен всесоюзный конкурс на проект памятника поэту в Москве. Принять участие в открытом конкурсе мог всякий желающий. По тем демократическим временам соблюдалось и непременное условие конкурса: вместо подписей — девизы. Желающих посоревноваться оказалось несколько сотен, предложения присылались со всех концов страны. Каково же было изумление представительной комиссии и широкой публики, когда единодушно признанный лучшим проект при расшифровке девиза оказался детищем трех студентов Киевского художественного института, первой самостоятельной работой молодых художников Грицюка, Синькевича, Фуженко.

Больше всех ликовал Михаил Грицюк. Именно он вдохновил товарищей по институту принять участие в конкурсе, отмахивался от замечаний практичных скептиков — мол, там участвуют такие киты, как Лысенко, Вучетич, Ковалев, сам Коненков, все заранее распределено, вас и рассматривать всерьез никто не станет!.. Но они получили высокую оценку. Михаил Грицюк был окрылен первой и такой крупной творческой победой. Он верил в нее безгранично и готов был к ней. Согласитесь, так вступать прямо со студенческой скамьи в самостоятельную творческую жизнь — основательная заявка на веское слово в искусстве. Создание памятника национальному поэту в столице страны — и честь, и ответственность, и счастье.

Как должна бы ликовать братия художников, а республика возгордиться актом увековечения поэта достойным произведением! Праздник, честь и слава победителям конкурса! Сколь отрадно рождение новых ярких, самобытных художников!

Но нет. Отшумела пышная церемония открытия, растворился в вихре молодого празднества гонорар.

И наступили будни. Расплодившиеся чиновники дружно принялись сплетать, лепить, пестовать то, что сейчас названо периодом застоя. Тогда это было жизнью каждого из нас, единственной и неповторимой.

Для творческого человека, каким ощущал себя в полной мере (и по праву!) Михаил Грицюк, это были трудные годы, незаслужен-

Фото Игоря Яковлева

но, неоправданно трудные. Человек старался соизмерить свое дело с совестью, говорил в лицо то, что думал, не лукавил, не кривил душой, не выгадывал при оценках работ товарищей и коллег, лизоблюдство и чиноугодничество презирал открыто, конъюнктуру и подлог обличал так, как они того заслуживали, на собраниях в Союзе художников выступал всегда «вызывающе», то есть правдиво, прямо и нелицеприятно. Естественно, что он не уживался с руководством, его не любили. А он искренне недоумевал, почему все так упорно делают вид, будто не понимают, что все тонет во лжи и лицемерии.

Булгаков дал своему Мастеру выиграть в лотерею крупную сумму, чтобы избавить его от материальных хлопот, чтобы освободить для творчества. Но сам писатель лишь мечтал о такой независимости, бедствовал, жил надеждой на будущее. Каждый художник сталкивался с земными проблемами, многих эти проблемы изводят, заставляют искать компромиссы, а то и отрекаться от принципов.

Знаете, как проводилась приемка скульптур и памятников в семидесятые годы в Киеве? Назначался день, в который авторы должны были доставить свои работы в отведенное помещение, установить их и доходчиво оформить. Произведений набиралось до сотни и более. Авторов просили удалиться. Двери закрывались. Через какое-то время подруливали черные автомобили. Из одного выходил секретарь ЦК республики, из других — строгие сопровождающие лица. Секретарь по идеологии шагал вдоль представленных работ, краем уха слушал сообщения референта и кратким «да», «нет», «это убрать» решал судьбу того или иного произведения, того или другого художника. А ведь за несколькими планшетами или моделью для автора — год или несколько лет работы и жизни! Неспешный проход означал приговор окончательный и бесповоротный, возражать, а тем более спорить, доказывать свою правоту никто не имел права. Так уж это делалось...

Грицюк вместе с архитекторами, авторами мемориала в Хатыни, лауреатом Ленинской премии Левиным и Градовым создал проект монумента бойцам, павшим при освобождении города Изюма. Удивительно выразительная была композиция из обгоревшего каркаса собора на холме и скульптурной группы вечно живых солдат, возносящихся ввысь. Щемило душу от простоты и ясности памятника, от возвышенной трагичности образов. Изюмский городской Совет поддерживал проект, брался финансировать сооружение мемориала, и обком партии одобрял замысел, но одного отрицательного движения головой секретаря ЦК, руководствовавшегося только одному ему ведомыми причинами, достаточно было для умерщвления творения на корню.

Я рассказываю об этом для того, чтобы вы могли представить атмосферу, в которой существовали скульпторы тех лет. Авторы горько шутили над своим бесправием, в иронии и сарказме топили тяжелые думы. Лишь Грицюк мог позволить себе открыто заявить о несогласии с методами такого «творческого» обсуждения.

— Но это же абсурд! Это неправильно! Дикость — принимать работы художников без них и оценивать не как произведения искусства, а лишь с точки зрения партийной пропаганды. Нельзя так бесцеремонно вмешиваться в работу художников! Только скульптор может и должен быть автором памятника или мемориала, худож-

ник. но не ответственный партийный работник...

Руководство союза вздыхало сочувственно: ну что за наивный человек, все молчат, а ему лишь бы скандалить! И чего добивается? Так ему в жизни ничего не утвердят...

В те годы ощущение обреченности, непробиваемости, гибельности владело всеми, кто был способен чувствовать и понимать — словно глухая бетонная стена окружала всех нас. Почти никто не удивлялся попранию прав, свобод, достоинства. Как должное принимали разлив славословия. Нормальным считали, когда при сдаче фильма о Киеве, например, руководство Госкино требовало категорически изъять все кадры, запечатлевшие храмы — и Софию, и Лавру,— приказывало заменить их новостройками Оболони, «дабы не лить воду на мельницу буржуазно-националистической пропаганды, чтобы подчеркнуть, что история города началась не полторы тысячи лет назад, но лишь с победой социализма». Не удивляло закрытие проектов, запрещение фильмов, снятие спектаклей. (В Киеве под запретом были даже шедшие по всей стране «Гнездо глухаря» и «Жестокие игры».) Не особенно удивлялись и студенты театрального института, когда фонограмму их капустника (единственная форма живого слова, правдивой, искренней оценки происходящего) арестовывал ретивый декан, запирал в сейф, чтобы партбюро решило степень социальной опасности содеянного — что за всеми этими шутками и намеками кроется?! — чтобы вольнодумство пресечь и искоренить. Тихо возмущались жители Киева, когда вдруг снесли линию первого в Европе трамвая (вместо того чтобы сохранять ее, извлекать выгоду), но не удивлялись,— ко всему нас можно приучить, и к покорности, и к молчаливому попустительству преступлениям.

Надеюсь, понятно, почему Михаил практически не выставлялся, почему имя его не звучало даже при упоминании памятника Шевченко, почему его исправно обходили заказы худфонда? Со своими человеческими упованиями к совести он оказался вне законов времени.

Художник относился к происходящему без драматизма. «А, ну их всех! — говаривал он.— С их запретами, критиками, выставками, лизоблюдами! Жизнь и без них прекрасна! Я делаю свои вещи, потому что они приходят ко мне и хотят быть сделанными. По-другому я не умею. И не хочу уметь! Что мне могут сделать эти чиновники? Меня и мои работы, конечно, можно уничтожить, но только не исправить...»

В последние годы Грицюк очень много работал. Галерея удивительных личностей — Феофан Грек, Ведель, Данте, Достоевский, Блок, Пикассо, Пастернак, Рахманинов, Стравинский, Амосов, Ростропович, Мравинский, Рихтер... Работая над каждой черточкой портрета, Михаил как бы черпал силу, веру, поддержку. Словно укрепляя и направляя себя, обращался скульптор к тем, кто мучительно трудно шел по пути правды жизни и искусства. Он противопоставлял свою работу печальной привычке общества к конформизму нравственного болота. Многие рядом не выдержали тяжеловесного катка эпохи, сдались, спились, остались увечными духом: кто же сознательно станет плевать против ветра?!

Немало выпадает испытаний на долю художника. Надо через все пройти достойно, все одолеть, чтобы остаться чистым для по-

длинного творчества. Единожды солгав, согласившись на уступку, уже никогда не сможешь обрести свободу. Михаил старался не дешевить, не размениваться, не фальшивить. Взыскательность только усложняла и без того непростую жизнь.

...Судьба его складывалась необычно и пестро, за что он, как художник, всегда был ей признателен. Родился Михаил в семье Акима Грицюка в тяжелый год, когда все односельчане местечка Пасека, что на Западной Украине, уезжали за океан в поисках лучшей доли. Семья осела в Аргентине, под Буэнос-Айресом, удалось приобрести даже собственную текстильную фабрику, обеспечивающую надежный доход. Но жизнь звала Михаила к другому...

Он часто рассказывал мне, что с самого детства любил рисовать, но, когда познакомился с одним аргентинским скульптором и ощутил своими руками чудо превращения куска глины в прекрасное творение, в мысль, в образ, понял, что уже не сможет жить без этого.

В послевоенные годы многие эмигранты стали возвращаться на родину. В 1955 году вернулись и Грицюки. Михаил поступил в Киевский художественный институт, на отделение скульптуры. Учился восторженно, верил в судьбу...

Михаил не дожил до своего пятидесятилетия. Персональная его выставка, единственная, готовившаяся к юбилею, оказалась посмертной. Многие тогда открыли для себя в выставочном зале на улице Владимирской подлинное искусство настоящего художника. Бронза, мрамор, оргстекло, медь, материалы весомые и грубые, становились одухотворенными в созданной за последний год балетной серии. (Вот бы скульптуры вдруг оказались в сквере нашего обновленного оперного театра! — как бы выиграли все,— и публика, и город, и искусство балета, и память о художнике!..)

Как больно писать о том, что последовало после ухода Михаила. Он очень страдал перед смертью, лежал в реанимационной палате Института урологии после удаления второй почки и ни разу не позволил себе ни крика, ни стона. У меня оказалась группа крови, пригодная для переливания Михаилу. Когда положили меня на соседнюю кровать и подготовили для прямого переливания, Грицюк еле слышно пошутил:

— О, Слава, теперь я помолодею с твоей кровью лет на тридцать. Столько замыслов...

Сейчас все его творческое наследие, кроме уехавшего в Тулузу бронзового Пикассо и нескольких приобретенных музеями Львова и Харькова работ, в подвале под толстым слоем пыли свалено в кучу. Мне не хочется разбираться, кто виноват в этом. О положении знает и Министерство культуры, и Союз художников. Но в мастерскую скульптора на улице Дашавской, которая могла бы стать музеем, я не могу входить — она опустела.

А как необходимо нам всем ощущение праздничности, неповторимости жизни, ее многообразия и величия! Михаил своим творчеством помогал людям обрести радость, веру, без которой и жить-то нельзя...

Я пишу очерк сегодня в надежде, что общественный резонанс поможет спасти произведения Грицюка.

Убежден, что многие кажущиеся сегодня неразрешимыми вопросы даже в очень тяжелой атмосфере так называемой культурной жизни Украины можно решить, стоит только убрать традиционные чи-

новничьи преграды, подключить активную позицию интеллигенции страны. Пример Михаила Грицюка. чья судьба целикбм из того времени, далеко не единичен, в каждой республике тихо вершились и вершатся подобные трагедии. Сегодня мы обязаны защищать тех, кто нуждается в защите. В наших руках милосерднейшее из лекарств — терпимость к чужому взгляду на вещи, уважение к труду художника, к индивидуальности. всегда неповторимой, в наших силах дать каждому возможность свободно высказать свое мнение, проявить себя полностью при жизни..

Я лично не слишком верю в то, что коренные изменения в нашем обществе произойдут скоро,— так уж обучило меня мое время. Вместе со всем поколением я учился по трем учебникам истории, в каждом из которых была своя собственная, кому-то угодная правда. Нам учеба оптимизма, прямо скажем, не добавила. Сейчас усердно пишется новый учебник истории, и это нормально.

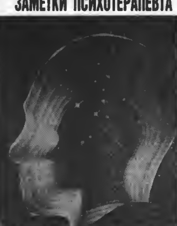
Возможность рассказать со страниц журнала о художнике и времени я использую для того, чтобы познакомить читателей с незаурядным, чистым человеком. Пишу, уповая,— вдруг какой-нибудь музей или коллектив филармонии (Санкт-Петербургской, к примеру, почему бы не приобрести Мравинского?) купит работу скульптора Грицюка; или страна найдет возможность дать работам художника жить под открытым небом, как о том мечтал их автор...

Я назвал свой очерк «Памятник» не только и не столько потому, что намеревался рассказать о памятнике Шевченко. его авторе, сколько отдавая долг памяти художника. чье творчество, чья жизнь короткая и яркая. воплощенная в галерею прекрасных, своеобычных работ,— сама по себе жертва и памятник времени, памятник всем растоптанным, униженным, изгнанным, устоявшим, памятник времени, ушедшему, надеюсь, навсегда, ушедшему благодаря и бескорыстным усилиям скульптора Михаила Акимовича Грицюка, который и сегодня с нами по духу и чести...

МАРИЯ ТЕЛИШЕВСКАЯ,
профессор, доктор медицинских наук

ЗАКРЫТЫЙ РОЯЛЬ

ЗАМЕТКИ ПСИХОТЕРАПЕВТА



Я психотерапевт... Ни один писатель не располагает столь неповторимым человеческим материалом! Почему исчезают приятие и дружба людей? Почему мы разучились улыбаться и радоваться? Вместо этого — нетерпимость друг к другу, притворство, ненависть... Необходимо остановиться и поразмыслить, куда мы стремимся в этом бездумном беге в «обезумевший мир»!

Как врач, я утверждаю, что «пики» нашего времени преодолимы, резервы человека огромны. Всегда после душевного надлома и страданий с помощью психотерапии можно восстановить деформированные отношения и вернуть тот основной стержень жизни, который воссоздает энергию, оптимизм и веру в себя... Нередко психотерапевту необходимо ломать или расшатывать психологические барьеры — убеждать, доказывать в процессе своеобразного единоборства с пациентами.

В этих заметках я попыталась рассказать о людях, вошедших в мою жизнь. Многие из них стали друзьями...*

---

* По соображениям, понятным читателю, имена пациентов изменены.

Я – «укротительница лягушек»

Застенчиво озираясь и приглаживая волосы, она входит в кабинет. Остановившись у письменного стола, смотрит в мои глаза. Я — молодой врач клиники неврозов, а Маша — моя самая первая пациентка. Сбивчиво и волнуясь, рассказывает, что работает в колхозе дояркой. Недавно вышла замуж за агронома. Полюбили друг друга, но отец мужа — учитель, мать — бухгалтер прочили ему в жены местную учительницу, но не доярку. Свекровь постоянно придиралась к ней: «Все равно счастья у тебя не будет!» Ежедневные скандалы заканчивались слезами Маши. Она убегала на свое любимое место — к пруду.

И вот неожиданно пришла болезнь... Пропал аппетит, и появилась бессонница... Днем и ночью у нее что-то «бурлило в животе». С каждым днем ей становилось хуже... Неожиданно ей пришла в голову мысль, что у пруда к ней в приоткрытый рот прыгнула лягушка, а потом и маленькие лягушата появились.

Диагноз был ясен: истеричность, типичный случай самовнушения. Логика тут бессильна. Что же делать? Техническими приемами гипноза я владею, но как заставить ее поверить, что она вбила себе в голову чушь? Нет, нельзя мне оказаться беспомощной! Маша смотрит на меня с такой надеждой и верой. Бегу в нейрофизиологическую лабораторию и выпрашиваю одну большую и двух маленьких лягушек. Погружаю Машу в глубокий гипноз. Императивно требую, чтобы она широко открыла рот, и уверенно говорю: «Сейчас вы почувствуете легкость и радость. Вы освобождаетесь от болезни! Лягушки выпрыгнули, и вы навсегда освободились от тягостных ощущений!»

Через несколько минут вывожу молодую женщину из гипнотического состояния и демонстрирую ей лягушачье семейство. Маша плачет от радости: ох, как полегчало! Через несколько дней она уезжает с мужем совершенно здоровая.

«Лягушки в животе» были для Маши своеобразной защитой, «бегством» от нестерпимой семейной ситуации, от постоянных конфликтов со злобной свекровью.

Жизнь человека как личности определяется понятием жизненного пути, жизненной кривой. В отдельные периоды роста и развития возникают поворотные или даже кризисные моменты, оказывающие влияние на отношение человека к семье, профессиональной деятельности, своему настоящему, прошлому, будущему... Различные по значимости для каждого человека переживания вызывают тоску, растерянность, страх или тревогу. Он ищет выход из сложной и трудной для него ситуации. Если приспособляемость человека снижена (у каждого из нас существует определенный адаптационный барьер), то тяжесть конфликта резко увеличивается. Человеку же необходимо найти выход, нейтрализовать реакцию на конкретные обстоятельства. Это и есть система психологической защиты. Большинство отечественных психотерапевтов считает, что психологическая защита тесно связана с психической травмой. Она может по-разному, многообразно проявляться в ответ на переживания: в игнорировании обстоятельств, формировании защитной активности, заменой одной психологической установки на другую...

Психотерапия всегда направлена на нейтрализацию и ликвидацию психотравмы. Здесь необхо-

димо найти логическую связь между травмирующей ситуацией и симптомами (проявлениями) болезни. Это несбывшиеся надежды в личной жизни, неприятные семейно-бытовые и служебные обстоятельства, личные обиды и огорчения. Существенное влияние на «биографию» человека оказывают разные периоды жизни: детские годы, учеба, выбор профессии, становление интересов, организация семейной жизни; период зрелости, взаимодействие с коллективом, обществом, определение собственной жизненной позиции...

Лучшее лекарство

...В саду гулял студент с собакой на поводке. Внезапно началась гроза и молния попала в собаку. С этого времени много лет во время грозы, где бы он ни находился, человек этот убегает в квартиру и забивается в угол: он поражен страхом.

...В день двадцатилетия сын поссорился с отцом, категорически запретившим ему жениться на молодой вдове с ребенком. Несмотря на то, что отец, недавно перенесший инфаркт миокарда, «схватился за пульс», сын не поверил, что ему плохо. Отец скоропостижно скончался. С этого момента у сына возник страх смерти.

...На глазах у пастуха бодались быки, и один из них рогами распорол другому живот. После этого пастух боится оставаться в поле один.

Вы никогда не пытались понять, отчего так много мнительных, внушаемых, боязливых людей? В большинстве случаев они критически оценивают свое поведение, поступки. И тем не менее «переносят» на себя явления и ситуации, не имеющие к ним никакого отношения. В аналогичных случаях я задаю вопрос: если человек знает, что он носит костюм 48-го размера, не будет ведь он стремиться купить 42-й или же 54-й размер? Он понимает, что это было бы абсурдным!

Почему же так часто многие люди внушают себе (и начинают верить), что у них рак, саркома, инфаркт, аппендицит, внематочная беременность, теряют уверенность в себе и в своих возможностях? (У меня это ассоциируется с поведением нескольких моих знакомых — волевых и мужественных людей. Один из них резко бледнел при виде паука, другой «падал в обморок», увидев мышь...)

Далеко не всегда мы бесстрастно и трезво оцениваем сложившиеся обстоятельства — переживания, трудности.

Михаил П. с детства был мечтателем и фантазером. Единственный сын в интеллигентной семье, он блестяще окончил школу и юридический факультет. Защитил кандидатскую диссертацию... Были у него кратковременные увлечения, но о женитьбе он и не думал: вполне устраивала беспечная холостяцкая жизнь.

Как-то ранней осенью он поехал отдохнуть в Кисловодск. Ежедневно по утрам гулял в парке, а затем поднимался в горы к замку «Коварства и любви». Однажды встретил там молодую приятную женщину. У них начался роман...

Михаил уже готовился к свадьбе. Была продумана и вся дальнейшая программа: путешествие на теплоходе, затем командировка в зарубежную страну. Но вдруг его охватило чувство непонятной тревоги и щемящей тоски... Он не знал, как убить время, и тут вспомнил о книге, что накануне принес приятель... С нарастающим интересом глотал страницу за страницей: все было будто о нем...

Долго не женившийся, человек не первой молодости, в канун своей женитьбы он разматывает клубок необычных воспоминаний. В основном сексуального оттенка. Герой романа перед принятием ванны любуется своим телом. Он великолепно сложен, красив, но неожиданно обнаруживает в разных местах какую-то подозрительную сыпь...

Дочитав до этого места, судорожно начал раздеваться и... увидел на собственной коже такую же сыпь.

Ночь проходит с нарастающим чувством страха и безысходности. Утром он уже у врача-венеролога. Ему объясняют, что он вполне здоров, но Михаил не верит. Он убежден: заболевание «не распознано».

Эта навязчивая мысль не покидает его. Отказавшись от женитьбы, Михаил продолжает «обследования». Неизвестно, как бы все обернулось, если бы не обстоятельные беседы с психотерапевтом, после которых Михаил полностью избавился от навязчивой мысли о венерическом заболевании.

Сила духа, активность, энергия, оптимизм всегда нужны нам для хладнокровной оценки возникшей ситуации и определения своей исходной психологической позиции.

...В моем кабинете сидит женщина с яркими голубыми глазами и седой головой. Она застенчиво улыбается и просит... вернуть ей сон: «Утром у меня такое ощущение, что не спала ни минуты, хотя понимаю, это противоестественно!»

Начинается монолог, эмоционально насыщенный, трудный для нее. Она геолог. Много лет жила в Ленинграде. Муж тоже геолог, профессор. Она периодически уезжала в «поле» (к слову, достаточно легко переносила все трудности и неудобства своей профессии...), он оставался с матерью и двумя детьми. В экспедиции однажды увлеклась молодым якутом, сблизилась с ним. Не подозревала о своей беременности, потом было поздно... Никогда ничего не боялась. Была решительной, сильной и смелой. Теперь же растерялась... Как жить дальше? Как поступить?.. Появилась бессонница... Благополучно родила, но... увидя маленького «якутеночка», решила уехать, а потом сообщить семье, что не вернется.

...— А в день моей выписки из клиники пришли муж, дети. Вся семья плакала — это были слезы радости и счастья... Прошло несколько месяцев. У нас все прекрасно. Растет любимый мальчик... А я не сплю!..

Внимательно выслушав исповедь, я поняла: бессонница в данном случае была как бы психологической защитой, «бегством» от случайной житейской ситуации. Необходимо было снять, «взломать» эту защиту изнутри.

Мы долго и откровенно разговаривали (а слово — один из важнейших «инструментов» психотерапевтики!) с пациенткой, и мне удалось помочь ей реконструировать прежние социально-психологические установки...

Каждый из нас осознанно или неосознанно создает в жизни различные эмоциональные стимулы, помогающие ему выбраться из трудностей и бед.

Мне вспоминается женщина, которая за год потеряла семью: муж попал в автокатастрофу, ребенок умер от кори, мать — от инсульта. Человек остался одиноким. Но она сумела найти путь к преодолению своих душевных страданий, помогая пожилым и больным людям, взяв на воспитание ребенка, потерявшего мать... Многие люди осознанно

(или стихийно!) создают в своей жизни новые эмоциональные пути, стимулы, помогающие выбраться из трудностей и бед. Любовь к детям, мужу, жене, друзьям утверждает: человек человеку — лучшее лекарство.

Вырождение чувств

Ко мне обратился мужчина тридцати девяти лет. Красивый, стройный и уверенный в себе. Служебная карьера инженера-экономиста блестящая. Живет с двумя совершенно разными женщинами, мотивируя это необходимостью «сексуальных переключений», которые способствуют его активности во всех сферах жизни.

Одна — молодая, застенчивая, «неопытная». Другая — страстная, пылкая, «изощренно сексуальная». «Такие контрасты меня заряжают»,— утверждал он.

...В санатории инженер познакомился с молодой женщиной и решил жениться. Избранница же колебалась и предложила «пробный брак». Увы! Этот уверенный в себе, никогда не сомневавшийся в своих возможностях человек, оказался «несостоятельным». То же произошло и в общении с прежними подругами. В моем кабинете он с горечью рассказывал о своем поражении. После нескольких психотерапевтических бесед успокоился. В данном случае была «внушенная импотенция», обусловленная обстановкой и поведением женщины, которую он, по существу, не знал...

Я посоветовала ему прекратить этот «бег», перевернуть старые страницы жизни и постараться найти жену не только по «сексуальному параметру».

Через несколько месяцев он пришел ко мне вместе с будущей супругой, довольный и счастливый...

Порой в доверительных беседах с пациентами выявляются мучающие их половые извращения... Одно из них (не столь частое) ярко описано Владимиром Набоковым в романе «Лолита». Речь идет о довольно редком, но мучительном в морально-этическом аспекте сексуальном влечении — нимфомании. Весьма выразительно пишет об этом в предисловии к роману Виктор Ерофеев. Он считает, что «здесь можно говорить не о порочной нравственности, а о «вырождении любви». На мой взгляд, этот термин характеризует любой вид сексуальных извращений...

Как-то ко мне пришел со своим другом мой бывший пациент. Друг его преподавал литературу, опубликовал несколько книг... Жена прекрасная спортсменка, альпинистка, трагически погибла на Эльбрусе. Муж даже не мог похоронить ее.

Ему вернули ее вещи, принадлежности женского туалета: все это благоухало французскими духами...

Он жил с родителями и взрослой дочерью. В спальне, на постели жены не разрешал ничего трогать — ключ от комнаты постоянно был у него.

Прошло более года. Этот человек невероятно горевал. Приятель сказал мне: семья озадачена тем, что он проводит много времени в спальне и не проявляет никакого интереса к женщинам. Мне во время беседы, отворачиваясь и стесняясь, вдовец открыл: оставаясь один, он надевает на себя разные вещи жены и мысленно вызывает сексуальный накал, доводя себя до оргазма.

Долго не удавалось убедить его, чтобы он убрал все вещи покойной жены, не заходил в спальню... Тогда я решительно сказала: «Вы сами провоцируете собствен-

ную импотенцию»... Несколько сеансов гипнопсихотерапии завершили процесс перестройки его психологических установок.

Через несколько месяцев я случайно встретила его в театре. Он познакомил меня с приятной женщиной. Веселый, остроумный, пошутил, что «психотерапевты делают людям щедрые подарки» — заново их создают.

..Ситуации половой близости нередко таят в себе непредсказуемые последствия. Тут «срабатывают» уровень эмоциональности, душевной ранимости, суеверия... И, конечно же, элементарное невежество в сексуальных отношениях

..Студент снимал комнату в одной семье. Муж хозяйки часто уезжал в командировки. Однажды ночью молодая женщина пришла к студенту, и они сблизились. Никакие противозачаточные средства не применялись, так как она утверждала, что «бесплодна». Однако вскоре забеременела и родила близнецов. Решив уйти от мужа, призналась ему в измене. Студент же категорически отказался от женитьбы. Женщина прокляла его и несколько раз повторила: «Всю жизнь ты будешь импотентом!» Действительно, в дальнейшем он много лет страдал импотенцией — повышенная внушаемость, эмоциональный стресс сыграли в этом решающую роль.

Даже самая богатая фантазия не может конкурировать с тем, что приносит жизнь нам, психотерапевтам. И ты сам испытываешь чувства сострадания, душевной боли и негодования, когда сталкиваешься с отсутствием духовного сопереживания близких людей, доброты и помощи...

Можно привести десятки примеров, доказывающих особое значение эмоциональных стимулов в процессе борьбы человека с болезнью и с житейскими трудностями: любовь, семейная жизнь, интересная работа, дружба, увлечения всегда пронизаны эмоциями... Известная пианистка, энергичная, талантливая женщина выходит замуж за музыканта на 10 лет моложе себя, скрывая свой возраст. Живет в постоянном напряжении и тоске — ее точит мысль, что она скоро будет «разоблачена». Наконец, решается обратиться за помощью к врачу. После общения психотерапевта с ее мужем удалось все поставить на свои места.

Не возникали ли у читателя мысли о том, как мы зачастую сами создаем «проблемы» и драматизируем жизнь даже там, где могли бы все разрешать «бескровным способом»...

Верить в себя...

Я — в Тбилиси. Это город, где я родилась. Здесь проходит съезд врачей-психотерапевтов. В программе — мой доклад.

Весна... Рядом со мной на скамейке — молодая красивая женщина. Напряженная поза, грустные большие глаза...

К ней подходят, судя по внешнему облику, муж и дочь. Они помогают ей подняться. Медленно, с большими усилиями она движется к храму, двери которого широко распахнуты. Я иду следом...

Звучит торжественное песнопение. Взгляд молящихся обращен к самой большой иконе — лику Христа. Голос священника и слова молитвы женщина воспринимает особенно эмоционально, она плачет. Так я познакомилась с Ямзе Нацубадзе.

Ямзе четырнадцать лет была инвалидом 1-й группы. Ее тщательно обследовали в институтах и больницах — предполагалась «опухоль мозга». Терапевтическое, медика-

ментозное лечение не помогало... Болезнь эта развилась после тяжелых переживаний, несмотря на то, что в дальнейшем в ее жизни все было благополучно — преданный муж, две дочери, зять, маленькая внучка — состояние не улучшалось: она не могла передвигаться. Так проходили дни, недели, месяцы...

Я поняла: необходимо иное лечение. Несколько сеансов гипнопсихотерапии, и через восемь дней Ямзе самостоятельно спустилась по трапу самолета, прилетевшего из Москвы в Тбилиси...

Среди моих бывших пациентов, людей разных профессий и многообразных характерологических особенностей, были сильные, волевые, энергичные; были и пассивные, безвольные, неуверенные в себе... Задумывались ли вы, дорогой читатель, над проблемой формирования своего характера и характера своих близких? Ведь «посеешь характер — пожнешь судьбу».

Люди, драматизирующие жизнь, усложняющие любые ситуации, склонные к тоске, тенденциозной оценке своего настоящего и будущего, часто обращаются к врачам с жалобами на плохое самочувствие, утомляемость, бессонницу, кошмарные сновидения. У них преобладает чувство безысходности и своеобразного «смирения». Они часто обращаются к врачам и стремятся к бесконечным обследованиям. В действительности же все их «болезни» входят в основном в компетенцию психотерапевта. Человек не вправе ни при каких обстоятельствах терять веру в себя. Он должен искать и находить свой стержень жизни. В любом возрасте важно воспитывать и перевоспитывать свои чувства. Вырабатывать терпение и выдержку, научиться бесстрастно и объективно оценивать свои поступки, отделять главное от побочного, большое от мелкого и второстепенного...

Внушаемость и самовнушение свойственны многим людям и порой могут помочь в экстремальных ситуациях, когда мобилизуются все резервные возможности организма. Французский писатель Жан Ришар Блок в начале войны был эвакуирован в безнадежном состоянии из Москвы в Казань. У него было тяжелое двухстороннее воспаление легких. Никто уже не надеялся на благоприятный исход. Однако, к удивлению врачей, Блок начал выздоравливать. Позже он рассказывал: «Я беспрерывно напрягал свою волю и говорил себе: «Нет, я не хочу умирать вдали от Франции. Я непременно должен выздороветь! Я не умру! Я не хочу умереть до победы! Я ни за что не соглашусь умирать вдали от Франции!» Вот так я и пересилил смерть!»

Но яркое воображение и самовнушение, особенно мнительных, тревожных и внушаемых людей, может сработать и со знаком «минус».

Надзирателя парижского лицея остро ненавидели студенты из-за жестокости и придирчивости... Как-то они решили его «проучить», устроив импровизированную «казнь». Они заперли его в темной комнате и сообщили, что ему вынесен «смертный приговор». Взяв топор, предложили вытянуть голову и стать на колени, тут же мокрым полотенцем прикоснулись к его спине, а затем, громко рассмеявшись, предложили встать. Однако надзиратель не поднимался — он был мертв...

Палитра души

Мне приходится часто выслушивать жалобы родственников пациентов, обвиняющих их в том, что

«они» любят себя. Я же полностью согласна с Э. Фроммом, известным американским психологом, который утверждает, что «если человек любит ТОЛЬКО ДРУГИХ, ОН ВООБЩЕ НЕ СПОСОБЕН ЛЮБИТЬ». Гибкость и пластичность эмоций, отзывчивость, увлеченность — вот та душевная палитра, которой должна быть богата наша жизнь.

Необходимо учиться радоваться, даже если это не всегда достаточно легко и просто. А. С. Макаренко обосновал это в своеобразной теории «перспективных линий». «Нашим весьма важным институтом,— пишет он,— была система «перспективных линий». Что же это за «линии»? Человек не может жить на свете, если у него нет радости. Ее надо организовывать, вызвать к жизни, поставить как реальность. Надо настойчиво претворять более простые виды радости в более сложные и человечески значительные. Истинным стимулом в человеческой жизни является завтрашняя радость! Находясь постоянно в гуще событий, инцидентов и переживаний человека, не могу заставить себя быть бесстрастной, спокойной. Казалось бы, становится банальностью подхалимаж, притворство, ложь, хитрость, неискренность... О травмирующих ситуациях рассказывают люди, «загнанные в угол», потерявшие иллюзии и надежды. Одни из них подавлены и пассивны другие — ожесточены, третьи — ко всему равнодушны. Они не могут «постоять» за себя, мобилизовать волю, выдержку, терпение И тут доверительный контакт, дружеский совет способствуют «переоценке ценностей». Самое удивительное, что глубокий и многосторонний анализ осложнившейся ситуации в семье или на работе существенно изменяет жизненную позицию человека. Изменяется самооценка личности, появляется уверенность в себе и моральная стойкость.

...Мой пациент работал завотделом крупного проектного института. Заболел. Лег в глазную клинику. Любопытны его записки: «...психическое состояние у большинства больных — тяжелое: они боятся «ослепнуть»...Меняется характер человека и отношения с окружающими... Мне кажется, что особенно переживают люди, привыкшие к аналитическому мышлению и самоанализу. Появляется нервность, бессонница, стремление «гнать время».

«...После операции продолжал лечение в домашних условиях. Состояние ухудшилось. Жена рано уходила на работу, сын — в школу. Дома я ничего не делаю. Магнитофон молчит, книги и телепередачи меня не интересуют... Моим собеседником стало... зеркало. В нем я вижу сникшего, потухшего человека, который был когда-то веселым и энергичным... Всматривался в свое отражение. Я должен ходить в черных очках, постоянно закапывать капли, глотать таблетки. Ох, как тошно от такой жизни! Понимаю, время лечит, но оно тянется неимоверно долго...»

Но вот записи уже иного рода: «Сотрудники, друзья, семья осуждали мое поведение, но проявили ко мне удивительную заботу и любовь, чуткость и теплоту. Возможно, осуждение моего упаднического настроения сыграло решающую роль в выходе из создавшегося тупика. Врач поликлиники заставила меня выйти на работу. Там моего выхода «не заметили», будто я и не отсутствовал. Было трудно поначалу входить в ритм, но мне поручили срочные дела, со мной советовались. Я — нужен!!!»

«...Огромная радость оттого, что, наверное, я заслужил такое отношение и внимание, охватила меня. Я все же смог оценить себя со стороны. И мне в этом помогли люди, с которыми многие годы я был рядом!»

Дорога в завтра

В закрытом рояле хранится вся музыка мира. Эмоциональность человека — это тоже нередко закрытый рояль.

Управлять эмоциями бывает сложно и трудно. Современная психотерапия «многолика» — она помогает раскрыть личность, корректировать характер и поступки в стрессовой ситуации, а при необходимости воспитывать и перевоспитывать эмоции. Она формирует сопереживание, доброту и душевное тепло человека...

Психотерапевт сталкивается с людской ранимостью, с неуверенностью, мнительностью и пассивностью. Пациенты часто говорят ему, что жизнь их сложилась бы по-другому, если бы была уверенность в себе, решительность, умение вовремя увидеть дорогу в будущее.

Человек всегда должен иметь ЗАВТРА — в этом смысл жизни...



МЭРАЙЯ КЕЙРИ:

ПОП-ДИВА 90-х

Весной 1991 года в нью-йоркском зале «Radio City Music Hall» состоялось вручение наиболее престижных в США наград в области поп- и рок-музыки — знаменитых «Grammu» за 1990 год. Компетентное жюри назвало «Лучшей новой артисткой года» Мэрайю Кейри. Претендентов на это звание было двое — Кейри и хард-блюз-роковая группа «The Black Crows». Победила Мэрайя.

В семье Кейри было трое детей. Мать, некогда певшая в Нью-Йоркской городской опере, чтобы заработать на жизнь, давала платные уроки вокального мастерства. Классический вариант музыки *соул*, а также *госпелз* оказали большое влияние на Мэрайю в ее становлении как исполнительницы... Едва окончив среднюю школу, девушка тут же начала подыскивать себе ангажемент на Ман-

хэттене, в районе клубов и театров. Однако получить ей удалось только место официантки. И все же мечту о поп-сцене Кейри не оставила — по вечерам обслуживая столики, днем она сочиняла песни и записывала их на магнитофон.

Красивой «подавальщице» нередко уделяли особое внимание клиенты, принадлежавшие к миру шоу-бизнеса. На такое внимание, быть может, и рассчитывала Мэрайя. Наконец в 1988-м ее как-то пригласили на музыкальную бизнес-вечеринку, где Кейри познакомилась с Томми Моттолой. За шесть месяцев до этого он стал президентом «CBS Records Group», одной из ведущих в звукозаписывающей индустрии Соединенных Штатов мегакорпораций. Воспользовавшись редким случаем, Мэрайя за светским разговором ненавязчиво предложила новоиспеченному пластиночному магнату демо-кассету с записями своих композиций. Возвращаясь домой, Моттола прослушал кассету в своем лимузине. И вернулся назад — вечеринка еще не закончилась, и Кейри была там. Ее судьба была решена.

Моттола переманил на фирму «Colambia Records», входящую составной частью в его «CBS Records Group», Дона Йеннера, который до этого «раскручивал» на фирме «Arista Records» певицу Уитни Хьюстон. Йеннер был назначен президентом «Коламбии» и вплотную занялся новой подопечной — на сей раз Мэраией Кейри. Ставку на подающую надежды исполнительницу решили сделать стопроцентную — в тот момент в «обойме» фирмы не было вокалисток, которые могли бы претендовать на серьезные позиции в национальном хит-параде США, тогда как у других фирм такие претендентки имелись.

Первым делом Йеннер пригласил в качестве продюсеров ее дебютного альбома Нараду Майкла Уолдена и Рика Уэйка, которые перед этим работали на «Arista Records» с Хьюстон, а Уолден продюсировал на той же фирме диск «Aretha» (1986) знаменитой Ареты Франклин. Под руководством опытнейшего хит-мейкера (создатель хитов) Уолдена и не менее хваткого Уэйка звучание композиций Мэрайи было отшлифовано в студии до такого качества, что о нем иначе, как «блестящее», и сказать нельзя. Ее от природы мощный с широким диапазоном голос обрел какую-то необыкновенную глубину и одновременно теплоту, даже интимность. Единственное, в чем дотошные критики могли бы упрекнуть пластинку Кейри,— в излишнем... совершенстве, точнее, в отсутствии натурального звука и вообще естественности, присущей «живому» концертному исполнению.

Вообще-то певица хотела, чтобы ее диск продюсировал некто Бен Маргулис, музыкант и поэт, с которым она уже давно сочиняла песни. Но ставка, как уже говорилось, оказалась слишком высока — «Коламбиа» во что бы то ни стало намеревалась выпустить на рынок идеальный альбом, ну а делаются такие альбомы по жестким законам поп-коммерции. Существовало, впрочем, опасение, что пластинка Мэрайи из-за чрезмерного вмешательства Уолдена окажется похожей на «слащаво-сентиментальные» (определение самой Кейри) записи Уитни Хью-

стон.. Опасение, к счастью, не оправдалось великолепие голоса невозможно было «законсервировать» никакой студийной шлифовкой.

Рекламная кампания перед выходом диска, названного просто «Mariah Carey», была развернута «Коламбией» с тем же размахом, по данным журнала «Rolling Stone», с каким в 1975-м эта фирма взялась «раскручивать» еще одну свою звезду — Брюса Спрингстина, однако во сколько именно это ей обошлось, выяснить дотошным журналистам так и не удалось. Но показателен следующий факт. В самом начале июня 1990-го «Коламбиа» добилась того, что Кейри стала участницей престижнейшего гала-концерта «The Arsenio Hall Show», устраиваемого Национальной баскетбольной ассоциацией США в первый день финальных игр. На представлении Мэрайя исполнила гимн «America The Beautiful», что является на подобных мероприятиях в Америке привилегией суперзвезд.

Впрочем, не прошло и двух месяцев после издания пластинки, как едва начавшая профессиональную карьеру двадцатилетняя дебютантка обрела статус поп-звезды национального масштаба. Ее восхождение на Олимп всеамериканского хит-парада оказалось чуть ли не молниеносным. 23 августа диск попал сразу в двадцатку лучших, заняв там 15-е место, а через две недели он замыкал уже тройку лучших. В тот же день, 6 сентября, лидером таблицы популярности среди пластинок-миньонов стала «Vision of Love» — с первой композицией из альбома, выпущенной на сингле.

Ну, а 4 октября хит-парад США возглавил сам альбом «Mariah Carey» и в последующие три недели удерживал эту позицию. В апреле прошлого года он стал четырежды «платиновым»... Удачными оказались песни с этого диска «All In Your Mind», «Love Takes Time», «I Don't Wanna Cry». И все же «Grammy» исполнительница получила во многом благодаря... видеоклипу «Vision of Love», снятому на основе главной хит-композиции. Причем сняты были две версии (одну забраковали), что обошлось «Коламбии», по некоторым данным, в 450 тысяч долларов.

...Полтора года Мэрайя Кейри вкушала сладчайшие плоды триумфального успеха своего дебюта и уже начала привыкать к мысли, что является поп-дивой 90-х, как назвала ее музыкальная пресса.

Однако и диву начали теснить в национальном хит-параде США другие певицы, кстати, более опытные, в частности Натали Кол и Бони Райт. И тогда поп-дива опять занялась студийной работой. На сей раз — без сверхопеки «Коламбии». Наконец осенью 1991-го фирма выпустила новый сингл Мэрайи — «Emotions», который занял второе место в американской таблице популярности.

Это была песня с ее второго альбома. Подтвердит ли он статус Кейри — статус поп-звезды национального масштаба? Время покажет...

Агентство «Астро Ньюс» — специально для «Смены».
Text: Lic Nalo Press. World

ЧИТАТЕЛЬ-«СМЕНА»-ЧИТАТЕЛЬ

«Усыновите меня вместе с мужем и ребенком...»
Многодетные СНГ, объединяйтесь!

Давно читаю «Смену», но пишу впервые. Нравится в ней все, начиная с писем читателей и кончая детективами. Очень удобен формат — всегда беру журнал в дорогу. Рекламировать больше боюсь: вдруг опять ограничат подписку.

О себе. Тридцать лет, образование высшее техническое, замужем, дочери пять лет, есть крохотная однокомнатная квартирка, неплохая (сравнительно!) зарплата, но жить очень трудно. Страшно подумать о том, что нас ждет. Политические лидеры вещают о том, что мы стоим над пропастью и уже одна нога занесена... А мы уже так давно падаем в эту пропасть! Кстати, уточнить бы, что это такое — голод? война? болезни? И что делают наши нынешние «вожди», дабы мы удержались над пропастью? И что делать мне? Лучше работать? Повышать производительность труда? Не знаю. Пока одно понятно: каждый должен позаботиться о себе сам. Можно запастись продуктами и одеждой, а лучше эмигрировать, так как на всю жизнь, даже укороченную благодаря чернобыльской аварии, не напасешься. Но выехать — тоже проблема. Нет родственников на «диком Западе», все проживают в стране «развитого социализма», то есть со мной висят над пропастью. И замуж я поторопилась, могла бы и в тридцать за какого-нибудь Майкла или Стива выйти. Так вот, у меня есть предложение. Пусть бы каждая семья из цивилизованного мира взяла шефство над нашей бывшей советской семьей, бывшей ячейкой коммунистического общества и не дала ей умереть от голода и холода. А лучше бы усыновила. Может, кто-то откликнется на мое письмо и захочет усыновить семью из трех человек? Хочется булки с маслом, а лимит масла на месяц мы уже давно съели!

ЛЮДМИЛА ДОМИНЕЦ,
Новополоцк

Меня заставила написать вам беда. Вы часто пишете о семейных отношениях, и я прошу вас, помогите мне и таким, как я. Я — брошенная жена. И хотя со дня нашей разлуки прошел год, я не могу забыть его. Когда-то была любовь — большая и светлая, и мне казалось, что она будет вечной. Родился ребенок, и это стало главным в моей жизни. Я не замечала, как тяжело было мужу, срывала на нем мелкие обиды, причиняла незаслуженную боль. И вот он не выдержал и ушел. Жил один, потом у него стали появляться другие женщины. Одну из них он полюбил и просил стать его женой, но она,

знаю, что у него была семья, не согласилась, хотя тоже любит его. Мы живем в селе, где все знают друг друга. Я каждый день вижу его, на выходные он приходит к сыну, но не ко мне. А я с каждым днем люблю его больше и больше. Вот уже год почти не сплю, а во сне вижу, что он вернулся. Хожу по нашему пустому дому, вспоминаю, как мы радовались, когда вместе переступили его порог. И вот опять ночь. Сын спит, а я сижу на кухне перед фотографией мужа и медленно схожу с ума. Я однолюб, и никто никогда мне его не заменит. Сколько же лет одиночества впереди! Я еще очень молода, но в душе — старуха.

Может, психологи посоветуют, как жить,— ведь я не одна такая. В нашей школе половина учителей матери-одиночки. Я много раз пыталась поговорить с мужем, но у него один ответ: «Я не люблю тебя, ты для меня чужая».

Не подписываюсь — не все ли равно, где я живу? Знакомые думают, что у меня все в порядке, многие даже завидуют — молодая, красивая, самостоятельная. На людях я смеюсь, даже пою, а дома плачу.

Что делать?

Брошенная жена

Я — многодетная, а значит, многобедная мать. Жизнь становится все тяжелее, в магазинах — пустые полки. Сама я росла обеспеченно и беспечно, а теперь на своем горьком опыте убедилась, как трудно тем, у кого много детей. Стыдно смотреть в глаза детям: не могу их досыта и вкусно накормить, хорошо одеть. Работаю не покладая рук, а концы с концами все равно свести не могу. Напечатайте мое письмо, может, кто мне напишет. Думаю, нам, многодетным, нужно объединяться и решать вместе наши проблемы.

Тамара Львовна КОЛПАКОВА,
472300, Темиртау,
ул. Димитрова, д. 32/2, кв. 22.

В № 7 «Смены» за прошлый год вы опубликовали мое письмо, письмо заключенного. Вы просто представить себе не можете, как я вам благодарен!.. Вы вернули мне веру в людей и в самого себя. Я даже представить себе не мог, что на свете так много добрых, бескорыстных людей. Благодаря вам я нашел себе друга, верного друга, а ведь я, честно говоря, ни на что не надеялся.

Дмитрий

«Смену» выписывал более тридцати лет. Журнал был интересен по содержанию, красиво оформлен. Теперь это невзрачная брошюра с плохими фотографиями, да и художник, видимо, насмотрелся американских фильмов ужасов. Одна мистика в голове. Но это не самое главное. Главное — сменилось содержание. Вместо обсуждения молодежных проблем — проповедь христианской религии. Человек всегда обращался к Богу, когда приходилось туго. Сейчас у нас все плохо. Кинулись за помощью к Богу. Если это заказ госаппарата, то мой голос не будет услышан. Если собственное решение, то... следует ли молодежному журналу уподобляться миссионеру? Не лучше ли добиваться рабочих мест для молодежи? Наши недуги можно лечить только работой, а не молитвой. Прощай, журнал!

В. П. ШТЕБЛЕР,
Челябинская обл.



ИВАН ПУШКАРЬ

УДАР

Свидетельства «ядерного заложника»



Осенью прошлого года в одной из центральных газет появилась публикация о событии, до последнего времени строго засекреченном — если, конечно, не считать короткой и маловразумительной информации ТАСС. Участники того события дали подписку молчать о нем в течение 25 лет. Один из них — Иван Сакович Пушкарь — живет в Киеве. Работает он заместителем главного инженера проекта в институте «Гипроворфь». До этого был заместителем управляющего строительным трестом, но та работа требовала постоянных командировок, а здоровье у нестарого еще ветерана давно пошатнулось.

Вскоре после сентября 1954 года...

...После окончания Остерского техникума сельскохозяйственного строительства на Черниговщине я был направлен на работу в Тернопольскую область. Но уже через два месяца, в октябре 1953 года, меня призвали в армию (призывы на срочную службу проводились тогда только осенью).

Попал я в гвардейскую гаубичную артиллерийскую орденов Богдана Хмельницкого, Боевого Красного Знамени Речицкую бригаду РВК (Резерв Верховного Командования). Фамилия моя — Пушкарь — вполне соответствовала роду войск.

Среди однополчан — призывников 1953 года я один имел среднее образование. И, возможно, поэтому еще до принятия присяги был зачислен во взвод топографической разведки.

Бригада наша дислоцировалась в районном городке Каменка-Бугская Львовской области. В апреле 1954 года мы выехали в летние лагеря, а в середине июня поступил приказ, срочно возвращаться на зимние квартиры. О причине солдатам не говорили.

Ходили слухи — наша бригада должна участвовать в каких-то очень крупных воинских учениях. Началась подготовка.

Всем будущим участникам устроили тщательный медицинский осмотр. Больных или болевших чем-либо раньше оставили в Каменке-Бугской или перевели в другие части. Их заменили здоровыми, физически крепкими бойцами. Я, например, в то время имел разряды по боксу, вольной борьбе, легкой атлетике.

Бригаду укомплектовали исходя из нормативов военного времени.

Американские «студебеккеры» заменили на «ЗИС-151», другие автомашины — на новые «ГАЗ-69», «ГАЗ-67». В общем, материальная часть была полностью обновлена. Правда, гаубицы остались старые, но их срочно покрасили.

Всем выдали новое полевое обмундирование — от иголки до шинели. Личное табельное оружие солдат и сержантов — карабин СКС и автомат Калашникова — считалось в то время строго секретным. Переносить его за пределами части разрешалось только в чехле. Потеря отстрелянной гильзы, не говоря уж о патроне, рассматривалась как ЧП. Карабины и автоматы были новые, они поступили год назад.

Службы укомплектовали новыми измерительными приборами и оборудованием. И это было сделано в кратчайшие сроки. По всей вероятности, на бригаду работал весь Прикарпатский военный округ.

И вот настал день, когда мы погрузились в эшелоны — на бригаду их потребовалось семь — и отправились на восток. Нашим составам давали «зеленую» улицу, тем не менее штаб бригады и взвод боевого обеспечения прибыли на место только через 5 суток.

Выгрузились на каком-то разъезде через несколько сотен километров после Куйбышева. Пересели на автомашины и колонной двинулись на восток. Остановились за речушкой Самаркой.

Палаточный лагерь растянулся в открытой степи на много километров. Здесь стояли подразделения разных родов войск и военных округов. Палатки стандартные, армейские — на 11 человек, все новые. Сразу начали работать солдатские полевые кухни. Кормили отлично.

Жара стояла неимоверная. Земля от зноя потрескалась. Но мы, молодые, крепкие ребята, без ропота все переносили. Воду нам привозили в автоцистернах, ко-

мандование очень волновалось: не вспыхнут ли кишечно-желудочные заболевания? Принимались профилактические меры, и у нас все обошлось. Несмотря на страшную жару (43—45° в тени), мы чувствовали себя бодро. В день приезда объявили: предстоят крупные учения с применением атомного оружия. Будут присутствовать министры обороны дружеских стран (Варшавского Договора тогда еще не существовало). Тогда-то и стало понятно, почему заменили технику и одели всех «с иголочки»...

Позже, где-то в конце июля, с каждым в отдельности «проводил работу» офицер СМЕРШа. Учения очень серьезные, говорил он, имеют большую государственную важность и потому сверхсекретные. Что бы с нами ни случилось, мы не должны говорить об увиденном, пока не минует 25 лет. Взяли у нас подписку о неразглашении государственной военной тайны. Подготовкой к учениям артиллерийских воинских частей руководил генерал-полковник артиллерии В. Казаков. Общее же руководство осуществлял первый заместитель министра обороны СССР Маршал Советского Союза Г. Жуков.

Я был самым молодым во взводе по возрасту и сроку службы. Как говорят, «салага». Но слова «дедовщина» мы тогда не знали... Ко мне все относились доброжелательно, оказывали всяческую поддержку. Во взводе царило дружелюбие, товарищество, стремление прийти друг другу на помощь.

Два месяца шла тщательная подготовка: зарывали в землю боевую и вспомогательную технику, проводили тренировочные учения. Основной лагерь расположился в 20—22 км от намечаемого места взрыва атомной бомбы. Местность учений была выбрана пересеченная — перелески, поля, овраги, балки. Удивляло, что огневые позиции разместились на пахотных землях рядом с небольшими поселками. Среди дозревающей пшеницы закапывались орудия, минометы, танки, бронетранспортеры, САУ, автомашины и другая техника. Врывались в землю наблюдательные пункты, делались противоатомные укрытия. Хлеб погибал... Мне, сыну крестьянина, было дико и больно смотреть на это кощунство. Я спрашивал у офицеров: «Почему так делается?» Мне разъяснили, что государство возместит колхозам убытки.

Кстати, те две деревни, которые были потом сметены с лица земли атомным взрывом (людей перед этим эвакуировали), восстановили военные строители. Строительство началось буквально на второй день после взрыва.

Зарывались в землю тщательно, глубоко. Едем в кузове автомашины, всматриваемся вдаль — вроде пустое поле, а там тысячи орудий, минометов, бронетранспортеров, танков, автомашин и другой техники. Все это делалось вручную. А грунт был тяжелый. 20—30 см — закаменевший чернозем, ниже — известняк. Без лома и кирки не выбросишь и кубического дециметра такого грунта. У солдат появились кровавые мозоли на руках. Солдатам топовзвода также пришлось крепко поработать физически: спрятали в землю свою и штабные автомашины, вырыли и оборудовали наблюдательные пункты и противоатомные укрытия для штаба бригады, укрытие для личного состава взвода.

Но основная наша работа была — подготовить бригаду к боевой артстрельбе, привязать к местности огневые позиции, наблюдательные пункты бригады

и дивизионов, дать основное направление огневым позициям и наблюдательным пунктам.

При разговоре с танкистами пришлось услышать, что танки, которые были зарыты в землю, вели артстрельбу по закрытым целям — это делалось впервые в мировой практике. По окончании артподготовки танки пошли в прорыв, не минуя эпицентра взрыва бомбы.

В 16—18 км от места предполагаемого взрыва построили трибуну — с нее министры обороны дружественных стран и видные военачальники наблюдали за ходом учений после взрыва. Рядом с трибуной вырыли надежное ПАУ (противоатомное укрытие).

В начале сентября все было готово. Наш взвод вместе с другими взводами боевого обеспечения расположился на опушке небольшого лесочка. Расстояние до места взрыва в пределах 7—7,5 км.

Каждый день наблюдали одну и ту же картину. Утром, между 9—10 часами, высоко над нами пролетал четырехмоторный самолет, сопровождаемый МИГами. Самолет пролетал в направлении с юго-востока на северо-запад. Наш фронт был расположен с востока на запад.

...Учения откладывались. Говорили — не соответствует погода. Вполне возможно, ветер дул не с той стороны. Стояли солнечные, сухие, жаркие дни.

И вот наступило 14 сентября. В девять утра войска получили команду «Уран» — начало учений. По многократно отрепетированной схеме взвод занял место в окопе размером 3,5×1,5 м, глубиной до 2 метров. Сели вдоль стенок на ранее приготовленные ящики от снарядов. Мое место было у торцевой стенки, левым боком к взрыву. Ждем, разговариваем. Переживаний, чувства страха — никаких.

Через 20 минут последовала команда «Молния». Выполняя ее, мы надели противогазы со вставленными черными пленками на очки. Через них почти не просматривалось даже солнце: пленки вставлялись только для защиты глаз от светового излучения.

Закрыли глаза, сидим, ждем. Слышим привычный звук летящих самолетов. Прошло еще несколько минут (атомная бомба была взорвана в 9 часов 33 минуты), и вдруг все почувствовали ослепительно яркую вспышку. А через 18—20 секунд раздался страшной силы взрыв — вернее два почти одновременно, одинаковой, неимоверной силы. Казалось, лопнули барабанные перепонки (одна у меня действительно лопнула в левом ухе), как будто по прислоненным прямо к уху листам железа изо всей силы ударили молотом. Через одну-две секунды до нас дошла ударная волна. Закачалась земля, пахнуло жаром, полетели всевозможные сучья, комья земли, пыль и листья.

Снимаем противогазы, выскакиваем из укрытия. Я почувствовал боль в левом ухе, из него слегка потекла кровь (как я уже говорил, сидел левым боком к взрыву). Я не придал этому значения. Впоследствии специалисты поставили диагноз: поражение рецепторных клеток внутреннего левого уха. Вот с тех пор я стал глухой на одно ухо и обзавелся беспрерывным шумом и звоном в левой части головы. (Позже я много ходил по поликлиникам, больницам, институтам. Заключение однозначно — лечению не подлежит.)

Увидели потрясающую картину. На наших глазах рос, перекатываясь, переливаясь разными цветами, атомный гриб. Он увеличивался, становясь все зловещее. Его

высота достигала 13 км. Размер этого гриба почти в два раза перекрывал расстояние от нас до него.

Погода в то утро стояла солнечная, безветренная. И вдруг после взрыва резко изменилась. Поднялся очень сильный ветер. Он дул параллельно фронту — на восток, в сторону Казахстана. Гриб начал клониться, терял форму, превращался в облако, ветер отгонял его от нас.

Что нас еще поразило — новые армейские палатки были порваны, порезаны как бритвой сверху донизу в местах растяжек со стороны взрыва.

Сразу после взрыва атомной бомбы началась артподготовка, которая длилась минут 30. Артподготовку вели орудия и минометы разных калибров, «катюши», САУ — самоходные артиллерийские установки. Огонь вели и танки с закрытых позиций. Такой плотности артсредств на километр фронта мировая практика до этого не знала. Она была больше, чем при взятии Берлина!

Как только закончилась артподготовка, авиация стала штурмовать позиции «противника». В прорыв пошли танки, мотомеханизированные подразделения пехоты. Танкам и мотопехоте «противник» сопротивления не оказал — считалось, что он на данном участке фронта полностью уничтожен. Люди проходили через зону, пораженную ядерным взрывом...

Спустя 15—20 минут дали команду «Вперед!» и нашему топовзводу. Мы сели в «ГАЗ-63» и направились к месту взрыва. Вокруг — никого. Мотопехота и танки ушли вперед. Авиация прекратила штурмовать позиции «противника».

По мере продвижения картина все страшнее. Впереди все дымится, чувствуется запах гари, тяжело дышать.

Артподготовка производилась по заданным участкам первой позиции «противника». Нам было дано задание нанести на планшеты воронки от взрывов снарядов и мин на прямоугольнике 300х200 метров. Он располагался в центре фронта «противника». Такую работу — определение плотности попадания снарядов — наш взвод выполнял для того, чтобы судить в целом об эффективности артиллерии на учениях. Во время войны, думаю, подобная работа не проводилась.

Плотность попадания снарядов и мин разных калибров — фантастическая. На квадрат 10х10 метров — до 12—14 снарядов. Вот уж где опровергалось бытующее мнение, будто второй снаряд в воронку не попадает. Здесь таких попаданий оказалось много. В траншее размещались манекены солдат «противника». Старое солдатское обмундирование перекрасили в цвет формы фашистского солдата, заполнили сеном. Манекены выставили в траншее через каждые 4—6 метров. После артподготовки они были иссечены осколками, частично привалены землей.

Взвод работал на площадке дотемна. Устали невероятно, кружилась голова, тошнило. Приборов по измерению радиационной обстановки у нас не было. Проверка на загрязнение людей, одежды, приборов радионуклидами не делалась и, следовательно, работ по дезактивации не проводилось.

Для доработки и сдачи материалов в штаб учений заехали в г. Тоцкое — небольшой районный центр Оренбургской области (тогда — Чкаловской), в 12—14 километрах на юго-запад от места взрыва. Улицы города освещались слабо, но все же можно было разглядеть — выбиты стекла в окнах, стены потрескались, осыпалась

штукатурка, с некоторых зданий сорвана кровля. В помещениях, где мы дорабатывали материалы, пооблетела штукатурка, стекла выбиты, на стенах и потолках внушительные трещины.

На второй день взвод снова ехал в район боевых позиций «противника» — кое-что уточнить и окончательно доработать материалы. Мы решили поближе посмотреть эффект атомного взрыва. Опасность поражения атомной радиацией не пугала: в те времена о ней почти не говорилось. В армии считали, будто атомное оружие поражает в основном ударной волной и световым (тепловым) излучением. Мы не имели специальных личных средств защиты, но нас никто не остановил, не предупредил.

Перед нами открылась ужасная картина. Стоял специфический смрад. Местами тлели еще очаги пожара. Никто ничего не тушил. Деревья, кустарники вокруг сгорели. По разные стороны от места взрыва бомбы дымились разрушенные до основания и сожженные две небольшие деревни.

Солдаты и офицеры в противогазах и спецодежде собирали и грузили в специально переоборудованные машины несчастных животных — обожженных, слепых, живых и мертвых. Страшное зрелище...

Танки, самолеты, орудия и минометы, САУ, автомашины, бронетранспортеры и другая военная техника разбита, покорежена, разорвана, разбросана. Что могло гореть — сгорело; металл оплавился.

Неделей раньше, проезжая по этим местам, я видел деревянные ангары, капониры, блиндажи, окопы, траншеи, убежища, сделанные по всем правилам фортификации. После взрыва все исчезло, сгорело, сровнялось с землей. Увидели только несколько обугленных стволов деревьев. Работавшие там военные объяснили, что бомба взорвалась именно над этим местом.

Я уже говорил, что звуковой удар после взрыва был неимоверной силы и двойной (дуплетом). Оказывается, первый из них — от взрыва бомбы, второй — от удара волны о землю. Звуки одинаковой силы.

Бомбу взорвали на высоте 350 метров: воздушный взрыв ядерного оружия мощнее наземного. Сброшенная с высоты 10 км, бомба отклонилась от расчетного места всего на 40 метров. По мощности она была эквивалентна 60 000 тонн — или тысяче вагонов! — тротила. Калибр атомной бомбы в то время: эквивалент 5 тыс. тонн тротила — малая; 50 — средняя; 100 — крупная.

...В 60—70-х годах мне приходилось бывать на переподготовке (срочную воинскую службу я закончил мл. лейтенантом: экстерном сдал экзамены на офицера запаса и вместо 3 лет служил 2 года). Вот тогда неоднократно смотрел строго секретный документальный фильм о применении и действии атомного оружия. Показывали события тех учений. И в этом жутком фильме исполнителями человеческих ролей были мы. Пускай мы остались за кадром, но на себе испытали тот взрыв, а его последствия испытываем и сейчас. Некоторые из-за ядерных учений преждевременно ушли из жизни...

Через два дня офицеров привезли в район взрыва. Им показали последствия учений в целом. В тот же день, 16 сентября, после неимоверного продолжительного зноя пошел долгожданный дождь. Но он не мог смыть те следы, которые оставила атомная бомба...

Свой долг перед Родиной и партией, как тогда было принято говорить, бригада выполнила на «отлично». Настроение было приподнятое.

Домой мы ехали так же, как и на учения,— поэшелонно, дивизионами. Эшелон штаба бригады и служб боевого обеспечения шел через Белоруссию. Остановились на какой-то станции. На площади у вокзала был митинг. Играл военный духовой оркестр. На митинге выступали как гражданские, так и военные. Вспоминали о войне, об освобождении этих мест. Однако, где мы были, откуда ехали, что там делали, об этом на митинге умалчивалось.

Многие наши офицеры получили за те учения повышение в званиях и должностях. Мне присвоили сержантское звание, назначили на должность помкомвзвода топографической разведки и предоставили кратковременный отпуск. Последнему я был особенно рад, так как призывался в армию не из родных мест, родители меня не провожали. Поэтому моему приезду обрадовались вдвойне...

Сообщение ТАСС от 17 сентября 1954 года было кратким: в СССР впервые в мире проведено испытание одного из видов атомного оружия. Цель — изучение его действия. Дальше сказано: «При испытании получены ценные результаты, которые помогут советским ученым и инженерам успешно решать задания по защите от атомного нападения». Это правда, но не полная.

В сообщении ТАСС — ни слова о том, что атомное оружие было взорвано на воинских учениях с участием сорока четырех тысяч человек. Подобных испытаний никогда и нигде не проводилось. Это был наистрашнейший эксперимент XX столетия.

Нас сделали подопытными кроликами. Даже хуже! Кролики, побывавшие в зоне атомного взрыва, обследовались. А люди?! Они до сего времени забыты. Все держалось в тайне. Молчали все, кто был к ней причастен. Только теперь, спустя 38 лет, над этой тайной понемногу рассеивается туман.

Здоровые, выносливые парни, тщательно отобранные для «эксперимента», стали жертвами уральской «Хиросимы», ядерными заложниками смерти. «Ради интересов государства» они рисковали жизнью, калечили себя, сокращали свою жизнь, не зная того.

Но государство-то знало! Как же оно выполнило свой долг по отношению к людям? Увы, на этот вопрос ответа нет по сей день.

К сожалению, я не поддерживал связи с сослуживцами. Знаю только, что многих уже нет в живых. Причиной преждевременной смерти, я уверен, послужило то зловещее учение в 1954 году.

Я же не только оглох на одно ухо и заполучил звон в голове. На пальцах ног слезли ногти. Тело местами покрылось бурыми, зудящими пятнами. Позже пятна сошли, но не полностью. Часто вынужден ложиться в больницу. Не так давно пробыл там 3 месяца. Чудом спасли правую ногу. Месяц делали уколы через каждые 3 часа днем и ночью. Находясь в больнице четверть года, проглотил более 2500 таблеток. Перенес инфаркт. Врачи говорят, что многие мои болячки — последствия событий 1954 года. (Сейчас о тех учениях я им рассказываю.)

Много раз обращался в Министерство обороны СССР и другие инстанции с просьбой официально подтвердить мое участие в атомных учениях. Однако приходили бюрократические ответы

на райвоенкомат. Райвоенкомату предписывалось разъяснить мне, что ничего особенного не случилось,— мол, работай.

В феврале 1991 года Верховный Совет УССР принял Закон «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». К статусу таких лиц отнесены также граждане, принимавшие участие в воинских учениях с применением ядерного оружия. Это дает нам некоторые льготы. Но ведь указанный Закон действует лишь на территории Украины!

После двухлетней переписки я получил из Центрального архива Минобороны подтверждение о моем участии в описанных событиях. Но о судьбе моих сослуживцев по-прежнему ничего не знаю. Может, кто откликнется? Мой адрес: 253166, Киев, проспект Ворошилова, д. 13а, кв. 34.

ОТ РЕДАКЦИИ. Иван Сакович добился своего, как явствует из последних строк его письма. Но удовлетворения не испытывает. «Я-то добыл нужную бумагу из военного архива. А мои сослуживцы? Как им живется сегодня? У всех ли хватило сил и нервов добиться справедливости?» Вот что сегодня мучает Пушкаря.

Этой публикацией, надеемся, мы будем содействовать восстановлению справедливости.

ЧИТАТЕЛЬ•«СМЕНА»•ЧИТАТЕЛЬ

«Исцелился сам. Хочу помочь другим...»

Три года назад в автокатастрофе я получил тяжкие повреждения: переломы костей со смещением, центральный вывих левого бедра и голени с разрывом наружной боковой и передней крестообразной связок; сотрясение мозга, повреждение левой почки, правого легкого, потерял почти два литра крови. В шоковом состоянии привезли меня в реанимационное отделение больницы. По заключению врачей ждала меня неподвижность. Тогда же я понял, что скудная оснащенность наших больниц специальными приспособлениями не позволяла полностью восстановить функции суставов и мышц людям, пережившим катастрофы, травмированным спортсменам, инвалидам. Не буду рассказывать о том, что пережил, но твердо решил — не сдамся. Конструктор по специальности, взялся я за создание комплекса устройств для поэтапных восстановительных занятий, из которых самым значительным стал многофункциональный складной тренажер «Универсал» со множеством сменных насадок. В сложенном виде он занимает 0,26 кв. м, в развернутом — 1 кв. м и может быть установлен в комнате, кабинете, холле, каюте и т. д. У меня тренажер смонтирован в девятиметровке, и, как вы, надеюсь, поняли, я теперь здоров. Тренажер очень помогает и при занятиях атлетической гимнастикой.

Изобретение мое зарегистрировано в Государственном реестре изобретений, выдан патент. Проектная документация на «Универсал» и различные устройства есть, имеются и опытные образцы, есть возможность лицензионных договоров. Помимо тренажера, созданы и проверены на практике устройства и приспособления, помогающие проводить реабилитацию в ранней стадии восстановления, такие, как «спинодержатель», «груз на стопе», «подпятник», «голеностоп», «складные брусья» и т. д.

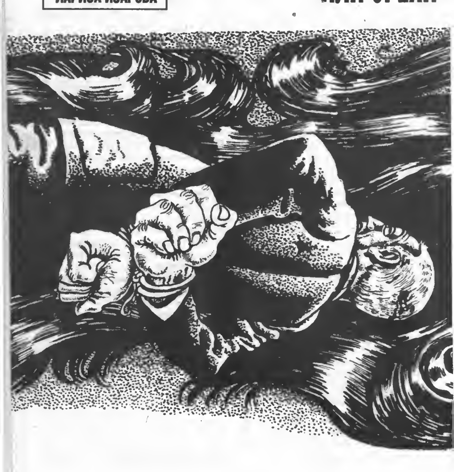
Я обращаюсь к руководителям производств с предложением (тем более что сейчас в связи с конверсией многие заводы ищут заказы): взявшись за изготовление тренажеров, вы и прибыль получите, и благое дело сделаете. Звоните по московскому телефону 214-04-45 (код 095) с 9 до 14 часов. Консультацию можно получить и по адресу: 125057, Москва-57, ул. Острякова, д. 6, строение 2, «Атлетический союз» (понедельник, среда, пятница, с 16 до 19 часов). Предложения от изготовителей и заявки на тренажеры (как от частных лиц, так и от организаций) принимаются по адресу: 125057, Москва-57, а/я 69, «Атлетический союз» — «Тренажер «Универсал».

ВАЛЕРИЙ СМИРНОВ, Москва

ЗАПОНКИ

ИЛИ ОРЕХИ

ЛАРИСА ИСАРОВА



ИМПЕРАТОРА,

ДЛЯ БЕЗЗУБЫХ



Рисунки БОРИСА СОПИНА

ПРЕДЫСТОРИЯ

С пятнадцати лет моя фигура назойливо лезла в глаза мужчинам. Мне не давали проходу представители так называемого сильного пола с восточной окраской. Пышный бюст в сочетании с тонкой талией, длинными ногами и вполне округлыми бедрами да еще рыжие волосы и зеленые глаза.

По знаку зодиака я Скорпион, по году — Лошадь, по матери — еврейка, по отцу — русская. Из-за такой анкеты на мне не решались жениться посольские сынки, и меня не направили на работу в Интурист, хотя я с отличием окончила западное отделение филфака МГУ. В качестве отступного за «неудачную» мать мне предлагалось переспать с парой чиновников или с одним комсомольским функционером. Я фыркнула, «как дикая кобылица» (выражение моей любимой подруги Алки), и оказалась в английской спецшколе.

Пять лет я «отслужила» женой сокурсника Гриши, похожего на ежа и доходившего мне до плеч. Он обожал жаловаться на житейскую беспомощность, был чемпионом по агниам и считал себя гением.

Я вышла за него замуж, прописала у родителей, а когда отец бросил мать и, женившись на иностранке, укатил в Австралию, мы разменяли квартиру. Нам досталась двухкомнатная в пятиэтажке, и я терпеливо содержала своего мужа на учительскую зарплату, пока он, освобожденный по зрению от армии, писал «гениальную» антиутопию, пренебрегая «хлебной журналистикой». А когда пришел успех, он сказал, что «жизнь слишком длинна для одного чувства». Мы вновь разменяли квартиру, и я оказалась в коммунальном раю с богомольной старухой и веселым алкашом.

Зарплаты совковой учительницы хватало только на еду, и я злилась, когда видела, как «прикинуты» бывшие сокурсницы, не вылезавшие из-за бугра.

Несмотря на внешность и прекрасное знание английского, мне на родине ничего не светило. За любой прорыв из школы в аспирантуру, в переводчики, в гиды требовалось расплачиваться натурой, а я считала, что если торговать собой, то за «мильон».

Работу в спецшколе я ненавидела. Вначале что-то придумывала, устраивала даже спектакли с учениками, но со мной обращались, как с прислугой, и администрация, и родители. Хвалили снисходительно, ценили с иронией; я была одета хуже молодых кобылиц и прыщеватых юнцов и не могла сорить деньгами ни родительскими, ни своими.

С матерью близость кончилась много лет назад, когда я поняла, что она из фанатичек, думающих о благе всего человечества, а не о дочери в штопаных колготках. И хотя, работая в издательстве «Искусство», она дружелюбно общалась даже с дочерью Генсека, от нее мне ничего не перепадало, кроме нравоучений в духе «шестидесятников» за мой прагматизм. А самое смешное, что она отказалась уехать, несмотря на все просьбы моего отца. Она говорила: «Это — моя родина! Что будет со всеми, то и со мной! Если начнутся погромы, пусть убивают, но от руки рус-

ских это приятнее, чем от зарубежных террористов». Уехав в Австралию, отец прислал мне приглашение, очень прохладное. Он и дома не отличался щедростью, хотя имел немалые бабки как профессор-отоларинголог. За бугром он быстро открыл клинику, но писал, что устроиться там среднему человеку непросто...

В общем, после развода с Гришей я осталась, как говорится, «голым человеком на голой земле».

Ни мечтаний, ни идеалов, ни надежд. Одно раздражение, как у миллионов моих соотечественниц. Только мне не надо было содержать мужа, а он, к счастью, не наградил меня ребенком.

ЛЮБОВНИКИ

Первое время после развода коллеги усиленно меня сватали.

Предлагались либо маменькины сынки с ранними лысинами и застарелыми гастритами, либо старые холостяки со вставными зубами, готовившие себе нянек или сиделок, либо чужие мужья, согласные «радовать» собой на пару часов. Этих особенно устраивала моя комната, о которой доносила разведка приятелей и приятельниц.

Каждое очередное знакомство кончалось стандартно. Проводы до дома, чаще на метро, чем на такси, просьба о чашечке чая и вороватая попытка раздеть меня.

О браке никто не заикался. Как объяснил один иногородний инженер, я ничего не могла дать, кроме прописки, да и внешность имела опасную, притягивающую неприятности.

Но я не переживала. Пять лет ушло на роль жены-любовницы, жены-прислуги, жены — тягловой лошади, и я считаю, что отработала достаточный срок «семейной» каторги.

А теперь я стояла на распутье, поджигаемая обостренным самолюбием. И потому не обиделась, когда любимая подруга Алка предложила познакомить меня со своим «боссом», профессором-гинекологом из Четвертого управления.

— Учти, вдовец, есть квартира, дача, машина...— Раскатывая тесто на вареники, Алка сообщала подробности телеграфным стилем.— Может, и женится, хотя сначала снимет пробу...

Алка славилась своими варениками с юности. Она и сама была похожа на вареник. Худые руки и ноги и очень мясистая часть от шеи до бедер как спереди, так и сзади. Зато головка ее вызывала симпатии и женщин, и мужчин. С черными вьющимися кудряшками, с коротким носом, круглыми глазами и губами, похожими на букву «о», она казалась сверхпростодушной и кукольно-бесхитростной, хотя на самом деле была практична и трезва. Ее муж работал на «скорой» сутками, и она часто приводила к себе любовников, оправдываясь, что он устает и не тянет как мужчина. Алка никак не могла вырваться из консультации, куда попала по распределению после мединститута, и мечтала об ординатуре. Потому, видимо, и предлагала меня своему профессору в качестве своеобразной взятки.

Я решила вести себя кротко, лишь завлекательно поглядывала на лысого толстяка с тремя подбородками и помалкивала.

— Вы любите картины? — спросил он тоиким бабьим голосом.
— Очень.
— Я собираю русскую живопнсь 20-х годов. Не хотите заглянуть?..
Я стоически терпела его влажное копошенне на моем бедре.
— Угощу «Мартелем». Вы пили его хоть раз в жизии?
— Пнла.
— Может, поедем сразу... Она не обидится... Ордииатура при Четвертом управлении дорогого стоит.

Конечно, ценой всяких ухищрений можио было его распалить. Он был старше лет на тридцать. Но меия докоиали коричневые пятна на его вороватых пальцах, похожих иа несвежие сардельки, и его убежденность, что ему все позволено.

И я слиняла, отплевываясь, как от тухлого ореха.

Потом был бывший друг бывшего мужа, положивший на меня глаз еще во время моего замужества. Мие нравился его цииизм. Сначала ои бешено прорывался в Союз писателей, публиковал лакейскне статьи о разиых секретарях при литературе, воспевал их прonзведення, как Гомер подвнги Одиссея, а потом, прорвавшись, занялся общественной деятельностью. Вошел в правление Дома литераторов, доставал продукты для буфета ценой дефицитных бнлетов на концерты Высоцкого н Окуджавы, а позже стал руководить молодымн писателями, оставаясь центристом, покусывая старнков — пнсательских функционеров, левых публицистов н правых славянофилов.

Как-то он заскочил ко мне с бутылкой водки, похвастал, что «гребет башли со всех паршнвых овец сразу», сделал на кухне тосты нз черного хлеба, намазав его шпротным паштетом н толченым чесноком. Все это запек на сковородке соседки, старухи въедливой, религиозной н остроносой. Но его оиа простила, даже похихикала, пробуя «редакционные отбивные»; он обожал прндумывать особые названия для любой еды, которую сочинял на бегу.

В молодостн Марат пил по-чериому. Его выгнали три жены, он ходил в кожаной куртке н ковбойках, потому что их можно долго не стирать, и хотя не отличался красотой, долговязая сутуловатая фнгура его сохраняла определеиную привлекательность, как н лицо с большнм красноватым носом н маленькими умными глазкамн усталого слона.

— Слушай, Рыжая, а почему бы нам ие попробовать...— сказал ои мне, когда мы доелн его тосты н допили водку.— А вдруг я тебе понравлюсь...
— А если нет?
— Не попробуешь — ие узнаешь...
— Перетопчешься, все вы одинаковы...
— Не скажи... Я веселый в постели. Ваиьку валяю до полной отключки...

Он действительио отличался большими сексуальными возможностями не в пример бывшему супругу, но слишком восхищался собой, постоянно отмечая вслух свою иеутомимость. В промежутках он успевал рассказывать аиекдоты, курить, острить, с видом гурмана хвалить и мои жаркие достоинства. Но меня от него

«укачало», и я стала допускать его к себе не чаще чем раз в неделю.

Марат являлся с продуктами, оккупировал кухню, выпивал с алкашом дядей Ваней, угощал бабку Ксению и, обаяв всех, вносил в комнату поднос с неожиданными закусками. Он называл это «наши междусобойчики», больше пил, чем ел, но хвалил мой аппетит, заявляя, что только такие женщины полноценно работают в постели.

О своих делах говорил вскользь, но всегда оптимистично, презирая и друзей, и врагов, и казался мне бродячей собакой, мечтающей о хозяине с твердой рукой и командирским голосом. Он сумел войти в мою жизнь, являлся чаще всего в субботу, и мы валялись в постели до середины воскресенья. Он приносил мне завтрак, умолял, чтобы я не одевалась, все рассматривал «натюрель», курил и сыпал пеплом.

И однажды сказал:

— Слушай, такой телке грех тратить время на меня. Хочешь, я познакомлю тебя с мужиками, которые ничего не пожалеют за этот круп?! — И похлопал меня по бедру.

Я уже начинала привыкать к его заботе, ненавязчивой и легкой, и сначала восприняла такое предложение, как глупую шутку. Постепенно он все откровеннее рылся в моей сумочке, конфискуя часть денег за добываемые продукты.

— За приготовление — цени — я денег не беру...

— А за остальные услуги?

— Как румынский офицер, я радую дам бесплатно, но от сувениров не отказываюсь...

Мне было его жалко. Он постоянно был на вторых ролях, хотя видел себя премьером.

Он еще раз предложил познакомить меня с денежными мужиками.

— Тебе хочется стать моим сутенером? — спросила я.

Он облизнул тонкие влажные губы.

— Не кантуйся... Нам хорошо вместе, но тебе нужна достойная оправа, которую бедный журналист никогда не заработает...

— А кандидаты богаты?

— Крутые советские миллионеры...

— Знакомь,— сказала я, посмеиваясь.

Однажды он привел ко мне какого-то магометанина. Я так и не запомнила его полное имя: Юсуф ибн... Из Дагестана. Старый, бородатый и в папахе при европейском костюме...

Мы выпили, посидели, и Марат быстро увел первого кандидата, поняв, что номер не удался.

Вторым оказался Кооператор с прекрасными мускулами и туповатым лицом. Он был весь в «фирме», шевелил пудовыми плечами под роскошной курткой, кажется, с пуленепробиваемыми пластинками, не мог связать двух слов, и от него исходила опасность. Я кожей почувствовала эти колючие токи, а потому постаралась сверх меры выглядеть засушенной и унылой. Ссутулилась, затянула волосы в смешной шиш, надела очки с толстыми стеклами, которые у меня забыла мама, отчего чуть не

перебила все рюмки, потому что ни черта в них не видела, и еще начала заикаться...

Марат злился. Кооператор скучал, поигрывая плечами, а я «строила дурочку», пускавшую слюни при виде такого «героя». Я говорила с придыханием, что обожаю сильных мужчин, что готова лежать с таким в постели сорок восемь часов подряд, что хотя мною обычно мужчины не интересуются, но это их ошибка, ведь мне только сорок лет (я прибавила десять), я еще вполне ничего, хотя и болею часто радикулитом, гриппом и псориазом...

Кооператор все свирепее смотрел на Марата, а я злорадствовала, представляя их разговор на улице.

В третий раз Марат привел Карена, маленького седого армянина с короткой шкиперской бородкой, похожего на актера Жана Габена.

Он вел себя вежливо, уважительно, спросил о спектаклях, которые я видела, о выставках, поинтересовался, что я читала из новинок. И хотя он не разглядывал мою конуру, мне показалось, что он все обсчитал, как техник-смотритель.

А потом они ушли. Марат очень суетился, сгибался к нему, что-то спрашивал, как нетерпеливая девица, мечтающая быстрее потерять невинность. Но Карен даже не попросил мой телефон.

И, если честно, меня это разозлило.

Однако на другой день возле школы меня ждала черная «Волга». Карен был за рулем и пригласил посидеть в «маленьком кафе». Мы подъехали к валютному кафе на Садовом кольце, прошли к угловому столику возле окна, завешанному несколькими тюлевыми шторами, создававшими странный оптический эффект, когда теряется представление о времени...

Подбежал официант, похожий на рождественского ангелочка, накрыл столик, не задавая вопросов, разлил вино в узкие бокалы. Карен сказал мягким, чуть гортанным голосом:

— Вы меня устраиваете. Я выяснил, что вы здоровы, энергичны, честны...

— Оперативно.

— Нет времени на сантименты, дорогая. Итак, условия: я поселяю вас в однокомнатной квартирке в центре Москвы, обставленной по моему вкусу. И через год, если мы поладим, обменяю ее на вашу комнату...

В этом человеке было много того, что Алка называла «мущинским». Я посмотрела в его твердые холодные глаза, и сходство с Габеном растаяло. Ни доброты, ни сострадания они не выражали.

— В Москву я приезжаю дней на десять, раз в два-три месяца. Это время будете при мне секретарем, стенографисткой, машинисткой. Кстати, надо оформить вас в этой должности через профсоюз домашних секретарей и домработниц. Зарплату определим небольшую, чтобы не платить большой подоходный...

— Значит, я должна буду во время вашего пребывания в Москве еще и стирать, и убирать?..

— Обижаете...— металлически засмеялся мой будущий шеф

и любовник.— Вам придется освежить знания языков, получить автоправа, освоить компьютер...

— Я вам буду нужна только в качестве образцовой секретарши?

Он усмехнулся.

— За каждую специальность и работу вы будете получать разную зарплату...

Я пыталась понять профессию этого человека, воспитанного, даже образованного, но лишенного каких-либо профессиональных примет.

— Мы будем посещать приемы, премьеры, выставки, банкеты. Я уверен, вы меня не подведете.

Он оценивающе оглядел мое весьма поношенное одеяние.

— Женские тряпки будут вас радовать при каждом моем возвращении из-за границы, да и зарплату фиксированную я предлагаю в размере двух тысяч рублей в месяц. Потом прибавлю, если бриллиант поддастся огранке...

Я молчала. Сцена эта казалась нереальной, точно спектакль одного актера.

— В моих делах нет уголовщины, но не советую вам в них вникать, для вашей же пользы. В Ереване у меня семья — это тоже табу для разговоров и вопросов. Понятно?

Официант подлетал к нам, менял бокалы, приносил на горячих тарелках вкуснейшие, хоть и непонятные закуски.

Мы молчали. Карен давал мне время все осмыслить. Тишина, уютный свет, маленький властный мужчина начинали постепенно завораживать меня. В конце концов женщины и в старину были содержанками своих мужей. Мои подруги имеют постоянных любовников при живых супругах и принимают от них любые подарки, обижаясь на тех, кто этого не делает...

— И еще я смогу класть на ваше имя доллары в любом банке Европы, который назовете. По сто долларов в месяц.

— Почему такая нищенская сумма? Путаны за одноразовый сеанс получают много больше...

Моя ирония ему понравилась, он дал мне закурить и сказал:

— Не будем мелочиться. Я хотел испытать вас. Триста долларов устроит? А за дополнительные услуги пойдет дополнительная плата...

Я опустила глаза, проиграла пальцами гамму на столе, подсчитав, что три тысячи шестьсот в год дадут мне нужную сумму для покупки за бугром хоть маленькой квартирки, в той же паршивой Австралии, не одалживаясь у папочки...

Карен достал коробочку и надел мне на палец кольцо. Крупный бриллиант в скромной оправе...

— Я бы не протестовал, если бы вы сейчас пригласили меня к себе...

Он пил много, но это почти на нем не сказывалось. Я сняла кольцо.

— Не люблю незаработанных вещей...

Он усмехнулся.

— Такой женщине я плачу авансом...

Теперь он смотрел на меня с откровенным желанием, стершим с его лица тонкий слой воспитанности.

— Неужели мое предложение вас не устраивает? Ну, хорошо, вашу комнату я обменяю на мою квартиру сразу, без испытательного срока. Вам не откажешь в здравомыслии. Вас пока только жалели, а теперь будут завидовать...

Он неплохо понимал женщин, этот искуситель. Опостылевшая комнатка, ненавистная работа, ничтожные мужики, скука, нудная, как зубная боль, день за днем, час за часом. И я кивнула, поднимаясь.

— А спать с вашими знакомыми тоже придется? — спросила я в машине.

— Эксвизитно. За особую таксу. И очень высокую.

— Я брезглива...

— Посмотрим...— тон Карена был снисходителен,— может быть, вам придется радовать лишь меня одного.

Месяц спустя я уже жила на Плющихе в доме Совета Министров, в квартире, обставленной антиквариатом, с финским холодильником, японской стиральной машиной, с богатым набором дефицитных продуктов. Я принимала Карена в своей постели даже с удовольствием, потому что он был сверхумелым любовником, озабоченным, чтобы и я получала радость. Его сухое горячее тело пахло прекрасным мылом и одеколоном, и никакой брезгливости ни к себе, ни к нему я не испытывала.

АУКЦИОН

Карен страстно любил антиквариат и скупал его в частных домах и на аукционах. Он постепенно приучил меня разбираться в ценностях, цепко наблюдая, что мне понравится с первого взгляда. Карен считал, что у меня врожденный вкус, а потому сделал меня своим «полномочным представителем...» и дал чековую книжку, чтобы без него я не пропускала аукционы и отвоевывала все, что считала подлинно редким.

Я разошлась с большинством старых знакомых. Мой новый образ жизни удивлял, настораживал, отпугивал. Прежде всего выразила возмущение мать, последнее время увлекшаяся политикой и ставшая доверенным лицом одного модного депутата. Мое равнодушие ко всем проблемам, волновавшим сограждан, доводило ее до исступления. Она багровела, задыхалась, теряла слова, и ее худощавое морщинистое, сохранившее девичьи очертания лицо становилось возмущенно-жалким. Теперь она больше следила за собой, чем при отце, делала прически а-ля Тэтчер, носила строгие костюмы с белой блузкой, чтобы не уронить престиж своего депутата.

— Кто тебе этот старик? — спросила она через несколько дней после моего переезда.

— Босс и любовник.

— Ты у него на содержании?!

— Ты пятнадцать лет была на содержании у отца.

— Я была женой...

— Но платим-то мы одним и тем же местом...

Она возмущенно оглянулась. Роскошь квартиры ее коробила.

— Стоило ради этого кончать университет?

— А чем ты лучше? Учиться в театральном и стать редактором в издательстве «Искусство»...

— Ты его хоть любишь?

Я рассмеялась, а она возмущенно ринулась к двери.

— Моей ноги здесь больше не будет. Захочешь повидаться — приедешь ко мне сама.

— Из какой это пьесы?

Мать хлопнула дверью. Со спины она выглядела, как девушка, и я подумала, что ей полезнее было бы устроить личную жизнь, чем играть в общественницу...

Алка забежала на минуту и застряла надолго, осмотрев и ощупав каждую вещь. Ее глазки поблескивали, она умирала от любопытства и жаждала откровенности, широкой, бабской, бестолковой. Но я была закрыта на семь замков, и, опившись кофе, Алка удалилась, ступая так тяжело, точно я взгромоздила на ее плечи бронетранспортер.

Даже мой бывший супруг явился похвастать своими литературными успехами. Его книгу уже перевели на 25 языков, и он жаждал продемонстрировать, какое сокровище я упустила.

Я была вежлива, радушна и холодна, точно меня вырезали из айсберга. Ни малейших чувств, ни воспоминаний он во мне не вызывал...

Нет, Карен определенно был интереснее всех. Он не выпендривался, не лгал, ничего не требовал от меня «сверх контракта». При каждом его приезде я получала ключи от черной «Волги», возила его по делам, стенографировала в переговорах с иностранцами, непринужденно щебетала в хаммеровском центре.

Кроме дел коммерческих и сложных, его интересовали украшения и фарфор, старое серебро и массивная бронза. Он честно объяснил, что в картинах ничего не понимает, как и в музыке. А хороший фарфор делал его счастливым. Горка, полукруглая, красного дерева, с бронзовыми накладками из гирлянд винограда, постепенно наполнялась разноцветным великолепием фигурок и чашек. Но я оставалась к ним равнодушной, хотя и приглядывалась, научившись отличать деколь от живописи и марки двадцатого века от восемнадцатого и девятнадцатого.

Как-то я сказала Карену, что эти вещи в моих глазах — подделки, что только мрамор и бронза — истинные произведения искусства.

Он усмехнулся, подняв тяжелые черные брови, и я заметила, что глаза его не темные, а светло-серые, точно тающие льдины.

— Весь мир собирает эти «подделки»...

— Это не резон...

— Да, деньги тебя еще не греют... Потому что их мало. Зато, если разбогатеешь, если сумеешь их сохранить, осознаешь себя не рабой, не служанкой, а хозяйкой жизни.

Драгоценности мне нравились, но лишь старинные, тончайшей работы. Ни золото, ни бриллианты в чистом виде меня не волновали, и Карена это удивляло, как удивляла и моя усталость после трех уроков в школе.

— Да, слабое ваше поколение,— любил он говорить,— без энергии, без заботы о завтрашнем дне... без честолюбия...

— А зачем мне думать о том, что будет завтра, если сегодня мне все противно...

— Это комплекс нищеты,— говорил Карен,— а разбогатеешь — станешь доброй. Разве не приятно облагодетельствовать человечество?!

— Хватит с меня филантропов! Мать постоянно возится со всякими общественниками, то на один фонд, то на другой собирает...

— Зачем? Лучше дать в метро интеллигентной старушке полсотни. Неожиданно, на радость и себе, и ей...

— Интеллигентная не возьмет...

— Голодная возьмет...

— Подачку?

— Сострадание.

Но постепенно увлечение антиквариатом стало и меня засасывать. Острая радость разгоралась в душе, когда удавалось купить то, что страстно хотелось. И удовлетворение это давало больше, чем близость с очередным мужчиной. Я полюбила бронзу и бисерные вышивки и начала экономить, чтобы сохранить деньги для покупок.

Посещение аукционов два раза в неделю наполняло мою тусклую, спокойную жизнь азартом, которого я раньше в себе не подозревала. На аукционах я обрела несколько знакомств, обернувшихся для меня потом и радостью, и горем.

ПЕРВОЕ НЕДОВОЛЬСТВО КАРЕНА

Оно совпало с приходом Ильзы и со щенком.

Девочка была моей единственной привязанностью в школе. С лицом японочки и фигуркой балерины, она в седьмом классе рассказала мне по секрету, что ее изнасиловали дома приятели отца-пьяницы, что мать ей не поддержка и жить совсем не хочется.

Я приютила ее на несколько недель, много говорила о том, что жизнь не кончена, что она еще увидит солнце и счастье. Постепенно девочка оттаяла, хотя с тех пор ее лицо стало старше и тверже.

Вернувшись домой, она начала широко пользоваться тем, что подарила ей природа, устроившись в суриковское училище натурщицей и получая по десять рублей за час. Кроме того, она работала секретарем-машинисткой у престарелого писателя, словесно развращавшего девочек, и дворником — утром до школы — за что получила от ДЭЗа право занимать подвальную комнатку, куда не пускала родителей.

В девятом классе ее пытались исключить из школы за «аморальность». Вернее, о ее образе жизни знали мало, но вызывающие туалеты и косметика бесили и одноклассниц, и учителей. Я убедила директрису, что этим мы окончательно сломим судьбу девочки, которая прекрасно училась и неплохо болтала по-английски.

Она приехала ко мне с цветами и рассказала, что имеет постоянных «друзей». Один — сорока двух лет, с квартирой, дачей и казенной машиной, крупный партийный босс. Второй — бармен, тридцати пяти лет. Он очень любил появляться с нею в ресторанах и всегда шел сзади, чтобы наблюдать, как облизываются мужики на его «телку». И третий — научный работник, которого она почти любит, хотя и устала от сложностей.

У меня вызывали уважение ее независимость и мужество. От «друзей» она принимала лишь подарки и развлечения, а не деньги, хотя, когда хотела дорогую тряпку, ей никто не отказывал, кроме ученого. Чаще он сам был на ее иждивении, но она собиралась связать его с барменом, чтобы тот подкинул деньги этому недотепе за право фиктивно оформить журналистское кафе на его «чистую» фамилию.

Именно с Ильзой мы подобрали на улице у мальчишек издыхающего щенка. У него были парализованы задние ноги, он казался комком грязной шерсти, но от огромных детских коричневых глаз защемило мое сердце. Я купила его за десятку, взяла на руки и притащила в квартиру. Меня не интересовала его порода, но, когда мы его вымыли, он оказался белоснежным и лохматым, с огромной заросшей мордой и массивными передними лапами.

В разгар наших хлопот приехал Карен, окинул взглядом Ильзу и щенка и вызвал меня в кухню.

— Убери...— сказал он спокойно,— тебе нужна породистая собака, я привезу японского хина. К твоим туалетам подойдет...

— А мне этот нравится,— сообщила я без нажима, но твердо.

Он пожевал губами.

— А девка тебе зачем? Передаешь опыт?!

Я вздрогнула: он впервые подчеркнул мое положение. Волна бешенства полыхнула на моем лице. Щеки загорелись, глаза заблестели, и Карен посмотрел на меня с откровенным призывом. У него в такие минуты дрожали ноздри и подрагивали брови, а обычно оливковое лицо розовело...

— Извинись! — Голос мой дрожал, и почему-то екнуло сердце.

— О, мадам, простите...— засмеялся он, но что-то изменилось в его взгляде. Только много месяцев спустя я поняла, что с этой минуты он отдалил меня от себя. Он был злопамятен и не прощал непокорности.

— Я повышу сумму в долларах за темперамент. Не ожидал, приятно...— Он облизнул губы, точно отпил особо крепкий и пряный напиток.— Красивой женщине капризы к лицу... Держи этого барбоса, только в мои приезды пристраивай где хочешь, хоть у этой девки...

— Почему она тебе не понравилась?

— Благотворительность до добра никого не доводила... А у нее уже нет сердца. Ее лепило слишком много рук...

Я оставила щенка и попросила Ильзу обязательно звонить мне перед приездом...

Она поняла и больше с Кареном не встречалась, а Тришку с восторгом увозила в свою подвальную комнату, когда босс извещал о своем появлении. И это помешало мне привязаться

к щенку. Я не умела ннкого делить, н в конце концов собака перешла в ее полную собственность. Я только совала ей деньги на прокорм, внушая себе, что лучше его совсем не видеть, чем от случая к случаю.

Зато мои знакомства с коллекционерамн н даже дружбу с нимн Карен всячески прнветствовал, особенно с теми, кого он ценил за вкус и понимание вещей. Он учился у них на ходу, впнтывая детали, о которых не прочтешь в книгах, н мимолетное обсуждение на аукционе отдельных предметов давало, по его мнению, больше, чем научная лекция специалиста.

МОИ НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Первой оказалась Лиза — высокая худощавая женщина, с седыми вьющимися волосами н всегда поджатыми губами, отчего круглый подбородок бросался в глаза раньше, чем ее небольшие н пронзнтельные глаза...

Она считалась нзвестной коллекционершей бнсера, не только образованной, но н умелой реставраторшей, вышивавшей не хуже старинных мастерпц. Лиза отдавала этой страсти душу, но внешне никогда не теряла рассудительности н спокойствия. Она знала, сколько должна стонть любая вещь, не решалась на азартные увлечення, отчего н пропускала нногда настоящие шедевры.

Знакомство наше началось нз-за медведя, вышитого мелким бнсером на длинной узкой картнне. Справа сидел султан с женой н курнл чубук. Султанша смотрела в лорнет, а страж сзади них опнрался на крнвую саблю. Слева молодой человек во фраке командовал медведем, который нграл на лютне, н все это — на фоне мннаретов н пальм.

Простота н наивная поэтнчность бисерного лубка тронули меня. Увидев, что желающнх на эту картнну нет, я подняла свой номер. Тогда подключилась н моя соседка. Я снова сыграла, н она со вздохом прекратила борьбу. Картнна досталась мне за трнста рублей, что было недорого по нынешним ценам.

Соседка, назвавшаяся Лнзой, сказала:

— Вам повезло, я хотела ее купить, прелестная вещь...

Мне стало неловко, н я смущенно пронзнесла:

— Ну, если она вам так нравится, я уступлю ее, ведь для меня это случайный капрнз.

Лиза высоко прнподняла тонкие, нзящные бровн:

— Я не превышаю намеченного предела, я хотела купнть ее только за двести пятьдесят...

На следующем аукционе мы снова встретились, поздоровались и селн рядом. И тогда я узнала, что у нее огромное количество бнсерных работ, что она связана с Эрмитажем н пишет статьн об этом внде нскусства.

— По профессии я математнк, но бнсер — мое давнее хоббн н второе прнзвание.

Лнза была старше меня лет на пятнадцать, но выглядела моложаво, одевалась с поразительным вкусом, в английском

стиле, и ее вязаные вещи были собственной работы. Сиа́чала я думала, что оиа старая дева, ио позже узиала, что она замужем за доктором физико-математических иаук и что у них поздний ребенок, невероятно избалованный н инфаитильиый.

Как-то я пригласила ее к себе, и после этого внзита она стала общаться со миой иамного свободнее и теплее. Видимо, решила, что имеет дело с богатой дамой, но совершенно «темной» в вопросах аитиквариата.

Лиза притягивала меня своими знаниями, и я терпела ее высокомерне, снобнзм и откровенное делячество, когда она равнодушным тоиом предлагала поменять ценную вещь иа пустячок, сохраняя при этом иепринужденно корректный вид.

Узнав о приходе Лизы, Карeн одобрительно цокнул языком и пожурил, что я затянула с ответным визитом.

— Поучилась бы! Знаешь, сколько оиа заработала на своей коллекции?

— Она говорит, что ничего не продает...

— Так все говорят. Лиза — трезвая голова! Никогда не зарывается, и коллекция ее тянет сегодня на сотню тысяч...

Он как-то странно взглянул иа меня:

— Сходила бы, поглядела, опнсала, у тебя цепкий глаз...

Я кивнула, опустив ресницы, и решила никогда не посещать Лизу. Просьба Кареиа мне ие понравилась, насторожила, и я впервые пожалела, что влезла в определенные отношения с этим человеком...

В это же время я познакомилась с одной колоритной дамой, которую прозвали на аукциоие «тетя Лошадь». Огромиого роста, с грубым мужским голосом и холодными рыбьими глазами, оиа тем не менее могла быть обаятельиой и своим цинизмом, и солдатской простотой, и детскими, как мие казалось, хитростями истинной коллекционерки... жульничавшей прн любой покупке или продаже.

«Тетя Лошадь» тоже собирала бисерные изделия и довольио быстро устаиовила, что и меня они заинтересовали. Карен ее зиал, расклаиивался, ио иас ие зиакомил, пока однажды она сама не подошла ко мне.

— Новая курочка Каренчика?

Я посмотрела иа иее с холодиой любезиостью.

— Одобряю. Умеет жить, стервец! Может, сбрызием знакомство в ресторации, за мой счет?

— Спаснбо,— благонравно ответила я,— но мне надо на уроки.

«Тетя Лошадь» вытянула нижнюю губу, точно собиралась засвистеть.

— Кто же ты, прелестная лань?!

Бас ее звучал с поразительной громкостью, и на иас стали оглядываться посетители аукциона.

— Учительница английского языка.

Она загрохотала. Смех ее звучал, точно стук града по железной крыше.

— Люблю смачный анекдот!

А вскоре Карен попросил меня не отказываться от этого знакомства «при случае».

— Дама трудная, с фанаберией, ее не приручить...— сказал он туманно,— но весьма знающая. Иногда по блажи продаст что-либо редкое, если ты ей покажешься... Хотя вряд ли... К ней столько народу тянется.— Он задел мое самолюбие, и я начала терпеливо выслушивать ее монологи, пока не дождалась приглашения в гости.

Первый визит меня даже растрогал. К моему появлению «тетя Лошадь» приготовила поджаренную по-ресторанному картошку со свежей зеленью, парной бифштекс с брусникой, грибы собственного засола. В ответ на мои похвалы она произнесла:

— Я все делаю не просто хорошо, а отлично. Это мой жизненный принцип...

И вещи ее окружали экстра-класса, начиная от бисерных вышивок и кончая старинной бронзовой кухонной утварью.

Выяснилось, что она давно знала Лизу, очень любила ее, преклонялась и страдала от ее высокомерия и пренебрежения.

— Умница, талант, все при ней и такому балбесу прислуживает.

— Кому?

— Да муженьку своему, он ее ногтя не стоит. Обыкновенный «скалозуб», вы согласны?!

Я поняла, что на этот язычок лучше не попадаться, и промолчала.

В последний момент «тетя Лошадь» предложила мне купить несколько бисерных вещичек, и я взяла их, не торгуясь. Цена была сумасшедшая, но Карен учил меня не торговаться вначале, чтобы завлечь клиента своей торовитостью...

Потом «тетя Лошадь» появилась у меня и с редкой бесцеремонностью осмотрела, перещупала каждый предмет интерьера и обстановки, точно была в лавке антиквара. Она мгновенно поставила меня в известность, что ей нравится, что она купила бы и за сколько...

Среди моих старых знакомых никто не вел себя так нагло, но в мире коллекционеров существовали другие критерии поведения.

Постепенно я стала посещать аукционы, как вернисажи, раскланиваясь и проявляя непринужденность знатока и завсегдатая...

О некоторых посетителях Карен мне рассказывал. В первом ряду, в центре, всегда усаживался маленький человечек, похожий на старую макаку. Он не пользовался номером, а лишь помахивал ручкой, похожей на лапку обезьянки, и скупал фарфор на много тысяч рублей, особенно фигурки времен двадцатых — тридцатых годов — изображения красноармейцев, буденновцев, пограничников, доярок и свинарок — вещи тяжелые, лишенные тонкости отделки.

Карен объяснил, что они пользуются огромным успехом у дипломатов и за них охотно дают валюту.

— Так этот Гоша — обычный перекупщик?!

— Перекупщик, но большого размаха...

— И как он не боится рэкетиров? Он же таскает с собой каждый раз не меньше пятидесяти тысяч...

— Надо не жалеть денег и отдать при случае, сколько попросят. А для деятеля его масштаба 20—30 тысяч не сумма...

— А зачем он покупает обломки, детали?

— У него на содержании свои реставраторы. Таких профессионалов в Эрмитаже не осталось...

— Ты ему завидуешь?

Он засмеялся.

— Это его делянка, он застолбил раньше меня лет на пять. Но я уже наступаю ему на пятки... А главное, я переманил его лучшего реставратора...

— И вам не надоедают эти игры?

— Игры в деньги?!

Он редко улыбался, но теперь смотрел на меня, как на ясельного ползунка.

— А кто тот длинный грузин с седыми бровями, который всегда стоит сбоку и кричит: «Ап!» — когда его не замечает аукционист? В пальто нараспашку и нагло-веселый?!

— У тебя цепкий глаз,— сказал Карен задумчиво,— это и хорошо, и опасно. Надеюсь, ты ни с кем из этих людей не разговаривала? Тот грузин — он из мафии, но своих не трогает...

— А ты для него — свой?

Карен вздохнул, улыбнулся и посоветовал мне с месяц на аукцион не ходить, чтобы не «светиться»... Я потратила это время на выставки и книги по искусству, к которым раньше была абсолютно равнодушна. Мне не с кем было об этом говорить, и я обрадовалась, когда встретила на выставке «Частные коллекции» Марата.

Он был, как всегда, небрежно одет, но теперь это была дорогая небрежность. От него пахло спиртным, но не самогоном, и курил он модную трубку, а не «Беломор»...

Мы поздоровались, и мне на секунду взгрустнулось. Все-таки я начинала к нему привыкать, пока он меня не продал.

— Ты еще не испытываешь желания сменить наездника?!

Тон был дружески непринужденным, но я почувствовала негаснущую злобу.

— А у тебя есть новый кандидат?

— В Греции все есть... Слушай, без дураков, ты потрясно смотришься, прямо «мисс Антиквариат»...

Я насторожилась. Марат взял меня за плечи.

— Могу порекомендовать покупателей, если надумаешь толкнуть...

— Демократов или консерваторов?!

Он снисходительно усмехнулся, и я с трудом удержалась от восклицания: во рту у него появились прекрасные фарфоровые коронки, стоившие уйму бабок.

— Пусти в гости по старой памяти, авось пригожусь...

— Характер мужчины проясняется в его отношении к женщине...

— Это всего одна ипостась... И разве я тебя не осчастливил Каренчиком?! Может быть, и теперь помогу...

Я согласилась, не подозревая, на какие непрнятности себя обрекаю, восстановнв отношения с этим человеком...

Он начал посещать меня раз в неделю. Ненавязчиво, весело. Острил, рассказывал сплетни, отказывался от рюмки, н постепенно за его непрннужденными вопросамн я начала замечать определенную систему.

Его интересовало, кто бывал в этой квартнре, с кем встречался Карен н что покупал. Но я уводила разговор в сторону, рассказывая о мамнных увлеченнях демократами, о «тете Лошади» с ее огненной симпатией ко мне, о Лизе. Он с трудом скрывал зевоту, но продолжал упорно ходить кругами вокруг меня.

Карен отнесся к его появлениям сдержанно, но спокойно. В этот свой приезд он был страшно занят, но однажды велел мне приготовить скромный ужин для пожилой женщины.

— Мне уйти? — спросила я.

— Нет, посидим втроем, я хочу окончательно приручнть эту старушку, увидишь, игра стоит свеч...

Так я познакомилась с Таисьей Сергеевной, которая прннесла злосчастные запонки, прннадлежавшне нмператору Николаю II н подаренные ее отцу за реконструкцию порта в Таганроге.

— Представляешь, милочка, прямо так снял с руки и наградил простого ннженера...

Старушка была более чем древняя. Хотя ей было за девяносто, передвнгалась она бодро и решительно, напоминая засушенную, мумифицированную Дюймовочку-бабушку.

Запонки состояли из круга красной эмали, окруженной ободком нз мелких бриллиантов, а четыре из них, значительно крупнее, почти в полкарата, делили эту сферу на сегменты. В центре, на зеленой эмали, лежал двуглавый орел, тоже из мелких бриллиантов, в платине. И лишь по краям запонки были золотые н переходили в золотые цепочкн.

— А как доказать, что запонкн нмператорские? — спросила я ироннчески.

Старушка всполошилась.

— Я вам рассказала все, как было, кроме того, тут можно разглядеть букву Н.

Хозяйка запонок занервннчала, щечки ее покраснели, н она начала укладывать свое имущество в коробочку из корнчневого сафьяна. Но Карен удержал ее руку.

— Никто не сомневается в ваших словах, уважаемая, договоренность остается в силе...

— В долларах? — жадно спросила старушка.— Понимаете, это для правнучкн, она уезжает, н я хочу, чтоб она могла купнть себе квартирку...

Моя мечта? Неужелн все русские одинаковы и больше всего на Западе боятся оказаться без площади?!

Я покосилась на Карена; сохраняя невозмутимость, он положил на кухонный стол 3 000 долларов. Меня поразила цена этого краснвого, но не очень функционального предмета. Кто сейчас нз мужчин носнт запонки!

— Я вас отвезу на машине,— сказал Карен, когда старушка запихнула в матерчатую, сшитую нз кусочков хозяйственную



сумку свой кошелек.— Вы бы положили его в более укромное место...

Бабушка-Дюймовочка лихо тряхнула головой.

Они ушли, а я приложила запонки к ушам. Серьги, конечно, вышли бы фирмовые, но жить без них я могла совершенно спокойно... Я стала прикидывать, сколько у меня на счету. Карен показывал банковские бумаги после каждой поездки... Выходило, что в Лондоне у меня уже лежит десять тысяч семьсот долларов. Маловато, хотя это лучше, чем ничего!

Вернувшись, Карен долго разглядывал запонки, а потом сказал:

— Им цены нет... у русских монархистов. Не меньше ста тысяч потянут, а через год — втрое больше...

Я засмеялась, так как не относилась всерьез ни к одной партии... Мой скепсис охладил Карена, он спрятал запонки в коробочку, а ее положил в тайник секретера, где были две декоративные колонки. Если выдернуть бронзовую ромашку в одной, вынималась наружная часть н возникала глубокая ниша. Карен впервые это сделал при мне, я даже не подозревала о существовании тайника и расценила его поступок как высшую меру доверия...

МАМИНА КАРТИНА

А вскоре ко мне зашла мать с архитектурным тубом в руках, в котором студенты обычно носят чертежи.

Мать была взволнована н совершенно забыла, что обещала ко мне не приходить.

— Я хочу продать картину,— сказала она нервно.— Ты, наверное, знаешь любителей...

— А что случилось? Тебе очень нужны деньги?

— Я хочу пожертвовать их в Дом ребенка.

— Ни с того ни с сего?

— Совесть требует, прежде всего из-за тебя... Наверное, можно продать эту картнну...

Я подняла брови. В доме родителей никаких картин не было.

— Это отцовская. Он принес ее много лет назад н забросил за шкаф. А когда переезжал, оставил мне на «черный день». Я вчера достала, развернула и... Есть в ней хоть какая-то ценность?

Она вытащила свернутую трубкой картину и придавила ее углы на столе моими книгами. Я наклонилась н тут же с удивлением выпрямилась.

На голубовато-зеленом фоне, на горбатом прнгорке стоял нелепый изломанный двухэтажный домишко. Перед ним какая-то фигура в матросских штанах запустила в голубовато-зеленое небо воздушного змея и, закинув голову, следила за его полетом. Крутой склон горки обрывался у воды, сливавшейся с небом, на переднем плане рассыпался песок, вязкий и тяжелый, не принимавший ни травинки, ни кустика.

— Кто автор?

Мама пожала плечами, зорко следя за моей реакцией.

— Подписи нет, вернее, затерта, но...

Тон был многозначителен.

— Уезжая, отец сказал, что это Шагал.

Мне стало смешно. Я знала страсть отца к розыгрышам. Мать, однако, всегда принимала его слова всерьез...

— И он оставил подлинного Шагала, когда женился на Элси?

— Он не мог его вывезти и потому подарил мне. Вчера я получила письмо, он пишет, что чувствует ответственность за меня, читая в газетах о трудностях в нашей стране...

— А ты атрибутировала эту картину?

— Нет, он пишет, чтоб я не совалась в музеи, а показала знатокам... И я подумала, что твой Карен, может быть, порекомендует покупателя.

— С твоими принципами прибегать к его помощи...

Мать покраснела.

— Но ему это будет полезно, я продам дешевле...

— А тебе известна стоимость этой картины?

— Отец говорил — тысяч пять...

Я хмыкнула. За подлинного Шагала?!

— Я была на днях в одном интернате для хронически больных детей. Ты бы видела условия их жизни! Я решила пойти туда поработать, а потом подумала, что на деньги от этой картины смогу купить им игрушки, книжки и одеяла. А то у них такие застиранные, в пятнах...

Мы молчали. Картина была необычна. В Измайлове на вернисаже за худшие просили больше.

— У тебя нет чего-нибудь постирать? — Мать была в своем репертуаре. Когда после стычек мы мирились, она таким образом «застирывала» свои несправедливости.

Мать возилась в моем шкафу, в ванне лилась вода, а я все вглядывалась в картину, отмечая новые и неожиданные детали и думая при этом, у кого отец, равнодушный к искусству, купил эту картину? А может быть, подарок пациента? Благодарность за чудо? Отец их немало совершал: руки у него были волшебными...

Для начала я решила позвонить «тете Лошади». Она знала реставраторов, художников, музейщиков, и у нее был очень верный глаз на подлинники...

СЛУХИ

Целый день мне пришлось ждать «тетю Лошадь». Она не умела считаться с другими. Особенно, если ей «не светила» конкретная выгода. По телефону я ничего не объяснила, просто предложила «поиграть в бирюльки». Ее выражение. Она обожала меняться, предлагая разные ненужные вещи за облюбованную, как правило, более ценную, о чем хозяева обычно не подозревали... Или терялись, оглушенные ее громовым голосом, многословием и воспеванием того предмета, который она старалась им всучить.

Пощебетав басом, тяжело опираясь на палку, она прошла в комнату, цепко оглядывая стены. Она всегда переживала, если у меня появлялась новая бисерная вышивка. Потом подошла

к столу и — выпрямилась во весь свой огромный рост. Я нарочно не убрала картину, оставив ее так, как расстелила мать. И хоть холст казался небольшим на овальном столе карельской березы, впечатление он произвел. «Тетя Лошадь», старавшаяся всегда скрыть свой интерес, застыла изваянием. И я поняла, что мои предчувствия верны. Неважно, кто был автором этой картины, главное — это подлинник работы большого художника.

— Почем? — спросила «тетя Лошадь», переводя дыхание.

— А сколько бы вы дали?

— Ну, я же небогатая женщина, у меня почти не бывает наличности, можно поменяться. Я бы дала вазу, которая вам нравилась, и бисерную вышивку.

Заметя ироническое выражение моего лица, она добавила:

— Любую со стены.

Итак, цена предложена вдвое меньше отцовской. Хороший признак...

— Но вы же не знаете, кто автор...

— Без разницы! — Она тряхнула стриженой седой головой.— Иду на риск. Мне нравится — и дело с концом, без проблем... Ладно, где наша не пропадала!

«Тетя Лошадь» полезла в огромную сумку, достала пачку сторублевок и кинула их размашистым жестом на стол. Веер получился красивым и впечатляющим.

— Тут ровно пять тысяч. Берите! Можно сказать, дарю, вы мне симпатичны. И хоть ценность этой штучки ниже, для хорошего человека не жалко.

Я покачала головой и стала собирать ее деньги в пачку.

— А откуда она у вас? — спросила «тетя Лошадь».

— Из этого туба,— придуривалась я, протягивая ей футляр. Она заглянула в него, потрясла, и на пол упали четыре деревяшки. Мы нагнулись одновременно, чуть не стукнувшись головами. Это были профильно выточенные узкие куски красного дерева, и она раньше меня сообразила, что деревяшки — рама от картины.

Навыков у старухи было больше, и она мгновенно приставила части друг к другу, соединила пазы, они глухо щелкнули, и перед нами оказалась складная разборная рама.

— Да, мозговитый мужик делал,— протянула «тетя Лошадь», потрясая изделием,— не наша работа, не современная.

— А что — сегодня нет хороших столяров?

— «Тяп-ляпов» — навал, а это делал умелец, ценивший чужую работу...

«Тетя Лошадь» больше не таилась, понимая, что сделка наскоком не удалась.

— Что вы собираетесь делать с этой вещью? Продать или в кубышку?

Я пожала плечами.

— Хотелось бы сориентироваться.

— Ясно. Помогу. Пришлю моего крестника, реставратора. Но чтобы был стол, выпивка — все чин-чином.

— Как это — крестника?

— Ну, я мальчишку подкормила, уговорила попробовать себя

в реставрации... Даже обещала сделать его наследником...— Она хихикнула.— Вот и реставрирует мне бесплатно. И по высшему рангу.

— Ему можно доверять?

— У него ключ от моей квартиры. Когда я в санатории, он цветы поливает. И знает, что у меня все на учете... Доверяй, но проверяй, моя прелесть...

Собравшись уходить, она вдруг заныла:

— Дали бы что-нибудь интересненькое... чтобы полировать кровь. Не зря же я к вам ездила, на такси тратилась...

Я подала ей кошелек из бисера. На одной стороне бегали две собаки, а на другой — стояла ваза с цветами. Этот крошечный мешочек был без замка. Я купила его не на аукционе, а у старушки Таисьи Сергеевны, продавшей запонки Карену. Он меня послал к ней с каким-то свертком. Когда я его передавала, то заметила в передней на тумбочке этот кошелек. Старушка жаждала наградить меня и тут же всучила это изделие, взяв символическую плату в десять рублей.

«Тетя Лошадь» оживилась, подобрела и гордо вынула из сумки поломанную коробочку из крашеного дерева.

— Вам ответно, цените, это игольник... осталось склеить, полировать...

— Да не нужен он мне...

— Не скажите, если отреставрировать...

— Все равно не нужно, а я не хочу иметь в доме необязательные вещи...

— Вы всерьез? Я же даром даю.

— Нет, не возьму.

Она начала рыться в сумке, по очереди предлагая мне кошелек для визиток из облезлой кожи со следами монограммы, флакон для духов с отбитым горлышком, бронзовую пуговицу с изображением птицы, летящей над морскими волнами.

Пуговицу я взяла, решив приколоть к пуховому берету, чтобы хоть ею индивидуализировать фирменный головной убор...

И мы расстались, довольные друг другом. Я — потому что узнала, что картина имеет немалую стоимость; «тетя Лошадь» — потому что надула меня, всучив мне за мой кошелек совершенно никому не нужную пуговицу.

Общая радость. Занавес.

ПОСЕТИТЕЛИ КАРТИНЫ

Раньше всех приехал реставратор Степа, очень высокий, с маленькой головкой и доброй улыбкой. Лицо его казалось бабским, старушечьим, но я слышала, что он — мастер своего дела. Он показался мне знакомым, но я не сразу врубилась. Мало ли видела людей в последнее время, а Степа вел себя так, точно мы никогда не встречались.

Он оглядел картину, странно хмыкнул, обошел вокруг.

— Шагал. Процентов на восемьдесят. Хотя подпись нетипична. Надо бы почистить... Лучше всего спектральный анализ, но муторно, дорого, да и слухи для вас нежелательны...

Интонация была полуутвердительная, полувопросительная.

Потом он прошел в кухню, оглядел нарядно украшенный, богатый стол.

— Зря. Моя такса — стольник.

И тут я вспомнила, когда и где слышала уже от него эти слова насчет таксы.

Но я не подала вида, протянула свернутую бумажку, он небрежно сунул ее в карман куртки и лишь на пороге оглянулся.

— Зря впутали «тетю Лошадь». Растрезвонит громче ростовских колоколов.

Он совсем не постарел за пять лет, а видела я его в компании Люды, единственной учительницы, с которой сблизилась в школе. Она была математиком, женой известного профессора.

Люда казалась утонченно красивой. Высокая, тонкая, с голубыми жилками на висках и огромными прозрачными глазами, она напоминала акварель, нарисованную на слоновой кости.

В мужской компании она преображалась. В глазах появлялась истома, а губы вспухали во время самого невинного разговора. Вскоре она рассказала, что постоянно изменяет мужу.

— Он слабак в постели?

— Наоборот, он — мастер, но насколько его еще хватит — на пять, десять лет? Да и потом, я люблю разнообразие. Неужели тебя не волнует групповуха?

— Не особенно.

— Или секс с одним мужчиной и с подругой?

— Вряд ли, я — собственница...

— Счастливая, а я вот не могу по видюшнику смотреть разные порно и не пробовать...

Вскоре она пригласила меня посидеть вечером с ее друзьями-реставраторами, заверив, что они вполне интеллигентны, любят хохмить, дурачиться. Я согласилась, поскольку с Гришей уже все шло наперекосяк.

Люда отвезла меня на своей машине в маленькую квартирку на юго-западе, заставленную полками с фарфором. Меня восхитили и красочность и причудливость форм, и это очень порадовало хозяина Степу. К моему удивлению, Люда предназначила его для меня, а сама ворковала с его другом, похожим на сморчка и на чеховского дьячка одновременно. Тощая бороденка, сальные белесые волосы, очки в проволочной оправе. Да и ростом он доходил ей до плеча, в отличие от долговязого Степы.

Посидели, выпили, попели, потом Степа ушел на кухню, а меня Люда попросила сыграть что-нибудь мелодичное. Я села к пианино и начала наигрывать мелодию блоковской «Девушка пела в церковном хоре...».

Услышав характерные звуки, я обернулась и увидела Люду и Хорька, предававшихся любви под мою музыку.

Я выскочила к Степе на кухню, разозленная идиотским положением, в которое попала. Он ласково улыбнулся, потом предложил полежать в соседней комнате на тахте...

— Это плата за ужин?

— Ты же знала, зачем шла...
— Значит, паршивый ужин с водкой — моя такса?
— А крабы и красная икра?!
Я рассмеялась и подергала его за нос.
— Пусти, больно...— прогнусавил хозяин квартиры.
— Я стою не меньше стольника, дорогой...— Я выскочила из квартиры, втайне надеясь, что Люда бросится за мной. Однако никто меня не остановил, и я двинулась по незнакомому району, мысленно называя себя авантюристкой...
...Через неделю после посещения Степы-реставратора ко мне явился Марат. Он осмотрел картину и сказал:
— Десять кусков, и ты забудешь о ее существовании.
— Демократы теперь столько зарабатывают?
Его длинный нос дернулся, точно я его ущипнула.
— Сначала я покажу картину Карену...
— Не играй с огнем, рыжая!
— Ты мне угрожаешь?
Я пошла на него грудью, прижала к стенке и дернула за ухо. Он нахмурился.
— Пусти, больно!
— Подумаешь, большая ценность, какая-то картина!
Марат покрутил пальцем у виска, а вечером явился с Кооператором. Я не посмотрела в глазок и впустила их без опаски, но тут же засунула руку в куртку и сжала в пальцах баллончик со слезоточивым газом. Верзила в этот раз не казался сонным и оглядел меня довольно нахально.
— Сестренка больше не чихает и не икает?
Кооператор ходил по квартире, точно пума по клетке, приглядываясь и принюхиваясь ко всему, что стояло в горке и висело на стенах.
Марат непринужденно облокотился на секретер, поигрывая по нему пальцами, его маленькие глазки искрились злорадством.
— Я вас не приглашала,— сказала я звенящим от злости голосом.— Что вы тут вынюхиваете?
Кооператор посмотрел на Марата.
— Люблю диких кошек!
Я вытянула по направлению к ним руку с баллончиком.
Они дернулись одновременно, и Кооператор произнес бесцветным голосом:
— Мне нужна картина.
— Я же не отказываю, только хочу показать Карену...
— Дам двадцать кусков. Даже двадцать пять, и покончим дело миром.
На секунду мелькнуло довольное лицо матери, потом я подумала, что освобожусь от Карена... что картина может быть неплохим подспорьем, если я надумаю уехать за бугор...
— Меня интересует конвертируемая валюта,— сказала я небрежно.
Марат и Кооператор переглянулись, пошептались.
— А сколько ты хочешь?
Кажется, Марат был не очень высокого мнения о моих ум-

ственных способностях. Или не верил, что я подковалась в вопросах искусства.

— Сколько стоил Шагал на аукционе Сотби? Не читали?

Они опять переглянулись, и Кооператор засмеялся. Звук был отвратительный, точно жестянка ударяла о жестянку, а глаза посветлели от прилива непонятного мне чувства.

Они ушли, прервав разговор и обходя меня, будто я была стулом с острыми углами.

Перед приездом Карена ко мне забежала Алка, кругленькая моя подружка с черными кудряшками...

— Слушай, говорят, у тебя клевая картина? — начала она с порога.— Мой шеф заржал и забил копытом. Он коллекционер живописи 20-х годов и о Шагале даже не мечтал. Он заплатит тебе больше всех, поверь, у него бабок — стены можно оклеивать...

— Уймись, может быть, я не буду продавать картину.

— Дура! — Тон ее был категоричен.— Зачем тебе неприятности? Ведь к ней надо охрану нанимать или в музей сдать под расписку...

— Ну что вы все прицепились! — взорвалась я.— Картина моя, что хочу, то и делаю. Вот возьму и в Фонд мира пожертвую...

Мы посмеялись, потом Алка рассказала об очередном своем приключении и под конец произнесла умные слова, только я к ним тогда не прислушалась:

— Никогда не надо иметь вещей, за которыми охотятся другие! Ни одна вещь не стоит человеческой жизни, даже просто спокойствия, и я бы поспешила избавиться от этой картины, как от ядовитой змеи.

— Кинжал брамина?

Она меня поняла. В детстве мы зачитывались «Маугли», и нас поразил кинжал, который нашел Маугли в сокровищнице раджей. Он нес смерть всем, кто на него покушался...

Мне стало неуютно, по спине пробежали мурашки. Но все-таки я разрешила приехать и Лизе, хотя знала о ее завистливости. Высокая изящная Лиза приехала в вязаном жакете своей работы, настолько великолепном, что я облизнулась.

Я спросила, от кого она слышала о картине.

— От многих... По Москве пошли шорохи и стуки...

Потом Лиза осмотрела картину и сказала, что это не Шагал, а Филонов, но хорошего периода и редкой сохранности. Лицо ее прояснилось. Филонов был известен, но по ценности стоял неизмеримо ниже Шагала. На радостях она предложила поменять свой жакет на серебряные серьги в моих ушах. Они были из пуговиц XVIII века, а я не питала особенного пиетета к подлинности времени. Жакет мне шел больше, чем ей, и мы расстались, вполне довольные друг другом.

СКАНДАЛ С КАРЕНОМ

Приехавший из-за границы Карен пришел в ярость.

Нет, он не ругался, даже разрешил мне выбрать подарок из

привезенных для семьи тряпок. И я взяла кожаную куртку из темно-зеленой с позолотой кожи, гофрированную и переливающуюся, как змея.

Карен выслушал мой рассказ о маминой картине, спросил, кто ее видел, что предлагал, и закурил трубку. Обычно он курил в определенное время, и это нарушение режима меня удивило.

— А подождать меня ты не могла? Ведь твоя мать именно мне поручала ее продать...

— Я и ждала, никому не продала...

— Но всем демонстрировала... Очень умно...

Он лихорадочно курил, сбрасывая пепел на ковер, чего вообще никогда себе не позволял.

— Ну в конце концов что для тебя даже сто тысяч? Их хочет заплатить профессор...

— Сто тысяч — ничто, пустяк, дым, а полмиллиона долларов?!

Я села.

— Но ее же нельзя вывозить...— пролепетала я.

Карен посмотрел на меня с отвращением.

— Теперь — почти невозможно. С твоим языком. Нет, даже самая умная женщина — идиотка.

Он встал, подошел к секретеру, вынул бронзовую ромашку, полез в тайник и достал коробочку с запонками. Потом открыл ее. Коробочка была пуста.

— Я так и знал, ты была слишком идеальна. Но приманка сработала, тебе нельзя доверять, как и всем остальным.

Я молчала, слишком ошеломленная, чтобы сказать хоть слово.

Неужели он всерьез мог меня подозревать? Или это глупая шутка? Маленький мужчина с седой головой и черными бровями не выглядел привычно снисходительным, воспитанным и ласковым. Что-то проступило затаенно первобытное, дикое, он точно приготовился к прыжку.

Сцена показалась мне бредовой. Я понятия не имела, куда делись его запонки. Они меня не интересовали, как и многие купленные им украшения. Я была к ним равнодушна.

Карен подошел, наклонился, сжал мои запястья, чем привел меня в негодование. Я близко увидела его тщательно выбритое холеное лицо, небольшие светлые глаза под черными бровями потемнели, взгляд давил... Я никогда не думала, что вещи имеют над ним такую власть. Я полагала, что он покупает антиквариат из страха потерять деньги и ради любви к искусству, что драгоценностями он откупается от придирчивости жены и настойчивости дочерей, сующих нос в мужские дела... Но если это не так, то кто же он?

— Кого ты принимала в квартире, дрянь?

Я улыбнулась. Криком меня нельзя было испугать.

— Маму.

Он все еще не отпускал меня.

— Еще кого, быстрее, без фокусов, пока я не вызвал парней!

Я внимательно всматривалась в моложавое лицо, с которого слетела маска. Мой содержатель был теперь обычным рыночным армянином, развязным и жестоким, презиравшим всех...

— Ну, а если я взяла твои запонки?!
Он опустил мои руки и выпрямился.
— Тогда отдай немедленно и можешь убираться...
Я засмеялась.
— Скорее будет наоборот. Это моя квартира, и наглые гости мне наскучили.
Он сел в кресло, потер лицо.
— Извини, но шутка неудачная. Где запонки?
— А ты их выкупи!
И это он принял всерьез.
— Сколько?
— Двадцать процентов от их стоимости.
Он небрежно бросил на стол две пачки сторублевок. Он не усомнился в моих словах, значит, с самого начала относился ко мне, как к продажной девке, посмеиваясь втайне над моими попытками сохранять достоинство.
— Дай запонки,— сказал Карен бесцветным голосом, вновь превратившись в жизнерадостного мужчину, умевшего дарить радость в постели даже такой ироничной женщине, как я. Но теперь он уже не мог меня обмануть.
— Я пошутила. Запонки исчезли без моего участия. Даю слово. Надо вызвать милицию, снять отпечатки пальцев...
— Никакой милиции, идиотка.
Он опустил глаза и задумался, а я стала вспоминать всех, кто приходил в дом за последнее время. К сожалению, я стала неосторожной, пускала многих, но я хорошо знала тех, кто приходил. Разве что Кооператор... Но он ни до чего не дотрагивался. Марат?! Точно сигнал тревоги зазвенел в моей голове. А не он ли «сосватал» этот секретер Карену?..
— У кого ты купил секретер? — спросила я, и Карен непонимающе посмотрел в мою сторону.
— У той, что продала запонки. Я ее знаю несколько лет.
— А кто тебя с ней познакомил?
Он задумался.
— Кажется, Марат... Ты часто пускала в дом этого подонка?
— Пару раз забегал. В каких он отношениях с бабусей?
— Говорил, сводная то ли бабка, то ли тетка.
— Вместе ты их видел?
— Он меня к ней возил, она все приглядывала, чтобы он что-либо не спер, рассказывала позже, что ловила его не раз на таких штучках...
— А где она живет?
— Тебя это не касается.
Но я вспомнила, что когда-то Марат рассказывал о своей «сводной бабке» — сторожихе в палеонтологическом музее.
— Она при музее расквартирована?
— Допустим. Значит, ты в курсе?
— Чего?
— Дел этой особы...
Я старалась выглядеть не очень удивленной, потому и кивнула с независимым видом.
— Ты забыл, что сам меня к ней посылал.

— На машиие.
— Но я запомнила адрес...
— Опасиая память.
Карен подошел ко мне н снова крепко взял за запястья.
— Поклянись, что ты не нмела к этим запонкам никакого отношення.
— Неужели мало моего слова?
— Ты была слишком идеальной, лучшей нз всех, кого я нмел... Но русская женщина врет, как радио, даже когда ей это совершенно невыгодно...
Он еще немного потоптался в комнате, потом ушел, броснв все свон тряпки, «днпломат» и чемодан. Казалось, его преследовала какая-то острая и иапряжеииая мысль.
А я стала ходнть по комнате, тупо глядя на пол. И вдруг в глубнне под поставцом что-то блеснуло. Я иагнулась — они. Проклятые запонки. Только почему они валялись тут? И кто это сделал? Второпях, на бегу, или так было задумано? А если бы комнату подметал рассеянный человек?
Я стала нскать, куда бы их временно положить, чтобы ие начннать всю мороку с таннником, н заметила пустую вазу иа книжном шкафу, поставленную высоко, как полагалось в классическом павловском ннтерьере. Оиа была в форме ладьн, из патиинроваиной броизы иа мраморном осиованин. Я встала на цыпочки н, сдвннув крышку, опустила туда запонки, а потом подумала, что придется переехать к матерн, пока Карен ие вывезет из квартиры свои вещи. Я не собиралась жнть с человеком, который меия иазвал «идиоткой».
Все дии, что я жила у матерн, мы ругалнсь. Она с азартом говорила о моей аполитичностн, обывательстве, растленности.
Несколько часов я терпела, потом спросила:
— А ты умеешь бороться с хамами? Да, да, с теми, кто называл тебя жидовкой, кто ие дал тебе заияться иаучной работой, кто уиижал твое человеческое достоннство, приказывая писать кандидатские днссертации для невежествеиных директоров театров?!
— Я их презираю...
— А я ие могу быть жертвой, овцой, рабой. Этн ублюдки понимают лишь язык силы или денег. И Карен дал мне чувство независимости, понимаешь?! Раньше я смотрела на зажравшегося родителя моего ученика, номенклатурного борова, и мечтала стать ведьмой, чтобы его треснул по башке кирпич с крыши. Чтобы обхамнвшего меня офнцианта нзбили рэкетиры. Чтобы шпаненок, который куражился на улице иад девчонкой, подавился пельменем.
— Неужели ты такая мстительная...— Мать была растеряниа.
— А теперь я появляюсь в таких шмотках, что передо мной в струнку вытягиваются. И деньги могу небрежно швырнуть. А много нх у меия было прн учительской зарплате?..
— И все-таки твой способ зарабатывать иа жизнь...
— Ты живешь, чтобы работать, а я работаю, чтобы жить. Да, да, н уверяю тебя, что быть секретаршей такой квалификации,

как требует Карен, совсем нелегко. Да и в постели нельзя быть коровой...

— И это моя дочь! Но нельзя же думать только о себе...— Мать смотрела на меня так беспомощно, что я опустила глаза.— Сейчас столько возможностей, чтобы нсправнть положение, ввести во все структуры власти демократов.

— Кстати, а Марат тоже распннается за твоего кандидата?

Я вспомнила, как он говорил, что поставил на «темную лошадку», парня из рабочей среды, бригадира, который еще станет современным Валенсой. Мать тоже восхищалась этим «самородком».

— Марат — очень энергичный н полезный оратор, ои легко находит язык с любой аудиторией, даже возглавил неофициальную пресс-группу...

Ну, о чем можно было говорить с этой женщиной?!

Я стала отмалчиваться, листала фотографии, даже те страницы семейного альбома, где виднелись пожелтевшие портреты моей прабабки и прадеда по отцу, незаконнорожденного сына какого-то польского магната и экономки, женившегося на сельской учительиице, которая закончила училище благородных девиц, знала трн языка н пошла «в народ» по идейным соображениям. Я искала корни, пыталась понять генетические завихрения в иашей семье и иевольно восхищалась тем, что моя мать, внучка еврейского богатого купца, сахарозаводчика, сохранила поразительную инфантильность и веру в жизнь...

УБИЙСТВО

Несколько дней я пробыла у матери, удивляясь, что Карен мне так н не позвонил. Потеряв терпение, я поехала на аукцион в надежде встретить там Карена. Он их никогда не пропускал, попадая в Москву.

Но н там его не было, зато в первом ряду сндел с самодовольным видом Марат. Он часто поднимал номер, сгребая и дешевый фарфор, н шпиатровые изделия, н карманные часы.

Я села сзади, наблюдая за его метаморфозой н подсчитывая траты. Обычно в его кармане даже сотня была редкостью, а за несколько часов он отстегнул не менее семи тысяч. Волосы у несостоявшегося моего сутенера поредели, кожа на затылке стала морщинистой, н вид, несмотря на явное материальное преуспеваиие, был очень потертый.

Я шепотом окликнула его. Он обернулся н подскочил, точно я его ужалила.

— Зачем покупать такую дрянь? — Голос мой был светски вежлив.— Или ты стал работать по снабжению нуворишей?

Марат побагровел и посмотрел куда-то в сторону. Я повернула голову и заметила пробиравшегося сквозь толпу могучего Кооператора. Этот представитель мужского пола вобрал голову в плечи, стараясь казаться меньше ростом и не так выделяться.

Кто-то тяжело положил мне руку иа плечо. Оглянулась — «тетя Лошадь». Я как-то забыла о ней в последние дни, но она заговорщически мне улыбнулась:

— Купила собаку? Ты сбила мне игру.

Оказывается, я сидела на аукционе, не вслушиваясь в объявляемые вещи, а недавно проиграли бисерную картинку с собакой. «Тетя Лошадь» рассчитывала купить по стартовой цене, но кто-то вмешался в игру, и она погрешила на меня, благо мои рыжие волосы пламенели, как флаг.

— Я не играла...

— А зачем пришла? Нашла покупателя на своего Шагала?

Мне не хотелось с ней беседовать, я знала страсть этой женщины к сплетням, и передавала она обычно скверные новости. Ссорить друзей было для нее такой же радостью, как и выпрашивать вещи подешевле, торгуясь с энергией цыгана, всучившего бракованного коня на ярмарке...

— Слышала я о каких-то чудо-запонках у твоего Карена. Нельзя ли на них взглянуть?

Я сделала непонимающее лицо.

— А я тут влипла в странную историю. Пошла недавно с подругой в ресторан, выпили мы хорошо, и понравился мне скрипач из оркестра. Я послала ему бутылку водки, и он подошел к нашему столику. Молодой парень, лет тридцати. Сначала он играл мне, а потом я тряхнула стариной и запела, я ведь в молодости имела недурственный голос... Потом он подсел, стал мне руку целовать, такую лапищу, стихи читал по-английски. Ну я и размякла, сказала, что живу одна, и дала телефон. Он мне начал звонить по три раза на дню, в любви и симпатии объяснялся, представляешь?!

Я украдкой посмотрела на часы.

— Что мне теперь делать? Вдруг парень — рэкетир? Или охотник за богатыми старухами? Или некрофил?

— Очень просто. В следующий раз скажите, что ваш сын возмущен его звонками, а внуки смеются и хотят набить ему морду за то, что пристает к бабушке...

— Думаешь, отвяжется? А если я всерьез ему понравлюсь?

— Он понял из беседы, что вы собираете антиквариат?

«Тетя Лошадь» шумно вздохнула.

— А хрен его знает, я когда выпью — несу, что Бог на душу положит. Но украшения на мне были дорогие.

— Бриллианты?

— Нет, флорентийская мозаика.

— Ну, вряд ли у него такое серьезное образование в области ювелирного искусства.

— Не скажи. Когда я рассказала ему о запонках Карена, даже пообещал брошку в таком же стиле...

Я вздрогнула.

— А что вы о них знаете?

Она хитровато улыбнулась.

— О них — ничего, а с Таисьей Сергеевной дружу лет пятнадцать...

— Зачем надо было говорить о запонках незнакомому человеку?

— Он сказал, что все может достать, вот я и попросила подобные, из хорошего дома...

Я совсем забыла о ее жадности. А ведь раньше меня трогало в ней алчное желание встретить чудо за бесценок.

Я посмотрела на часы. Карен так и не появился, и жгучее беспокойство погнало меня домой.

Прежде всего я обратила внимание, что газеты не вынимались из ящика с того дня, как я ушла, а поднявшись к себе, с удивлением обнаружила, что дверь в квартиру не заперта.

Я прошла в комнату с какой-то опаской. Наверное, подсознательно я подозревала несчастье, потому что, увидев лежащего на боку Карена, не вскрикнула, не бросилась к нему, а посмотрела на стол.

Картина исчезла.

Потом я нагнулась над Кареном. Он был убит чем-то тяжелым, ему размозжили затылок, а перед этим связали руки и ноги.

Странно, но при виде трупа я не испытала ужаса. Это был не Карен, умевший возбуждать и радовать меня в постели, а какой-то муляж. Окостеневший, поломанный, с темными пятнами на связанных кистях. Они выглядели, как ожоги, как будто к ним прижимали сигареты, а на полуобнаженном волосатом животе виднелся багровый след, похожий на след от утюга.

Раньше я не очень верила, читая о рэкетирах и пытках, но теперь вдруг поняла, что Карена сначала пытали, а потом убили.

Сколько же дней меня не было? Кажется, четыре. Неужели за это время никто не побывал в квартире?

На цыпочках я обошла комнату, прикидывая, что пропало, кроме картины. Фарфор был на месте, как и мои украшения. Я дотянулась рукой до вазочки-ладьи на книжном шкафу. Запонки лежали там. Потом я обратила внимание, что тайник в секретере открыт, но я в него не заглянула. Положила запонки в сумку и ушла, стараясь ни до чего не дотрагиваться, хотя мои отпечатки могли оказаться где угодно — это же была моя квартира.

На улице я перевела дух, оглянулась и пошла к автомату. Я позвонила в милицию, сообщила о трупе и быстро повесила трубку. Я не хотела встречаться с милицией. Я им не верила, да и мое отсутствие в квартире могло вызвать ненужные расспросы. А мне надо было все обдумать, понять, зачем убили Карена. И кто позарился на Шагала?

Светило солнце, я шла выпрямившись и никого не замечала, пока не налетела на Алку.

Подружка поглядела мне в лицо и потащила в кафе, где заказала по двести граммов коньяка. Она ни о чем не расспрашивала, и я сама ей сказала:

— Карен убит, а Шагал пропал.

Она несколько секунд смотрела на меня, потом закурила.

— А что говорит милиция?

— Не знаю. Я их не видела, я вызвала их потом, когда ушла из квартиры...

— А как они туда попадут?

— Я не закрыла дверь.

— Ну, сильна... А если обчистят?
— Теперь наплевать...
— Ну, сильна... Его при тебе убили?
— Я не жила там дня три, перебралась к матери, мы с ним крупно поругались...
— Интересно, прямо как в романе,— сказала Алка жизнерадостно, но я видела, что она мучительно соображает, насколько это может оказаться для нее важным.
— Квартиру он на тебя хоть перевел?
— Да. Я там прописана. Уже два года.
Мы помолчали.
— Хорошо, что ты не бросила работу. В случае чего — не тунеядка, а личная жизнь никого не касается... Ты же совершеннолетняя, самостоятельная женщина.

Она точно подслушала мои мысли. Только я не представляла, как вернусь домой, как смогу жить в квартире, где лежал труп Карена. Холодная ярость начинала заполнять мою душу. Я хотела знать, кто это сделал, я хотела посмотреть в глаза тем подонкам и поэтому решила ничего не рассказывать в милиции. Пусть они сами разберутся в ситуации, ищут преступников, карают по закону или оправдывают, мне с ними не по дороге.

— Приютишь? — спросила я Алку.
Та кивнула без лишних слов.
— Только тебе придется уходить часа на два в день, когда будет приходить мой профессор, он девушка пугливая.
Я усмехнулась.
— Понимаешь, я не могла ему отказать, он твердо обещал после ординатуры взять меня на кафедру, а иначе мне из консультации никогда не выбраться... Бабки плывут, но нет мне от них радости, точно солому жую, когда мозги не включены...
Мы поднялись, и Алка спросила шепотом:
— Ты деньги отложила?
— Маловато.
— Но на мебель и антиквариат никто, кроме тебя, прав не имеет?
— Не знаю.
— Вы же не расписаны, все тебе и останется...
— Но у него есть дети.
— А твое какое дело? Они обеспечены папочкой наверняка до макушек.
— А если меня спросят, на какие шиши все куплено?
— На папины, ты меня поняла? А ему в Австралии плевать на все запросы...

Она была единственным человеком, который верил мне безоговорочно. Но посещения профессора меняли мой план. И я сказала, что загляну к ней попозже, а сама пошла на вокзал и уехала электричкой на дачу к другу отца, старому врачу, с которым они вместе воевали. Там меня никто не мог найти. Ни милиция, ни мафия. Об этом домике не знал ни мой бывший муж, ни Марат, даже мать здесь не бывала, зая-

вив, что Дмитрий Моисеевич предатель, раз при разводе принял сторону отца.

Я полезла в сумку, посчитала деньги. Десять рублей — не густо. У меня было два свободных дня в школе. Вполне достаточно, чтобы все здраво обдумать и либо выжечь из памяти Карена и его секреты, либо разобраться в них.

ЛЮБОВНИК — ПУНКТИРОМ

Я очень долго считала Карена «экономической шишкой». Его частые и свободные поездки за бугор, его интеллигентность, щедрость. Первая ошибка. Деятели такого масштаба никогда не бывали щедры.

А его откровенное желание подсунуть меня некоторым иностранцам? Я тогда решила, что он — из КГБ. Множество «путан» отрабатывали таким образом право накопления капитала в свободно конвертируемой валюте...

Карен тоже клал за границей доллары на мое имя, я видела этот счет... И тут меня как огнем опалило. У меня же не осталось никаких документов, даже названия банка в Лондоне толком не запомнила, идиотка клиническая. Там должно было лежать свыше десяти тысяч долларов. Значит, я погорела. Почти три года «работы» секретаршей-содержанкой коту под хвост. А ведь с моим знанием английского и с помощью Карена я могла бы давно заработать эти деньги без особых хлопот.

И тут неожиданно я вспомнила о Федьке, моем любовнике, отношения с которым тянулись много лет в промежутке между его многочисленными женитьбами.

Познакомились мы, когда мне было восемнадцать; я начала учиться в университете, а он числился аспирантом. И хотя ему было только двадцать три года, он уже сильно полысел, отчего лоб казался огромным, как у Вождя всех народов. Но это оскудение Федька компенсировал роскошной пышной черной бородой Карабаса-Барабаса и казацкими висячими усами, отчего напоминал терьера редкой породы. Еще у Федьки круглые коричневые глаза, ласковые, проникновенные, и очень яркие губы, как у вампира. Он пригласил меня в гости, в аспирантское общежитие, встал на колени, целовал руки, даже всплакнул, и я стала его любовницей, почти не заметив, как это произошло. Он так умел обволакивать словами, ласками, напором!

Встречались мы месяца два, а потом он вдруг сообщил, что женится на своей невесте, о существовании которой я даже не подозревала.

Скандала я не устроила, только тихонько сказала:

— Все равно ко мне вернешься, когда она выгонит...

Фраза оказалась пророческой.

Первая жена Федьки была шизофреничкой, вела долгие переговоры с космическими пришельцами и по их приказу попыталась задушить мужа во сне...

Федька появился у меня такой помятый, что мне стало его жалко. Он поселился на снятой даче, и я несколько раз приезжала поднимать ему настроение. Потом выяснилось, что он сошел-

ся с дачной хозяйкой, которая была старше его на двадцать лет, и даже зарегистрировал брак. Я снова оказалась за бортом его жизни и думала — навсегда.

Но и тут Федьке не повезло. У жены оказался рак желудка, она тяжело умирала на его руках, и он повел себя очень человечно. После ее смерти он вновь стал обхаживать рыжую идиотку, то есть меня. На этот раз ему пришлось почти полгода доказывать свои чувства, он даже покушался на самоубийство. Опять были слезы, целование рук, он беседовал со мной, только стоя на коленях. Мне стало его жалко, ведь за эти годы он превратился почти в родственника, и я снова уступила.

Дачу он обменял на двухкомнатную квартиру, и нам было удобно встречаться. Но тут я почувствовала, что с таким нытиком жить вместе невозможно. Меня хватало только на два дня, а потом я швыряла в него книги.

В одну из моих отлучек он встретил в метро кроткое создание с голубыми глазами, которые оно потупляло с невинностью пантеры. Пепельные волосы, маленький рост — Федька был сражен наповал. И пока я злилась и отдыхала от него, он в очередной раз женился, уговорив девочек в загсе все совершить немедленно, так как уезжает на зимовку. Кроткое создание выгнало его из собственной квартиры через месяц и обозвало Федьку «овсяным киселем».

И снова Федька явился ко мне с жалобами на жизнь, но я уже была с Гришей.

Я объяснила, что могу остаться другом, выслушивать его стоны, читать его стихи,— он при разводах разражался стихотворным циклом,— но спать отныне отказываюсь. Ни слезы, ни мягкие прикосновения пушистой бороды к моим рукам, ни коленопреклонение не помогли. И он начал ходить в наш дом, как в столовую, прося лишь «тарелочку супа».

Я кормила его почти год, удивляясь долготерпению своего мужа, но Гриша к нему не ревновал. Он не мог поверить, что такой хлюпик был моим любовником.

Потом Федька все-таки разменял жилплощадь, получил для себя квартирку дворника в одном из старых московских домов и исчез с моего горизонта, отказавшись от супов. Я слышала, что он снова женился, но больше его не видела.

В первом же справочном мне сообщили его новый адрес...

Я попала в гигантскую коммунальную квартиру, с коридором, похожим на переход в метро, длинным, извилистым, забитым старыми шкафами, велосипедами, детскими ваннами и выварками. Фамилии Федьки в списке жильцов не было. Я позвонила наугад, извинилась перед древней старухой и спросила о Федьке.

— Если не повесился, то дома,— сказала она загадочно, шмыгая красным носом и обдав меня запахом сивухи плохой отгонки.

Я постучала в указанную дверь. Никто не ответил. Я постучала сильнее... Молчание. Толкнув дверь, я окунулась в клубы дыма. За столом за машинкой сидел Федька и что-то выстукивал, поминутно прикуривая от дымящейся сигареты.

Лысина его шагнула на затылок, но плечи стали шире, и он не производил больше впечатления хлюпика.

— Привет, Федор! — сказала я. Он так стремительно вскочил, что опрокинул стул.

— Боже мой! Ты мне снилась целую неделю, это перст судьбы! Он обхватил меня руками и стал целовать, не очень попадая в губы, точно молочный щенок, ищущий сосок матери...

Потом отступил, оглядел и попытался продолжить это занятие, но я засмеялась и уселась на скрипучий диван, служивший ему постелью.

— Сколько лет, сколько зим...

Он не принял моей попытки светского разговора.

— Если бы ты знала, сколько я о тебе думал, мечтал, искал...

— Где?

— И к матери твоей приезжал, и Гришку пытал, но все говорили так многозначительно и таинственно, что я решил — ты сделала ноги за бугор.

— Не попрощавшись с тобой? Мы же связаны одной цепью неудач, как каторжники...

Коммунальная квартира шумела, скрипела, переговаривалась, точно вокзал, громко и бессвязно, но это его, видимо, не отвлекало.

— Как ты тут оказался? — спросила я, оглядывая комнату, которая упиралась в кирпичную стену, отчего в ней и днем горел электрический свет.

— Я ее сначала снимал, а потом выплакал эту конуру, «за выездом» никто из соседей не претендовал... Вот ДЭЗ и разрешил прописку. Но я стою на очереди в нашем институте...

— И эта выперла? А где подобрал очередную красавицу?

Он подергал себя за бороду.

— На вокзале, она с ребенком сидела, ее муж бил, унижал, вот я и... пытался помочь...

Мы были с ним в чем-то похожи, наверное, поэтому я так часто прощала его, а он тянулся ко мне, как к «жилетке», в которую можно выплакаться.

— А что у тебя?

— Влипла в нехорошую историю,— сказала я неопределенно, прикидывая, что откровенничать рано, я ведь пять лет ничего о нем не знала.

— Хата нужна?

Он сделал широкий жест, приглашая меня принять все его богатство, включая комнату и хозяина.

— А если я у тебя кое-что оставлю?

Я вдруг подумала, что бродить по городу, ездить в электричке с запонками рискованно. Те, кто убил Карена, наверняка знали о моем существовании.

— Где хочешь и что хочешь... Могу даже не смотреть, не знать...

Федька сел снова за машинку, чтобы не подглядывать.

Я вынула запонки, осмотрелась. Федька жил настолько по-спартански, что я впала в уныние. Но тут я увидела возле дивана древний торшер. У нас был дома такой же, и я помнила, что дно у него полое. Я быстро его опрокинула, завернула запонки в носовой платок, вложила пакетик в торшер и прикре-

пила его лейкопластырем. Он был у меня в сумке, потому что я вечно натирала ноги в новых туфлях.

Шума я не производила, да и за стуком машинки ни о чем нельзя было догадаться.

— Что ты пишешь? — спросила я, усевшись на диван.

— Сюрреалистический роман в духе Роб-Грийе... О жизни, о нас с тобой, о предвидении, предначертании, предопределенности... С большой дозой эротики, конечно... Хочешь, я почитаю вслух несколько страниц?

Эротика и Федька! Но я даже не фыркнула. Он ни в чем не был виноват...

Я отказалась от литературного часа, сославшись на срочные дела, выпила кофе, который он готовил на маленькой плитке, не выходя в коммунальную кухню, и, не вслушиваясь в его речи, выбежала.

Многое сложилось бы иначе, пойми я, что свой «гениальный» роман он делает для одного кооперативного издательства, в котором шефом подвизался Кооператор.

БАБУШКА-ДЮЙМОВОЧКА

Она жила в полуподвале музея, и я добралась до старушки без хлопот. Я боялась, что она меня не узнает, насторожится, но зоркие глазки меня точно сфотографировали, и я без препятствий оказалась в ее большой квадратной комнате, заставленной горшками с цветами: два гигантских фикуса, одна огромная роза на специальной тумбочке, множество вьющихся растений, а на подоконнике «жених» и «невеста», такие сочные, точно их вполне устраивал полумрак подвала.

Бабушка-Дюймовочка была причесана модно, хоть и не совсем по возрасту воспринималась мальчишеская стрижка на седых волосах. На ней оказались кожаные брюки и туфли на высоких каблуках, а свободный черный ангоровый свитер свел бы с ума любую фирменную девчонку.

Она указала мне на кресло, полукруглое, с львиными мордами на подлокотниках, а сама, вспорхнув во второе кресло, сказала:

— Вас что-то интересует конкретно, милочка?

Я ничего толком не знала, значит, надо было блефовать. Хотя Карен приучил меня и к покеру, и к преферансу, я немного терялась под ее холодным и твердым взглядом. А главное, я не знала: известно ли ей о смерти Карена?!

— Марат у вас был недавно?

Что-то промелькнуло в ее лице.

— Нет.

— Вы его любите?

— Относительно.

— Но помогаете ему материально?

— Он сам себе помогает... Хотя это бесполезно. Он типичная бочка Данаид. Вы знаете, что это такое?

— Я закончила университет...

— О, Карен не упоминал, я думала, что вы обычная его девочка...

— А вы многих знали?

— Человек пять... В прежние годы он был порядочным греховодником. Да и роли они играли разные. Одна — для приемов, другая — для телесной услады, третья — порученец... Женщины справляются с рядом дел лучше, они осторожнее и умнее...

Речь у нее была современная, манера уверенная, она разительно не походила на ту бабусю, которая у меня в кухне обещала стукнуть рэкетиров клюкой.

— Вас послал Карен? — спросила она неожиданно.— Так не будем тратить времени. Посредников я не угощаю... Вы принесли доллары?

Я попробовала схитрить:

— Он еще не решил окончательно...

— Ах, так! — Старушка подпрыгнула в кресле, и мне показалось, что она собирается отплясывать на полу, как ведьма в мультфильмах.— Он еще колеблется! А я потеряла двух выгодных клиентов, как вам это нравится?! Вот смотрите, смотрите, стоит ли ему жалеть несчастные пять тысяч долларов?

Я не заметила, куда дернулась ее ручка, но на столе оказалась такая же коробочка, как и та, в которой раньше лежали запонки.

— Вот, смотрите, вы видели когда-нибудь такую прелесть?

Передо мной лежала брошь в форме букета ландышей. Только цветы были из очень ярких бриллиантов, а листья — из платины.

— Тоже подарок императора Николая II?

— Нет, это из приданого матушки. Она была дочерью чиновника правительственного сената и кончала Смольный. Императрица Александра Федоровна преподнесла ей к свадьбе, за особые услуги.

Кажется, старушка была не только приличной актрисой, но и сказительницей!

— И Марат не наложил руки на ваши сокровища!

Лицо ее исказилось ужасом.

— Вы близко знаете Марата?

Я кивнула, и коробочка с брошью исчезла мгновенно, как у фокусника.

— Бижутерия.— Тон хозяйки стал унылым и дребезжащим.— Уж простите старую, только и радости, что хвастать прошлым... Люди верят моему возрасту, а я показываю чешскую бижутерию...

— Тогда это мошенничество!

Она вскочила и, открыв дверь, сделала царственный жест.

— Прошу вон!

Но я не шевелилась. Роли переменились, я ее не боялась.

— Марат знал о тайнике в секретере Карена?

Таисья Сергеевна съежилась, будто из нее выпустили воздух.

— Знал, ограбил тетю и даже сотню не вернул, негодяй!

— Вы ему поручили продать секретер?

— А что оставалось делать? Он меня без куска хлеба оставил на старости лет, на голодную смерть обрек...

— Долларовую смерть...

Мы обе вздохнули.

— Больше он ничего не предлагал вам продать?
— А у меня ничего и нет, милочка, я последнее доедаю...
— И отъезжающая за бугор правнучка не помогает?
На секунду мелькнуло удивление, потом она вспомнила свою версию на кухне Карена и засмеялась.
— Ох, я так любила в молодости играть в любительских спектаклях. Представляете, работала в домоуправлении, а на сцене была Офелией! А какой я была Виолой! Знатоки говорили, что не уступала лучшим актрисам императорской сцены...
Я неожиданно вспомнила старый польский фильм, где молодая горничная тайком надевала платье барыни и разыгрывала из себя аристократку.
— Вы рано начали работать?
Она кивнула, и лицо ее потускнело.
— А потом барыня уехала и оставила вам на хранение свои вещи?
— Мы были как сестры...
— А где вы работали во время войны? В магазине или в столовой?
Она ненавидяще посмотрела на меня. Кажется, я угадала источник ее драгоценностей. Такие женщины осмотрительно обменивали ценности на продукты у голодных людей. Я вспомнила мамины рассказы. В годы ленинградской блокады она отдала бабушкину золотую цепочку за сто граммов сливочного масла...
Я направилась к двери и этим очень напугала старушку.
— Постойте, так же нельзя, мы и кофейку не попили и не покалякали. Я вам сувенирчик приготовила, настоящий, не чешский...
Она забежала вперед и протянула на ладони крошечный гранатовый крестик.
— Вам пойдет, на такой шейке...
— Я не принимаю сувениры,— сказала я холодно,— а на покупку у меня нет денег...
— Попросите Карена, вам он не откажет...
— Откажет. Он мертв.
Я внимательно наблюдала за бабушкой-Дюймовочкой, но ужас, исказивший крошечное морщинистое личико, был непритворным.
— Умер?
— Убит. После пыток.
Она пошатнулась и закрыла глаза.
Я усадила ее в кресло, не решаясь уйти и оставить женщину в таком состоянии. Потом она вздохнула, откашлялась, потерла грудь рукой.
— Дайте «нитронг», баночка на подоконнике...
Я протянула ей таблетки, она высыпала одну и проглотила, даже не запив.
Опять помолчали.
— Вы на милицию работаете?
— На себя.
Лицо ее стало розоветь. Она хотела еще что-то сказать, но

я заторопилась. Главное я узнала: она не имела отношения к убийству, но почему-то панически боялась Марата, своего милого родственника...

СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК

В электричке я попыталась суммировать все, что выяснила за этот тягостный день.

Итак, Марат знал о тайнике, мог туда забраться, но зачем он бросил запонки на пол, вместо того чтобы просто стащить?

Коллекционерша «тетя Лошадь» рассказала о них какому-то скрипачу в ресторане. Но он не знал ни моего адреса, ни Марата.

Шагала хотели, кроме «тети Лошади», Кооператор и профессор; последний, не глядя, жаждал скинуть сто тысяч деревянных...

Больше всего я грешила на Марата, с его «принципами» можно было ожидать любой подлости, но он не выносил вида крови. Помню, как чуть не упал в обморок, порезав палец в нашей коммунальной кухне, и весь побелел, когда я заливала ранку йодом. Значит, пытки при нем исключались. А может быть, убийцы рассчитывали найти запонки и новую брошь, которую Карен не успел купить? Неужели он не мог сторговаться с рэкетирами?

Голова шла кругом, и я боялась идти в милицию. Боялась, что начнутся расспросы о его делах, покупках, продажах и заграничных компаньонах да о моих контактах с коллекционерами.

Я ведь тоже была далеко не ангелом и некоторые вещи, что привозил Карен, продавала алчным модницам по самым бешеным ценам. Я получала откровенное удовольствие, сбагривая жадным клушкам тряпки, раньше мне недоступные. И если в начале нашего знакомства Лиза купила у меня по скупочной цене старинную серебряную цепь — я тогда верила, что интеллигентный человек не будет обманывать равного себе по интеллекту,— то теперь я бестрепетно называла цену вдвое-втрое большую, чем мне стоила вещь на самом деле. Я перестала играть в поддавки со знакомыми, убедившись, что все коллекционеры живут по законам волчьей стаи.

Карен привил мне презрение и к милиции, называя их «доморощенными Пинкертонами», и как-то сказал, что всегда «задорого» покупал большого начальника. Это было выгодней подачек «оловянным солдатикам».

Вдруг мне вспомнился Боб, великолепный компаньон Карена. Мы познакомились в хаммеровском центре, и мне понравился большой американец в клетчатом пиджаке и с неизменной жвачкой во рту. Что-то было очень привлекательное в его носе картошкой, в добродушных серых глазах, во всем длинном, слегка помятом жизнью лице.

Мы поболтали по-английски, посмеялись. Боб обожал наши анекдоты и знал их множество, но в переводе на английский они звучали нелепо — у меня даже скулы заболели от смеха. Карен попросил отвезти Боба в гостиницу, но в машине американец пожелал, чтобы я напоила его чаем. Мы долго хихикали в моей

кухне, потом он намекнул, что уже поздно возвращаться в гостиницу, и я постелила ему на раскладном кресле пушкинской поры. Через некоторое время он перекочевал на мою тахту, и я не прогнала его. Правда, он оказался не на высоте, жаловался, что не выспался в самолете, намотался за день по Москве, а утром огорошил меня, когда с чисто одесским акцентом произнес:

— Ша, киндер, таких телок у меня навалом, ты не тянешь на профессиональную шлюху...

— Так ты не американец?

— Американец, уже семь лет, но из Одессы-мамы и Ростова-папы... Работаю в Америке брокером и приехал сюда учить наших олухов умению делать деньги...— Он улыбнулся, простодушно и весело.— Денег с меня не обломится, но зато подарю дорогой совет: кончай с Кареном, чтоб не залететь к белым медведям. Он кинул тебя мне, как бифштекс с кровью...

Я молчала, испытывая даже не унижение, а безмерное удивление.

— Не веришь? — Он подмигнул и пропел:— Глупая вы баба, фитилек у вас горит чрезвычайно слабо...— Потом снял трубку, набрал какой-то номер.

— Каренчику физкульт-привет! Да, я в твоей квартире. Все о'кей, и по морде не бит, и даже кофейком напоен. Слушай, я сброшу десять процентов, как ты просил... Да, за кайф... А уж такой...

Он повернулся и подмигнул мне:

— Видишь, как я твою репутацию секс-бомбы укрепляю...

Они еще долго говорили намеками, а уходя, Билл потрепал меня по плечу:

— О'кей! Такой бы гоменташен да к Пуриму...

Заметив, что я его не поняла, заулыбался еще ласковее.

— Пурим — еврейский праздник в честь спасения евреев от злобных замыслов разных идиотов древности. А гоменташен — мои любимые пирожки, которые делают на этот праздник с маком, изюмом, цедрой и медом. Их печет у нас Меламед из Житомира, лучше всех на Брайтон-Бич.

Я не испытала особого удовольствия от того, что меня сравнили со сдобным пирожком.

И тут он посерьезнел.

— Кончай работать шлюхой, не твое амплуа, могу устроить вызов за один кусок, но зато — сразу с работой, может быть, и к себе возьму секретуткой...

Я проводила его, залезла под душ и долго терла себя мочалкой, пока кожа не покраснела и не заболела.

Днем заскочил Карен и сказал, что положит на мой счет еще пятьсот долларов.

Вскоре в ресторане «Космос» за наш стол присел очень красивый парень с тонкими усиками, точно нарисованными чертежным пером, и огромными черными глазами. Он был одет в дорогой вечерний костюм, на пальцах переливалось несколько колец, но больше всего бросился в глаза квадратный изумруд в бриллиантовой осыпи.

— Познакомься,— сладким голосом произнес Карен, таким сладким, что я приподняла брови,— это шейх Ахмед, он учится у нас в университете Лумумбы.

Шейх поклонился, не разжимая губ, и осмотрел меня, слегка причмокнув.

Карен растерял всю свою солидность. Он всячески пытался развеселить гостя, предлагал ему разные блюда, вина, но тот пил лишь холодную минеральную воду и жевал лист салата, точно корова. Мне стало смешно, я фыркнула, и гость перевел на меня вдумчивые коровьи глаза.

— Он понимает по-русски? — спросила я. Карен замахал руками, а шейх сказал почти без акцента:

— Прошу подарить мне один танец.

Мы завальсировали, точно на бале времен «Войны и мира». Платье мое было закрыто спереди, даже со стойкой на горле, зато сзади открывало мои прелести, кажется, до ног, потому что Карен не выносил, когда я надевала бюстгальтер и обычные трусики, а не бикини.

Партнер, однако, не заглядывал в обозримые возможности моей фигуры, а держал меня на отлете, как танцор дансинга в западных фильмах. Я видела близко идеально выбритую промассированную кожу, лениво пошевеливающиеся ресницы и представила на его черной набриолиненной голове попону, придержанную обручем, которую носит лидер Палестины Арафат. Я снова фыркнула, а шейх спросил:

— Вы не хотите со мной проехать в посольство?

— Что я там забыла?

Он наклонил голову:

— Вы мне подходите...

— А вы мне — не очень...

Он кружил меня, точно робот, и только после паузы заявил:

— Боб одобрил...

Я не сразу поняла, а поняв, резко остановилась.

— Да что я вам — телефонная девочка?

Он упрямо продолжал меня раскручивать.

— Боб сказал «о'кей», он мои вкусы знает.

— Но я вам не по карману...

Вот тут он засмеялся, блеснув очень крупными и белыми зубами, отчего правильное лицо стало жестоким и холодным.

— Сколько?

— Может быть, устроим аукцион?

— Я все равно всех переиграю, ведь я — из Бахрейна...

Мне вдруг стало скучно. Мы вернулись к Карену, и я ушла в туалет, чтобы накраситься и выкурить сигарету для спокойствия.

Значит, Карен решил пустить меня в раскрутку? Пресытился, или сделка оказалась выгодной? Я вспомнила, как он говорил, что всегда все продает, если ему дают хорошую цену.

Интересно, во сколько оценил меня этот нелепый шейх?

Когда я вернулась в зал, шейха уже не было, и Карен извинился, пояснив, что «мальчик выпил и потерял голову».

Было темно, когда я сошла с электрички. К счастью, Дмитрий

Моисеевич жил недалеко от станции, и я пролетела это расстояние, как олимпийский бегун. Убийство Карена заставляло меня ежесекундно оглядываться и прислушиваться к шагам за спиной.

Он был дома, в старомодной суконной домашней куртке с брандебурами. Дмитрий Моисеевич открыл мне дверь, стараясь не показать, как удивил его мой визит в такое время.

Отцовский друг был маленький, крепенький, похожий одновременно и на гриб-боровик, и на Тома Сойера, такой же курносый, веселый и озорной, отчего белые волосы выглядели париком.

— Что-нибудь с мамой, с папой?

— Нет, со мной.

Лицо его выразило явное облегчение. Родителей он любил, а меня считал девицей с плохим характером, которую мало секли в детстве.

— Сначала чай,— сказал он, пропуская меня в комнату,— потом эмоции.

Он двигался бойко, хотя и стал подволакивать ногу, да и левая половина лица оставалась неподвижной.

— Дядя Дима,— сказала я,— что же вы не известили, когда заболели?

— Хорошенькое дело! А кто первый прилетел на метле? Твоя мама. Она две недели меня выволакивала. Не слышала?

Моя мать никогда не рассказывала о тех, кому помогала. И я обрадовалась, что они помирились. Я подозревала, что он был влюблен в нее в молодости, хотя и сочувствовал отцу из-за ее стремления исполнить роль «Синей птицы». Он столько пережил, что казался мне мудрым, как царь Соломон, и я решилась на исповедь.

Дмитрий Моисеевич слушал молча, даже наводящих вопросов не задавал. А главное, я не ощущала в нем презрения, которое так эффектно проявила мама, узнав о моем «грехопадении».

Невольно я сравнивала его с Кареном, более молодым, уверенно-расчетливым. Кто был счастливее?! Сидевший напротив старик, так и не сподобившийся получить квартиру в Москве, хотя воевал во время войны в эскадрилье «Нормандия — Неман», имел знак Почетного легиона, давно мог переехать во Францию, но остался участковым врачом в полусельской больничке? Или властный армянин, рассчитывающий каждый шаг, питавшийся женщинами, как чуреком, не потративший крупицу сердца на дружбу и любовь?!

Дмитрий Моисеевич смешно морщил лоб, отчего между бровями возникал трезубец и нависал над переносицей.

— Самое страшное, мадам,— сказал он под конец,— что родители тебя проиграли.

— Кому?

— Времени, среде, быту... Каждый жил по личным склонностям и никакой ответственности за душу, выброшенную в мир, не ощущал. Конечно, грех зарывать талант в землю, но еще грешнее пускать на ветер рожденную тобой душу...

Я обрадовалась. Приятно, когда ответственность перекладывается на других, а ты вроде жертва...

— Превратить себя в подстилку, пардон, с легкостью могут многие особи женского пола, и даже восхищаются своей независимостью. А принесло ли это счастье, ты смогла его купить за доллары?!

Мне стало скучно. Я пришла за конкретными советами, но, похоже, прикатила напрасно...

И я огрызнулась:

— Да, я была счастлива, потому что перестала думать о копейках, потому что появлялась с настоящим мужчиной, перед которым открывались двери всех ресторанов, потому что мое шмотье вызывало зависть всех «прикинутых», потому что могла купить любую клевую вещь, потому что жила в человеческих условиях, с наборами дефицитных продуктов...

Я ожидала всего, чего угодно, кроме веселого и добродушного смеха. Дмитрий Моисеевич хохотал так, точно выслушал очередной монолог Жванецкого или Задорнова. Даже глаза утирал, а потом сказал, отдышавшись:

— Вот ты и показала все свои болевые точки и все симптомы заразы. Почти как в старом анекдоте. У соседа умирает осел. Мне нет дела ни до соседа, ни до его осла, а приятно.

— А что лучше — иметь нищую душу или пустой желудок?

— Как я понимаю, тебе это не угрожало, просто ты струсила... биться за полноценную жизнь...

— Бесполезняк. Да и надоело за все биться. Я женщина, а не воин.

— Самое простое решение.— Он достал чистое белье из потрескавшегося комода и бросил его на диван.— Располагайся, мадам. Живи тут, если надо. Даже кормить буду, а от советов уволь. Своя голова была, чтобы грешить; пусть она тебя и выпутывает...

Он ушел в соседнюю комнату, долго кряхтел, курил что-то очень пахучее и приятное. Я знала, что старик сажал какой-то табак у дома, сушил, добавлял травы и не изменял самокруткам со времен войны.

— Дядя Дима, я не сплю,— крикнула я через час, бесполезно провертевшись на его кожаном диване, с которого сползали простыни.— Почему вы не хотите мне ничего толкового посоветовать?!

Он ответил, прокашлявшись:

— Бесполезно, ни советы, ни чужой опыт никого ни от чего не предостерегали. Я много лет думал: зачем было делать нашу революцию, когда уже была известна трагедия французской? Ведь по месяцам можно было все изучить, предсказать, понять? А влезли в новый, еще более страшный виток истории.

— Вы вышли из партии?

— Я в нее не входил в отличие от твоего отца. Он вступил в партию на фронте, а теперь в Австралии стрижет купоны, а я все пашу здесь свою борозду и только пытаюсь ее не искривлять...

— А почему вы не женились?

Пауза была долгая, поскрипывающая всеми звуками деревянного домика.

— В старину говорили — однолюб, сейчас молодежь таких называет выродками. А суррогатов не хотел, в монастыри уходить было не модно...

— Это мама вам жизнь загубила?

Снова пауза, откашливание.

— Не загубила, осветила!

Я хотела хмыкнуть, но что-то сжало горло, и я впервые позавидовала матери. Мне настоящее чувство так и не посветило. Хотя рядом с красавцем отцом шансов у дяди Мити не было.

— А вы бы сейчас на ней женились?

— С радостью. Она не хочет...

И впервые за много лет я заревела, затыкая рот подушкой, давясь соленой влагой и корчась под простыней. Жизнь все время меня обкрадывала, подсовывала дешевку, а разве я была хуже матери?!

Так в слезах и уснула, а утром нашла на столе завтрак под салфеткой и записку: «Без советов. Не лезь в это дело. Оно пахнет кровью».

Но светило солнце, я прекрасно выспалась, голова стала соображать четко и ясно, и пока жевала хлеб с маслом и пила черный остывший кофе, прикинула, что имею еще один свободный день. До школы, до милиции.

С кем я еще не виделась? Не говорила?

И вдруг сообразила, что напрасно не взялась за Марата. Он болтун, и его можно было завести, подзадорить, даже купить... Он не мог не знать об убийстве Карена, иначе бы так не испугался при виде меня на аукционе.

Конечно, проще было отсидеться тут, исповедуя любимый принцип Карена: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю...» Но, во-первых, пропала мамина картина. Во-вторых, я проявила себя как последняя дура. В-третьих, меня жег азарт. Неужели я не смогу понять происшедшее?

Хотя желание мести притупилось, мне до смерти хотелось увидеть рэкетиров, тех, кто из-за паршивой картины мог пытать человека и убить его.

Я огляделась, понимая, что в таких авантюрах нужно хоть какое-то оружие. Баллончик с парализующим газом остался в другой сумке. Тут я заметила подле телевизора старый утончившийся скальпель и провела по нему пальцем. Как бритва, а места не занимает. И потом, я верила в приемы джиу-джитсу. Сегодня этим мало кто занимается, будет элемент неожиданности.

Я оставила записку: «Простите, натура зовет! Вечером заеду»,— не предполагая, что еще очень долго не увижу дядю Митю.

ЛОВУШКА

У Марата я была давно, еще до того, как он продал меня Карену. Без приглашения, случайно. Он даже адреса не давал, заявляя, что баб в свою берлогу не пускает. Но я помнила, как

мой бывший муж однажды полчаса договаривался с ним о визите, повторяя его объяснения, как добраться до дома. А у меня память отвратительная, в отличие от нужных ненужные предметы западают в нее навечно. Как-то Марат забыл у меня папку со статьей, срочно сдаваемой в номер, и я приехала к нему. Сначала его физиономия выразила иеприятное изумление, потом приятное отвращение после моих слов, что я хочу получить в награду стакан воды. К воде или ко мне отвращение, до сих пор не знаю, но я переступила порог его комнаты, которую он охранял как логово Синей бороды. И... с трудом сдержала улыбку.

У Марата, презирающего уют и быт, обстановка напоминала гнездышко старой девы. Занавесочки, кружевные салфеточки, семь слонов на пианино с бронзовыми канделябрами, круглый стол посредине под огромным бордовым круглым абажуром со стеклянными бахромками в виде сосулек. Но больше всего меня умилила кровать с горой подушек и кружевным покрывалом...

В кухню он меня не пустил, принес воду в голубой кузнецовской кружке с голубками, мрачный, точно я помешала ему ограбить банк. Видно, боялся насмешек, но я не сказала ни единого слова, будто такая обстановка вполне соответствует проныре-литератору. После этого посещения Марат избегал меня целый месяц...

В этот раз я звонила в его дверь долго, минут двадцать, у меня даже палец устал давить на звоиок. Когда я собралась уже уходить, дверь распахнулась. Марат был небрит, и в глазах его плескался ужас.

— Ну, входи, раз сама захотела...— сказал он невнятно н дал мне дорогу. Я еще могла выскочить, дверь он ие загораживал, но меня жег азарт упрямства.

— Ты лазил в наш секретер? — начала я. Его большой нос опустился, а торчащие прядн волос заколыхались. Меня всегда поражало, что у человека с такнм сумасбродным характером были такие мягкие и воздушные волосы. Что-то мелькнуло в маленьких глазах, и он пропел:

— Мадам, уже падают листья...

— Кого ты навел на моего Шагала? Этого чугунного Кооператора?

— Мадам, уже падают листья...— повторил он еще протнвнее.

— Кому ты служишь? Не бойся, я не настучу н в милиции тебя не заложила, я вообще от них сбежала...

Марата отстранила чья-то рука, н в комнате оказался совсем молоденький мальчик, на вид — не старше семнадцати, с остренькими чертами лица и длинными волосами, заплетенными в косичку с голубым бантиком.

Я не испугалась, педики вообще казались мне безобидными, но мне почудилось, что в квартире еще кто-то есть, а это настораживало...

— Значит, иаш друг лазил в ваш секретер? — тоненько прозвеиел мальчик, и Марат залился синюшной бледностью.— Ай, как иехорошо шарить по чужим тайникам и воровать милые запонки...

— Да ие брал я, сколько можно повторять, даже не видел...

В ту же минуту мальчик ударил Марата по лицу. Ударил, как мне показалось, несильно, но на скуле мгновенно появилась кровь. В лапке мальчика был кастет. Я сделала шаг к двери, запоздало осознав разумность совета дяди Димы, но за моей спиной вырос еще один юнец, много крупнее, но с совершенно щенячьим добродушным лицом.

— Как мы счастливы, что видим вас! — пропел он юношеским баском.— Даже вычислять не пришлось... Так где все-таки запонки?

— Дались они вам! — Я небрежно пожала плечами.— Карен их толкнул еще неделю назад.

— Врешь! — Юнец сделал шаг в мою сторону, и вместо ужаса я ощутила ярость. Если бы хоть полноценные взрослые люди, а то шпана вшивая...

Я думала, что он ударит, и приготовилась ответить приемом, но он неожиданно намотал на руку мои волосы, которые только сдуру можно было распустить, идя в такое место... Боль заставила меня откинуть голову и выплеснула слезы на глаза.

— Ну, так где запонки, лапочка? Ведь жалко будет оставить такую телку лысой.

В его левой руке появилась зажигалка, и он медленно повел ею по направлению к моим волосам. И тут я вспомнила о скальпеле. Сумка еще висела на моем плече, я рванула «молнию» левой рукой, а правой, схватив на ощупь скальпель, резанула его по кисти, держащей зажигалку.

От неожиданнности он дернулся, отпустил мои волосы и зажал руку.

— Вот зараза, вот б... очковая!

Его напарник бросился ко мне, но я вспомнила болевой прием, которому учил когда-то отец, и сильно ударила его щелчком по кончику носа, а потом бросилась к двери, моля судьбу, чтоб замок не был закрыт изнутри.

Маленький гаденыш кинулся за мной, но ему мешали слезы, обильно полившиеся из глаз. Я воспользовалась этим, нагнулась, сделала подсечку и бросила его через плечо, как мешок с картошкой. Потом открыла дверь и побежала по лестнице. Только на улице я заметила, что выронила скальпель в квартире Марата.

Конечно, теперь надо было пойти в милицию, но я с трудом преодолеваю антипатии. Когда-то в юности я пыталась продать на Тишинском рынке старые шмотки, чтобы купить новые туфли. Меня задержал один хмырь, типа Кооператора, с такой же мордой и мускулами, и в течение часа читал нотации в опорном пункте милиции, злорадно обещая сообщить о том, что я спекулянтка, в университет. Он получал такое удовольствие, предвкушая, как я буду рыдать и ныть, умоляя о прощении, что я взбесилась и заорала:

— Да подавись ты своим протоколом, хрен собачий!

— А за это схлопочешь пятнадцать суток...— начал он.

— А ты из милиции вылетишь впереди своего собственного визга, когда моя мама позвонит Галине Брежневой...

Я нахально заложила ногу на ногу и щелкнула пальцами:

— Снгарету!

И этот «облом» полез ко мне с сигаретой и зажигалкой.

— В общем, подотрнсь своим протоколом! — сказала я, вставая.— А вот мне ФИО твое желательно узиать...

Ои беспомощно оглядывался, ие решаясь призвать меия к порядку, н я вышла из этого вагоичика, превращенного в «опорный пункт милиции», показав ему иа прощание фигу...

Нет, в милицию я не хотела обращаться, а вот узиать московские сплетии можно было через «тетю Лошадь».

Я позвоиила ей, услышала вопли, очеиь торжествующие н громкие, по поводу смерти Кареиа, строгий призыв приехать иемедлеиио и обещание советов и поддержки...

«Тетя Лошадь» попробовала заключить меия в объятия, всплакнуть, ио я засмеялась:

— Перестаньте! Вам это не идет...

Она тут же настроилась на мою волну н закричала,— оиа ие умела говорить тихо,— что Карен был стервец и проходимец, ио делал большие дела, и она надеется, что я вспомню о ней, когда начну распродавать его вещи... Потом она стала показывать мне квитаиции почтовых переводов иа разные благотворительные цели, церкви, священиикам...

— Понимаешь, пора о душе думать, звоиочки уже были, я и своему скрнпачу сказала.

— А вы его все-таки пустили в квартиру.

Она повиниио хмыкнула.

— Вкрался, стервец, в бабью душу, да н полезен бывает, сегодня вырезку притащил из ресторана — закачаешься...

— Он каждый день к вам забегает?

— И денег не берет, из симпатии, говорит, тоска по матерн, которую ие помнит...

— А как же реставратор Стена?

— Ну, я ему ие докладываю... Да и перестал он для меня мышей ловить, зазнался, почти иеделю ие могла упросить, чтоб чашку склеил, я такую на вернисаже оторвала: умереть — ие встать.

Мы посидели на кухне, она все охала, что я не отдала ей Шагала, что не показала запонки, при этом очень сноровнсто разогрела гречиевую кашу, телячьи отбивные, полила все ореховым французским соусом. «Тетя Лошадь» любила и умела поесть и себе ни в чем не отказывала, но никому ие помогала, если это не сулило ей крупных выгод...

— Вас уже вызывали в милицию? — спросила я.

— Нет, ко мне являлся утром один следователь, такой тощенький, нервный, и все губки покусывал, точио его родную тетку укокошили...

— Что их больше всего интересовало?

— Ты, матушка, ты, золотце алмазное. Как получила квартиру, откуда обстановка, в каких отношениях была с Кареиом... Ну, я все честно, как на духу доложила, объяснила, что считалась полюбовинцей, но работала н секретаршей, что на аукциоиах бывала, разбиралась в искусстве, но Шагала достала с рук, в магазине эта картина не всплывала...

Она рассказывала о своем стукачестве, точно читала мне на ночь детскую сказку, и никакого смущения на ее лице я не заметила.

— Зачем вы меня заложили?

— Я же коллекционер, все мы под Богом, вернее, под МВД ходим...

Тут она была чистосердечна. При ее широкомасштабных операциях по покупке и продаже она легко могла повиснуть на крючке...

— Ну, как жаркое, правда, божество и вдохновение?! Я вчера своего крестника им ублажила от пуза.

— Степку-реставратора?

— Да, он мне и рассказал о Карене.

— А когда? — со старательной небрежностью спросила я.

— Да сразу после аукциона. Или до — не помню, голова уже не так варит, как раньше, я могла всего «Евгения Онегина» наизусть прочесть...

Сердце у меня остановилось, потом забилось учащенно.

Первая ниточка. В милицию я звонила около четырех, до этого времени об убийстве могли знать только исполнители или свидетели. Но «тете Лошади» даже вида нельзя подать, она тут же ему позвонит. Я перевела разговор на ее новую покупку — бисерную вышивку с собакой, которую она купила на последнем аукционе.

Потом вспомнила, что у меня есть вазочки Галле, отчего ее глаза заполыхали как бриллианты. Это были самые популярные на аукционе предметы. Чем меньше вазочка, тем дороже, особенно на аукционах в Лондоне. За них давали десятки тысяч долларов.

— А много от Карена осталось Галле?

— Хватает...— Взгляд у меня был туманно-многозначительным, как у истинного коллекционера...

— Но мы играем...

— За адрес Степана. Я хочу отреставрировать сервиз Софронова.

«Тетя Лошадь» сдалась, и я отправилась к реставратору, вспомнив, что незадолго до появления в моей квартире Шагала я видела, как Степа садился в машину Кооператора со множеством тяжелых свертков. Когда я подходила к его мастерской, эта сцена ярко вспыхнула в моей памяти.

Дверь мастерской была обита железом, точно сейф. Степа открыл довольно быстро, но, увидев меня, замялся.

— Понимаешь, я не один...

Его спортивный костюм был в беспорядке, куртка не застегнута, и волосы прилипли к вискам...

— Я только хочу узнать, когда ты услышал о смерти Карена?

Привалившись к стене, Степа внимательно меня разглядывал, и я только сейчас заметила, что голова его похожа на черепашью.

— Так от кого ты узнал о смерти Карена? — повторила я.

— Это допрос? Ты пошла служить в милицию? А может, по их заданию путалась с Кареном?

Он огрызнулся, но бесстрашно. Виднмо, за ннм ннчего уголовного не тянулось. В отличие от Марата.

— В котором часу ты узнал?

— Дуреха, я же весь аукцион сндел рядом с тобой, неужели не помнишь?

Я прикрыла глаза, вспоминая тот день. Кажется, он действнтельно был неподалеку...

— Доперла? А потом ребята попросилн взять в реставрацию гарднеровскую группу, я стал ее рассматрнвать, онн торговались, и тут кто-то упомянул, что Карен сыграл в ящик...

— Но кто? Я еще никого не могла известить, я еще не видела трупа...

— Значит, его видели до тебя...

— Это я понимаю, поэтому и пытаюсь узнать...

— А зачем? Крутые мужнчки шуток не поннмают...

— Ты их боишься?

— Я ни на кого не клепаю, честно делаю дело, а на кого работать — мне все равно, лишь бы бабкн отстегивали...

Он внимательно оглядел меня.

— Ничего, годишься! Пошли лучше побалуемся, душа очнстится от скверны...

— У тебя же там дама...

— А две — еще лучше.

— Прекрасный способ нсповеди!

Я повернулась, чтобы уйтн, н вдруг услышала:

— О Карене знал Кооператор, только он шестерка, не лезь в чужие дела. Жаль, если такая фактура пострадает...

Я поехала домой, осознав, что Шерлока Холмса нз меня не получилось...

ДОМА

Я влетела в подъезд, вынула газеты нз ящика н поднялась лифтом, хотя на третий этаж обычно ходила пешком. Но я боялась встреч с соседями, расспросов, а потому мечтала быстрее нырнуть в квартиру. Еще я представляла, как увижу пустую комнату, где недавно лежал труп Карена, и все во мне леденело. Конечно, я не обратила внимания на повестку, всунутую в ручку дверн, торопясь отзвонить матерн и завучу, чтобы выяснить, добрались ли до меня в школе.

Я старательно закрыла все замкн, вдела цепочку, как приучал меня Карен, потушила свет в передней н вошла в комнату, где увидела двух приятных и совершенно безликих молодых людей в черных милицейских ботннках н однннаковых костюмах разного оттенка. Я даже не нспугалась, сообразив, что милиция должна была оставить засаду в квартире, где нашли труп...

Один издали показал мне красную книжечку н сказал, не вставая:

— Нам так хотелось с вами побеседовать, что мы заждались...

— Вы так н сидите тут после моего звонка?!

— Почему вы, обнаружив труп своего сожителя, сбежали?

— А откуда известно, что его обнаружила я?

Лицо Сиреневатого оставалось неподвижным, а Сероватый вздохнул и перехватил инициативу.
— Вы заметили, что пропало из квартиры?
— Пропала картина Шагала,— сказала я кротко.
— Вы уверены, что это был Шагал? У вас имелась музейиая атрибуция?
Голос Сиреневатого стал острым, как бритва.
— Откуда у вас эта картина?
— Мать принесла, просила продать. А ей оставил картину мой отец, который уехал в Австралию.
Они переглянулись, и Сероватый сказал мягким баритоном:
— Советую не юлить. Нам известно, что вы вели аморальный образ жизни...
Эти слова словно подстегнули меня. Они еще будут мне мораль читать, шестерки, которых Карен покупал по двадцать штук на дюжину!
— У вас есть доказательства? Сейчас можно подавать в суд за оскорбление чести и достоинства не только Президента!
— Кем вам приходился убитый?
— Я сдавала ему квартиру, когда он приезжал в Москву в командировку.
Они хихикнули, и тут впервые что-то во мне зазвенело, какое-то сомнение, неясное, неосознанное, но тревожное.
— Да вы хоть знали, чем он занимался?
— Говорил, что работает в СЭВе...
Сиреневатый откровенно рассмеялся.
— Вы, конечно, тоже там работаете?
Их давил восторг, и я начала понимать, что они совсем не из милиции.
— А разве вы это не выяснили? В ДЭЗе знают, что я учительница. К вашему сведению, преподаю английский язык в школе.
Они переглянулись.
— Вы нас не учите, как работать! — прикрикнул Сероватый.— Лучше скажите, что пропало?
Я пожала плечами.
— Я не разглядывала... Кажется... тряпки на месте.
— А драгоценности?
— У меня их было немного...
— А где они хранились?
— В шкатулке, на комоде, разве вы их не заметили?
Секретер оставался открытым, как и тайник, и они имели право спросить меня об этом.
— Не знаю, я там ничего не держала, мебель доставил Кареи. Он мне платил за хранение, пока оформлял перевозку в Ереван.
Главное, говорила я себе, сохранять естествеиность и не показывать, что я догадалась о самозванстве...
Но им надоело вилять.
— Куда делись запонки?
— Какие запонки?
— Не придуривайся, дешевка!
Голос Сероватого прозвучал, как щелканье бича укротителя тигров.

— Я не ношу запонок...

Сиреневатый встал, подошел ко мне, и я увидела в его руке опасную бритву.

— Догадалась, шкура? Так могу и личико разукрасить! Лучше выдай их по-доброму...

Я вспомнила слова Алки, что никакая вещь не стоит человеческой жизни, но так просто сдаваться не хотела.

— Плохо работаете, шавки! Давно могли бы все выяснить без мокрухи. Карен толкнул их одной дамочке за два яйца Фаберже...

Эту фамилию они знали, но их мозговые шестеренки шевелились слабо.

— И молчал, кисель невареный ему в глотку...

— А разве этот Фаберже ценный, что он взял яйца вместо запонок?

— Клиенты за бугром заказывали. Им наши реликвии до фени...

Кажется, они начинали верить.

— А может, побреем курочку наголо,— предложил сладострастно Сероватый,— ох и повизжит...

— Заткнись! На работе не развлекаются. Еще легавых привлечешь...— Сиреневатый прошелся по комнате и плюнул на ковер.— Ну и фрайер! Ни хрусталя, ни золота, одни антики...

Потом сел, достал из «дипломата» блокнот, ручку, точно ре[illegible]л взять у меня интервью.

— Быстро адрес старухи!

— Д[illegible]на дамочка...

— Растереть и забыть! Фамилию, адресок, приметы.

Я мгновенно перебрала в голове сотню вариантов и назвала им адрес цековского дома, где постоянно дежурили милиционеры под видом вахтеров, а также фамилию жены одного посла. Она приезжала в Москву, была несколько раз на аукционе. Карен ее прекрасно знал, их связывали какие-то дела, но сейчас она отбыла к мужу, чтобы щебетать на приемах в ООН и спекулировать тряпками, скупаемыми по дешевке не в магазинах, а на оптовых базах...

— Ну, смотри, курва, соврала — всю красоту сотрем, на аптеку работать будешь...

После их ухода я бросилась к телефону и позвонила Алке. Мне хотелось услышать нормальный голос нормального человека, который меня любил. Но муж мрачно сказал, что ее увезли в больницу.

— Что случилось?

— Кровотечение. На сохранение положили.

Я охнула. Алка беременна и ничего мне не сказала! На секунду нечто похожее на завнсть шевельнулось во мне. Но только на секунду.

В ШКОЛЕ

Утром я поехала на работу, совершенно не думая, чему посвящен очередной урок-фнкция. Я не могла научнть школьников

разговаривать по-английски, а они не желали тратить время на бесполезную грамматику и адаптированные тексты.

Как всегда, я опаздывала и оглянулась в поисках такси.

Время поджимало, и я подняла руку перед частником. Хотя в класс я влетела с последним звонком, настроение улучшилось. Мы работали над рассказом О'Генри «Последний лист», когда явилась секретарь директора и срочно вызвала меня в его кабинет.

Я попросила учеников подготовить перевод двадцати строк рассказа О'Генри и пошла по коридору, механически прислушиваясь к монотонным голосам, доносившимся из классов.

Застав в пустом кабинете директора Юрку Гаврилова, с которым мы учились на параллельных курсах в университете, я страшно удивилась. Он был с юрфака, и наши компании часто перекрещивались...

— Привет светилу юриспруденции! Что ты тут делаешь?

— Жду свидетеля... или глупого подозреваемого.

Его простецкое твердое лицо за восемь лет подсохло и постарело, он уже не напоминал плакат с портретом образцового комсомольца, призывающего крепить интернациональную дружбу черных, желтых и красноватых человечков. Зато фигура раздалась, плечи отяжелели, а свитер толстой вязки делал его похожим на отставного футболиста...

Кажется, меня он вычислил точно, потому что спросил в лоб, без обычных формальностей:

— Почему ты сбежала, позвонив в милицию?

— Растерялась.

— Ты-то? За робкую индюшку я тебя никогда не держал...

— Хотелось самой разобраться...

— Ох, твои петли только прибавили мне работы! А главное — впустую, ничего ведь не узнала, только под ногами крутилась. И все время после твоих визитов случались несчастья. Вот и «тетю Лошадь» убили именно после твоего ухода...

— А ее за что?

— Разбираемся...

— Из-за коллекций?

— Все может быть...

— А все-таки, кем ты работаешь, не темни?

— Следователем прокуратуры по особо важным делам.

— А, «важняк»! — сказала я, мучительно перебирая в памяти, что я могла сделать или сболтнуть, из-за чего так страшно пострадала «тетя Лошадь».

— Грамотная...— без улыбки перебил мой старый знакомый, сидевший в цивильном свитере за столом директора.— Ладно, кончим шутки. Когда ты последний раз видела Карена живым?

Я стала подсчитывать. До аукциона четыре дня жила у матери. Аукцион происходил в субботу, значит, труп я застала дней через пять после нашей ссоры...

— Почти неделю назад.

— А почему ты удрала к матери?

Значит, с ней уже говорил и мама не поступилась принципами, выложив все честно...

— Поссорились.

— В каких вы были отношеннях?

— Босс н секретарша.

Он так на меня посмотрел, что я невольно взялась за свою рыжую гриву и свернула волосы в пучок, вспомнив, что в сумке через плечо лежат мекснканские зажимы, которые прнвез в прошлом году Карен.

— Ты догадываешься, нз-за чего его пытали?

— Не поннмаю,— сказала я нскренне.— Он так пренебрегал «деревянными» деньгамн, что мог откупиться от любых рэкетиров. Да и антиквариата были целые полки, не говоря о «цацках» в тайнике.

— Значит, от тебя они не таились.

— Он мне показывал, как его открывать.

— И ты туда не лазила?

— Меня не волнуют чужие вещи...

Он помолчал и что-то записал.

— Да, твоих отпечатков там не оказалось.

Прозвенел звонок, урок закончился, но мне еще надо было провести два. В кабинет заглянула наша толстая директриса:

— Ох, простите, я думала, вы уже кончили...

Я фыркнула, но Юрка остался «при исполнении».

— Мы еще немного задержимся, если позволите...

Она замахала толстенькими короткими ручками:

— Бога ради, сколько хотите...— и осторожно прикрыла дверь собственного кабинета.

Тут я сообразила, что на обыкновенное убийство не бросают следователя по особо важным делам... Значит, в этой историн много «гитиков», как любил говорить мой бывший супруг.

— Вы поймали убийцу?

— Это не кино, в «пятнашки» никто не играет. Лучше объясни, почему тебя носило к Марату, к Степе? Заподозрила их как наводчиков?

Я кивнула, ощущая свою глупость. Горе-конспиратор! Как быстро прошли они по моим следам...

— А тех черненьких рэкетиров вы хоть взяли? Марат жив?

— Пока не знаем, его куда-то увезли... Слушай, а о каких запонках все время ходят слухи?

— Слушай,— передразнила я его,— ты можешь мне популярно сказать, кем был Карен?

— Он совмещал много ролей. Был н генеральным директором совместного предприятия, и толковым консультантом СЭВа, и любителем антиквариата...

— И мафиози?

— Деловые люди его ценили, а он снабжал их подлинными пронзведениями нскусства...

— А бандиты у него были на прикорме?

Я вдруг решила, что мною интересовались представители разных групп... Марата, наверное, посетили дружки Карена, а в мою квартиру залезли люди Кооператора.

— Ну, выкладывай, что дошурупила?! Что это за запонкн,

и сколько они могли стоить, если из-за них угрохали твоего босса?

— Он говорил — тысяч сто, но, наверное, приуменьшил. Ведь они считались раритетом, личные запонки последнего императора...

Юра поднялся и сказал, что вызывает меня назавтра в прокуратуру, что повестки надо читать, что в случае неповиновения меня доставят с помощью милиции...

— Какие повестки?

— Которую ты бросила возле своей квартиры, даже не заглянув в нее, а ведь она спасла тебе жизнь. Твои гости прикинули, что квартира может быть «под колпаком», и смылись, когда их фокус с оперативниками не удался...

— Значит, Карена убили из-за этих дурацких запонок?

— По-видимому.

— Им было мало Шагала?

— С картиной не все ясно, а вот запонки могли бы неплохо сыграть за бугром...

Я вспомнила Федьку. Неужели я подставила и его? Но, кажется, мой визит к нему прошел бесследно, о наших отношениях все давно забыли.

— А как убили «тетю Лошадь»?

— Часов в двенадцать ночи к ней заехала «Скорая», она сама ее вызвала. Но застали ее в агонии, она не могла говорить. Квартира была уже раскурочена... Бригада сразу перезвонила в милицию, но пальчиков мы не нашли...

Тут я вспомнила ресторанного скрипача и рассказала о его звонках.

— А в каком ресторане он играл?

Я напряглась. Она столько говорила, хвасталась, смеялась. Скорее всего это была «Варшава», рядом с аукционом...

— Ты ей поверила?

— Она была рисковой и азартной, да и подвыпила...

— А вообще пила?

— Останавливалась трудно, но всегда могла взять себя в руки.

Он что-то быстро записал в блокноте, потом закрыл его и сказал:

— Не лезла бы ты дальше, будь человеком...— Забыв попрощаться, он ушел. А я долго ходила по улицам, ощущая, что странная грусть мучает меня при мысли о «тете Лошади». И жульничать любила, и никому добра бескорыстно не делала, и шумела, ссорила людей, а что-то таилось в неухоженной, неприбранной душе невостребованное.

Я вспомнила, как она гордилась, что с ней считаются музейные работники, что третьестепенные поэтики посещают ее дом, выпрашивая подачки, что продавцы антикварных магазинов раскланиваются с опаской, но уважительно... Больше ей нечем было хвастать, хотя прожила она почти семьдесят пять лет.

А ведь умела и вязать бисером, и вышивать, и рисовать так, как не всякий реставратор, и готовить, и фантазировать, да и проработала на шелковой фабрике сорок лет, начав еще ткачихой... Она прожила жизнь, так и не реализовав своих

возможностей. А в результате — нелепая смерть. Смерть закоренелой эгоистки...

В БОЛЬНИЦЕ

К Алке я поехала в приемные часы, купив по дороге букетик фиалок. Денег в сумке оставалось на два пирожка, и я решила одолжить на первое время у матери.

В роддом, куда положили Алку, меня пускать не пожелали, а денег, которые надо было сунуть гардеробщице, чтоб дала врачебный халат, я не имела.

И вновь подумалось, что вживание в нашу действительность теперь обойдется мне дорого. На мою учительскую зарплату существовать нормально было почти невозможно.

Я постояла возле прохода на черную лестницу, а потом юркнула туда, узнав, в какой Алка палате. Я добралась на четвертый этаж и уговорила больную, звонившую по автомату, найти мою подружку и передать, что я ее ожидаю.

Алка появилась не скоро и шла так медленно, точно могла потерять свой драгоценный плод по дороге.

Лицо ее не оживилось при виде меня, и эта странная усталость или безразличие меня напугали. Когда человек перестает быть похожим на себя, это всегда настораживает. Но никаких следов беременности я не заметила.

— Что это тебе сбрендило? — спросила я оживленно.— Ведь не собиралась обзаводиться потомством...

— Надо же когда-то начать...

— Кто обрюхатил? Профессор?

Она кивнула и объяснила, что муж в курсе, не возражает, потому что давно подозревал свою неспособность в этих делах...

Не нравился мне ее вид, не узнавала я свою старую подружку. Даже колечки волос обвисли и падали на лицо, как увядшие осенние листья. А главное, не понравилась бледность, почти до синевы.

— Сколько месяцев? Много крови потеряла?

— Шесть с хвостиком. Много, наверное, из твоего Карена вытекло меньше.— Она передернулась.— Я все его вспоминаю, как его пытали...

Никогда не думала, что она будет переживать из-за моего любовника!

— А ты не хочешь перескочить к профессору? — попробовала я повеселить ее.— Сама говорила, что он вдовец, вот и подкинешь себя с младенцем...

Она снова передернулась.

— Забудь о нем... я его больше близко не подпущу...

Я заметила, что ей трудно стоять, нырнула в коридор, стащила стул и усадила Алку.

— Знаешь, я, наверное, не вытяну...

— И что? Снова забеременеешь, раз уже начала...

— Совсем не вытяну... Мне гадали недавно, что жизнь будет короткая...

— Бред! Неужели ты веришь всяким шарлатанам!?

— И снится по ночам одно сырое мясо...
— Я тебе принесу несколько сонников,— сказала я.— В каждом — разное значение снов...
Но она перебила меня:
— Шагал нашелся?
— Откуда мне знать, не докладывали.
Она прикрыла глаза и замерла...
— Обещай, если умру, ты его возьмешь...
— Шагала?
— Ребенка, балда! Тебе тоже пора за что-то человеческое зацепиться...
— Ты эту кладбищенскую лирику брось...
Она меня не слушала.
— Конечно, если он родится нормальным, я так и напишу в завещании.
— Что он — чемодан, дача, чтоб его завещать!
— Он уже бьет ножками, ворочается, хочешь послушать?
Совсем сбрендила! И это моя циничная Алка!
Я наклонилась, сделала вид, что слушаю, и выпрямилась. Страшно мне стало, до чего женщину эта блажь уродует, даже врача... Но ей нужны фрукты, овощи, весной теперь все так дорого. Я решила тайком забежать к ее профессору, такие дрожат за свою репутацию...
Мы еще немного поболтали, она жаловалась на соседок по палате, которые не позволяли открывать окна, на их храп... И я все больше утверждалась в мысли добиться от этого толстого хмыря создания для нее нормальных условий... Ведь баб цековских не помещали в такие рабоче-крестьянские хлева, а он консультант Четвертой управы. Может устроить туда запросто...
Я не умела откладывать своих решений и сразу после больницы стала вспоминать, где живет научный руководитель Алки. В тот вечер, когда она нас знакомила, он упомянул, что любит свою Плющиху, и с гордостью подчеркнул, что живет в доме Совета Министров... Неужели мы соседи?!
Я понеслась в ДЭЗ, мечтая, чтобы у них был вечерний прием, и ворвалась туда в последние минуты перед закрытием. К счастью, у меня в сумке были пробные французские духи, Карен снабжал меня ими, посмеиваясь, что в мире «деревянных» денег это лучший сувенир для наведения мостов дружбы... Духи сработали снайперски, и оказалось, что мы с Алкиным профессором живем в соседних подъездах.
Я поднялась к профессору без оповещения, позвонила торопливо три раза и очень удивилась, когда, открыв дверь с радостным возгласом, он вдруг отшатнулся, точно увидел Медузу Горгону. Но я влетела в переднюю с такой решимостью, что он отступил.
— Вы меня не узнаете, я подруга Аллы...
За эти годы он стал еще толще и трясся в своей китайской пижаме, как желе.
— Разговор будет недолгим, но, может быть, вы меня пустите в комнату...

Я нагло открыла застекленные двустворчатые дверн, вошла в большую комиату, увешаииую картииами, и сразу увндела своего Шагала, висевшего в цеитре между двух окои.

— Позвольте, я вам все объясию...— задребезжал ои, забегая вперед, точио хотел прикрыть картииу,— я его купил, я заплатил двадцать тысяч, я иичего ие зиал, мальчики сами принесли...

— Мальчики?

— Поймите, мы врачи, у меия оказался одии больиой, близкий к миру нскусств. И когда я сказал, что слышал о картиие Шагала, ои пообещал помочь...

— Помочь?

— А потом приеес картину, объясинл, что перекупил для меия...

— Алла ее видела?

Ои кивиул, отчего его висячие щеки задрожалн.

— Ей после этого стало плохо?

— Но поймите, я иичего не успел объясиить...

— Зато оиа вам сказала, что из-за этой картииы пронзошло убийство...

Ои кивал, как китайский болваичик.

— Поймите, я коллекциоиер. Когда загорается душа, иаступает забвенне прннципов... Успокойтесь, я вам доплачу, может быть, вас устроит тысяч пять...

Я ие успокоилась, а врезала ему по физиоиомии н бросилась к двери.

Дома я первым делом подошла к шкафу и стала прикидывать, что можно продать быстро, без больших хлопот. Мне уже ие нужна иорковая шуба, а вот кожаиое пальто ие стоило сплавлять. Его можио иачииить теплой подкладкой, и лет на пять хватит в пир, в мир и в добрые люди.

Моя практичиость и тут сработала. Надо было думать не только о себе, но н об Алке. С ее здоровьем оиа, видимо, долго не сможет работать, а зарплата мужа нынче не прокормит троих...

НЕОЖИДАННОСТЬ

На другой день после уроков я поехала к Федьке, осматриваясь, как шпион в кинофильмах, иет ли за миой хвоста. Я очень боялась навести на него тех подонков, которые убили Карена и «тетю Лошадь». Лишь одно утешало — его нелепая коммунальная квартира.

Я упрямо звонила, пока не появился Федька, разлохмаченный и смущенный. Он пытался поговорить со миой в коридоре, но я ринулась в его полутемную комнату с такой стремительностью, что влетела туда раньше хозяина.

На диване лежало знакомое существо, завернутое в мохнатую купальную простыню, и улыбалось, вызывающе и чуть смущенно. Это была моя десятиклассница — Ильза Михайлова.

Переглянувшись, мы одновременно захохотали, чем очень удивили моего старого друга.

— Вы знакомы?

— Да, уже почти три года...— сказала я.— Значит, это и есть твой ученый друг, которого ты почти любишь, потому что он доставляет тебе бездну радости в постели?

Она кивнула, показав маленькие и острые зубки, а я почему-то с облегчением подумала, что неутешный Федька остался верен себе. Возраст его девочек неудержимо уменьшался, как и волосы на лбу...

— Я его лечила...— сказала с вызовом Ильза.— У него ангина.

— Лучший способ излечения ангин!

— Но, понимаешь, я же чемпион по ангинам,— начал Федька,— а она знает точки иглоукалывания...

Меня растрогало, что он еще не потерял способности смущаться, но у меня было мало времени.

— К сожалению,— сказала я,— придется прервать сеанс... Одевайся, Ильза, мне надо поговорить с твоим «пациентом»...

Она непринужденно сбросила простыню и стала медленно и чуть вызывающе одеваться. Я обратила внимание, что и белье, и джинсы, и блузон были самого дорогого и высокого качества и подобраны с большим вкусом.

Одевшись и накрасившись, Ильза вежливо поцеловала Федьку в щеку и сразу превратилась в образцовую десятиклассницу. Она почтительно попрощалась со своей учительницей.

— Осуждаешь? — спросил Федька, лихорадочно поглаживая бороду.— Но я ее описываю... Ты даже не представляешь, что это за мир! Я от нее узнаю больше, чем от всех женщин, которых встречал в жизни. Представляешь, теперь в их кругах модно заказывать драку в барах для развлечения девушек!

— Представляю,— сказала я холодно и мысленно поблагодарила Карена, вращавшегося в более серьезных кругах, где дракой никого не развеселишь.— Значит, от тебя у нее нет секретов?

Кто-то зазвонил в дверь.

— Снова что-то забыла,— сказал с восторгом Федька,— она по пять раз возвращается, нарочно, чтобы меня подразнить...

Он явно позабыл свои любовные объяснения, которыми обволакивал меня несколько дней назад, и откровенно гордился Ильзой. Пока он открывал дверь, я быстро приподняла торшер, вынула запонки и бросила их в специальный кармашек, который утром пришила изнутри к бюстгальтеру. И вовремя, потому что в комнату вместе с Федькой вошел Кооператор.

— Познакомьтесь,— радушно сказал мой старый друг,— это приятель Ильзы, он работает барменом в гостинице «Космос», и мы с ним вскоре откроем журналистское кафе...

Неожиданность придавила меня.

— И еще он обещал выпустить мой роман, так как связан с кооперативным издательством...

Кооператор овладел собой раньше меня и сказал с деревянной светскостью:

— Кажется, мы с вами встречались?

— Встречались,— подтвердила я, физически ощущая, как пульсируют у меня на груди проклятые запонки.

— Вы давно видели Марата?

Его вопрос ошеломил меня. Я была уверена, что он из банды, которая приходила ко мне на квартиру под видом милиции.

— Дня четыре назад.

— Где?

— На его квартире.

— Он был один?

— Нет, с двумя чернявыми юнцами...

Кооператор помрачнел, а я почему-то подумала, что всегда вижу его в одной и той же куртке с металлическими пластинками на плечах. Самосохранение или равнодушие к моде?.. Теперь у меня появился шанс хоть что-то узнать о Кооператоре, оказавшемся не бандитом, а всего-навсего очередным маленьким деловым человечком на чьих-то посылках...

— Нам не по дороге,— сказала я, поднимаясь, но Кооператор остановил меня:

— Если вы подождете внизу пять минут... Мы только покончим с нашими расчетами...

Стоя у Федькиного подъезда, я думала, как поступить с запонками. Вернуть хозяйке? Но я была уверена, что они достались ей неправедным путем. Сдать в прокуратуру? А где гарантия, что они не прилипнут к чьим-то великосветским ручкам? Прикарманить? Но я не любила незаработанные вещи и понимала опасность, которую они несли...

Кооператор появился довольно быстро.

— Мир тесен, все время локтями попадаешь в знакомых...

Мы двинулись по тротуару.

— Разве вы не рэкетир? — спросила я небрежно.

Он поперхнулся, посмотрел на меня и засмеялся.

— Вы были шестеркой Карена?

— Больно надо, у меня свое дело...— Голос хоть и был задирист, но не тверд.

— Откуда вы узнали, что его убили?

Он молча шагал рядом, и я заметила, что он все время оглядывается. Нет, спокойствия в его душе не было, он скорее напоминал дичь, а не охотника.

— Ко мне в бар пришли эти сопляки, чернявые гниды, и потребовали: ставь полсотни тысяч, а то пойдешь за Кареном... Ну, я их лбами стукнул, щенков злобных, не поверил, значит, а тут Марат прибежал, подтвердил, он среди многих крутился, себе цену набивал... И о картине, и о запонках, звонарь безмозглый...

...И этот путь оказался тупиковым.

В ПРОКУРАТУРЕ

Получив пропуск, я довольно легко нашла нужный кабинет и возле него увидела в кресле Лизу. Мы были удивлены такой встречей, и она с возмущением произнесла:

— Безобразие! Заставляют тратить время, а никого нет на месте. Неужели и тут бегают во время рабочего дня за колготками?

Потом оценивающе посмотрела на меня и спросила:

— Вас вызвали из-за «тети Лошади»?


МВД

Я пожала плечами.

— Вместо того, чтобы охранять коллекционеров, нас дергают с дурацкими вопросами. Представляете, в прошлый раз они допытывались, как мы составили свою коллекцию! Это-то при нашем бюджете? Ну, объясните, почему я, доктор наук, обязана доказывать, что не являюсь преступницей? Пусть они мне предъявят факты незаконности моих действий!

Ее некрасивое, но породистое лицо покраснело.

— Представляете, два часа терзали вопросами, что и как я меняла с «тетей Лошадью»! Можно подумать, что я навела на нее преступников. Да она сама была так нечистоплотна, так жадна...

— О мертвых или ничего, или только хорошее...

Мне стало неприятно. Единственным человеком, которого «тетя Лошадь» любила и уважала, была Лиза.

— А вы знаете, что она ходила последние годы постоянно на вернисаж и подстерегала несчастных старух, выторговывая за гроши редкости? Она мне предлагала бисерную картину за пятьсот рублей, а потом созналась, что купила ее за десятку...

— И вы купили?

— Она не захотела мне уступить, я давала триста... А последний раз я видела у нее рукодельный набор тульской работы. Представляете, яйцо из слоновой кости, инициалы стальные, с бриллиантовой огранкой, а внутри — игольник, ножницы, катушечки... ах! — У нее даже дух занялся от зависти.— А как она была надоедлива и бесцеремонна! Могла прийти без звонка, точно самый желанный гость, и, усевшись, начинала все вещи ругать или выпрашивать.

Лиза раздраженно расстегивала и застегивала новый вязаный жакет своей работы, как всегда, необыкновенно удачно сочетавшийся с юбкой и дорогими, хоть и не очень заметными, украшениями. Больше всего она любила эмалевые серьги-негритята, с маленькими алмазами. «Тетя Лошадь» постоянно пыталась их у нее выцарапать, но Лиза никогда не меняла по-настоящему хорошие вещи.

— А вы не знаете, кому достается ее коллекция? Ее не собираются пускать на аукцион?

— Она говорила, что завещала вещи музею, тем более что многие там и находились на хранении... Но обещала наследство...

— Вы у нее что-нибудь приобрели в последнее время? Говорили, что она не брезговала скупать и краденые вещи...

— Но вы тоже от них не отказывались, она рассказывала о какой-то уникальной бисерной скатерти...

— Наглая ложь! — По лицу Лизы пошли синеватые пятна, и я заметила, что попала в цель.

Но тут в коридоре появился Юрка, «важняк», очень официально пригласил меня в кабинет, где начал задавать традиционные вопросы, точно видел меня первый раз в жизни. Я отвечала лаконично и четко. Запонки грелись на моей груди, и я еще не решила, как с ними поступить.

После серии официальных, зафиксированных показаний я спросила:

— Скрипача нашли?

Он молча посмотрел на меня и стал копаться в бумагах.

— О Марате ничего не слышно?

Он мазнул взглядом по моему лицу и неожиданно бросил передо мной веером фотографии. Когда-то «тетя Лошадь» так же швырнула деньги, чтобы купить моего Шагала.

Я только взглянула и зажмурилась... Жестокость была патологическая.

— Дать воды?

Я молчала, не открывая глаз, пытаясь прогнать увиденное из памяти. Я давно презирала этого человека, давно не доверяла, но такая страшная смерть!

— Разве ты в этом не виновна? Если бы сразу позвонила в милицию... Ведь я могу привлечь тебя за сокрытие сведений по убийству...

— Откуда я знала, что его убьют? Он со всякими подонками якшался...

— Струсила? Побоялась связываться?

Его голос шуршал где-то вдалеке, а я все пыталась понять, почему сбежала из квартиры Марата и не попробовала помочь ему? Но ведь он держался с ними, как хороший знакомый, ни о чем не предупредил, продавал меня всем, кто мог дать приличную цену, пытался быть моим сутенером...

— Так и будешь молчать? Ну-ка, встряхнись, возьми себя в руки... 265

Я открыла глаза, и мне показалось, что прошло уже много времени.

— У него были родственники?

— Кажется, были.

— А ты никого не знала лично?

— Вы разыскали родных Карена? — задала я встречный вопрос.

Он усмехнулся.

— Боишься раздела имущества?!

Меня охватила злость, и я решила ничего не говорить.

Неожиданно «важняк» отложил ручку, прикрыл протокол и сказал, глядя на меня в упор:

— А ведь в университете я мечтал о тебе...

Я даже растерялась и ничего умнее не придумала, как спросить:

— Твой кабинет не прослушивается?

— Ты была такой яркой...— продолжал он, будто не расслышал моего вопроса.

— Я так постарела?

— И кем ты стала? Просто в голове не укладывается... Ну, современные девочки для радости...

— То есть шлюхи...

— Хоть оправдание имеют: безотцовщина, алкоголики в семье, без профессии...

— А сколько с высшим образованием сидят в «Космосе»?!

— Но ты знала языки, танцевала индийский танец в нашей самодеятельности, помнишь? На всех вечерах...

— И еще — вожу машину, печатаю на машинке, стенографирую и работаю на компьютере...

Глухо. Он меня не слушал.

— И ради шмоток, бабок...

— Ради независимости...

— Обидно, такой человеческий материал пропал...

— Да что ты меня хоронишь...

Без толку. Юрка вел свою партию без учета реплик партнерши.

— И хоть бы слезинку проронила... Видишь, что сделали с Маратом? Ты же с ним тоже жила.

— Мало ли с кем я жила! На всех слез не хватит...

Мой вызов его не тронул.

— Почему ты уперлась, как баран...

— Овца будет ближе...

— Ведь ты, по сути, осталась честным человеком...

Тут мое терпение лопнуло, и я поднялась.

— А вот оценки мне не нужны. И вообще мои эмоции прокуратуру не касаются. Отметьте пропуск, гражданин следователь, я правильно вас называю?

Он внимательно посмотрел на меня, слегка усмехнулся и сказал на прощание:

— Если к тебе опять придут, позвони по этому телефону.

Я посмотрела на визитку и пришла в полный восторг. Там

стояло: парикмахер-модельер. На русском и английском языках.

Эта конспирация меня так развеселила, что я долго улыбалась, проходя по Столешникову на Тверскую. И даже решила пройтись до дома пешком, чтобы разобраться в своих чувствах и поступках.

Если быть честной, гибель Марата меня не огорчила. Нет, конечно, по-человечески его было жалко, но это первый случай в моей жизни, когда судьба наказывала подлого человека. Страшное возмездие казалось почти справедливым.

Но почему мне до боли жаль «тетю Лошадь», Карена? Они тоже были далеко не ангелами, но в их действиях ощущался размах, им были чужды шакальи поиски объедков. Хотя стоит ли копаться во всем этом? Чем я лучше? Воспоминания о лжеамериканце и шейхе почти стерли добрую память о Карене. Он вышвырнул меня при первой осечке. И дурил, как младенца, разговорами о счете, долларах...

ВДОВА КАРЕНА

Вечером позвонила вахтерша и сказала, что меня ждет какая-то женщина.

— Какая женщина?

— Ну, из этих, восточных...

Я пожала плечами, но женщин не боялась, а потому открыла дверь.

Передо мной стояла толстая старая армянка с темными усами

над губой, измученным лицом и растрепанными седыми волосами под черной косынкой.

— Вы ко мне?

— Вай-ме, деточка, я жена... нет, страшно сказать, вдова Карена.

Я часто пыталась представить законную спутницу моего любовника, и теперь при виде ее по моей спине пробежали мурашки.

— Раздевайтесь.

Я повесила старенькое черное пальтишко из плюша на вешалку и пропустила ее в комнату.

— Вай-ме, и фотографии его нет! Не заслужил, значит. А я цветочки принесла, чтобы положить...

Она достала из облезлой сумки букет ярких сочных роз и поискала глазами вазу.

Я налила воды в любимую фарфоровую вазу Карена, покрытую выпуклыми незабудками, и поставила розы, испытывая острое чувство неловкости. Эта маленькая толстая женщина лишила меня наглости, на которую я настраивалась заранее...

Женщина села, сцепила пальцы на столе и внимательно посмотрела на меня.

— Красивая деточка, самая красивая из его дамочек... Но и тебя время не пожалеет, согнет, состарит, а чем жить будешь? Мне хоть внуки сердце греют.

— А дочери?

Из ее запавших глаз закапали слезы.

— Вай-ме, разве он ничего не говорил? Уже два года как нет моих цветочков, погибли в землетрясении, вместе с мужьями... К счастью, внучат я взяла на лето к себе в Ереван, Матерь божья прикрыла их своим крылом...

Карен мне ничего об этом не рассказывал и никогда не привозил из-за границы детских вещей.

— А внуки маленькие?

— Три годика солнышку Мушкетику и пять — луне Ануш.

Я ничего не понимала. Играет она или Карен на самом деле был не тот, кем я его представляла? Может, у него где-то была вторая семья?

— Простите,— сказала я,— вы первая жена Карена?

— Я — первая и последняя, единственная на нашей горькой земле, а другие были дымом, для дела и для тела. Армянский мужчина не может без женщин, но жену имеет только одну, на всю жизнь...

— Но вы обеспечены? У вас есть квартира, дача, пенсия?

— Все есть, золотая деточка, только Каренчика не вернешь. Была бы одна, ушла бы следом, но детишек надо в люди вывести. Время теперь неспокойное, страшное...

— Здесь почти все вещи принадлежали Карену,— сказала я, не дожидаясь ее атаки.— Вы можете все забрать. И фарфор, и мебель. Только драгоценности бандиты унесли...

— Неужели у тебя нет его фотографии?

— Нет, он не позволял себя фотографировать, даже на приемах отворачивался...

— Вай-ме, я как знала, чуяла сердцем...

Она достала из своей древней сумки большую фотографию Карена. В тренировочном костюме, босиком, он так весело улыбался, что у меня опять защемило сердце.

Женщина поставила фотографию на секретер рядом с розами и удовлетворенно вздохнула.

— Ну, вместе с ним и говорить легче.— Голос сразу стал жестче и грубее.— Фарфор мне не нужен, дорогая. И мебель-шмебель. Я скоро уеду в Америку, уже все оформлено. Отлет послезавтра. Так что это тебе, за верную службу. Я и документик принесла, отказ от всяких прав на твое имущество...

— А от этого вы тоже отказываетесь?

Я рывком вынула из бюстгальтера запонки, завернутые в тряпочку, и бросила ей.

Она неторопливо развернула сверток.

— Вай-ме, какая ты молодец! А я все думала — отдашь или соврешь, на бандитов сошлешься? Карен писал, хвастал этой покупкой, большие дела собирался с ними делать...

Она ласково погладила запонки и небрежно кинула их в сумку.

— Ну, спасибо за честность... Я тоже тебя отдарю...

И вдова Карена положила на стол длинную узкую бумагу, похожую на банковский чек.

— Бери, твой вклад, Карен никого не обманывал. За границей востребуешь, десять тысяч долларов на дороге не валяются...

— Вы обо всех его делах знали?

— У мужа от меня секретов не было, за то и ценил, что не командовала, всегда соглашалась, у нас, у армян, жена должна быть покорной...

— Из-за этих запонок его и замучили...

— Догадывалась...— Лицо ее стало жестоким.— Но скоро их покарает рука господня, я молилась каждый день, постилась и молилась, хотя Католикос сказал, что я плохая христианка...

— Куда вы едете? — спросила я.

— В Калифорнию. Там моя сестра, там много наших, даже откупили целый квартал в Лос-Анджелесе... Говорила я Карену, чтоб заканчивал свои дела, а он все не мог наиграться в свои мужские игры, сердце у него было, как у двадцатилетнего...

Она встала, походила по комнате, разглядывая вещи, точно искала на них следы его рук, потом сказала:

— Он тебя ценил, считал чистой, удивлялся, что сунулась в такие дела... И я тебе говорю — уезжай! Тут жить нельзя, уезжай!

— А фотография...— начала я.

— Оставь, пусть поживет в этом доме, порадуется, когда все будут наказаны. Тогда сожжешь, только не выбрасывай, а то счастья не увидишь...

Она надела свое пальтишко, завязала черный платок и неожиданно меня перекрестила, усмехаясь вялыми, морщинистыми губами.

Я долго сидела после ее ухода, понимая, что теперь мои проблемы решены. Буду продавать по одной-две вещи в месяц...

ПОХИЩЕНИЕ

Как это ни странно, отдав вдове Карена запонки, я почувствовала облегчение. Мне казалось, что теперь ни у кого ко мне не может быть претензий: ни у рэкетиров, ни у прокуратуры. Поэтому ночь я проспала спокойно, не прислушиваясь, как раньше, ко всем шорохам и стукам в своей квартире. Ни Шагала, ни запонок больше не существовало, а следовательно, я в полной безопасности.

Утром я первый раз после гибели Карена навела на себя марафет, очень скромный, но делавший мое лицо вызывающе красивым, и распустила рыжую гриву. Тут я вспомнила о смешной визитке Юрки, валявшейся в сумке, которую я хотела выбросить, но решила оставить как курьез. Накинув на скромный темно-синий костюм «от Диора» ярко-зеленый шарф, я вышла на улицу танцующим шагом.

Недалеко от моего подъезда стояла черная «Волга». Я мельком взглянула на нее и двинулась в сторону Первого Неопалимовского переулка. Вдруг мой высокий каблук попал в щель треснутого асфальта, и я чуть не упала. Кто-то вежливо взял меня под руку, помогая сохранить равновесие. Я выпрямилась, поблагодарила, но чужие пальцы не отпускали мой локоть, а настойчиво тянули к машине.

Я не сразу поняла, в чем дело, вернее, не узнала своего нахального спутника, решив, что очередной поклонник набивается на знакомство.

Подойдя к черной «Волге», я вдруг вспомнила и эти узкие черные глазки, и усики, но тут из машины вылез его напарник, и они вдвоем быстро затолкали меня в душное бензиновое нутро салона.

Сейчас трудно вспомнить, могла ли я закричать, вырваться. На Плющихе никого не было. А может быть, я предвкушала, как разочарую бандитов, объявив, что вожделенной добыче «приделали ножки». Невольно я скосила глаза на руку соседа. Свежий шрам отчетливо багровел, и я даже почувствовала гордость, что оставила такую отметину, но когда я перехватила взгляды, которыми обменялись оба конвоира, мне стало неуютно. И тогда я решила сыграть роль «красавицы», избалованной мужским вниманием. Я слегка поддернула юбку, открыла колени, которыми Бог меня не обидел, закинула ногу на ногу и томно попросила:

— Мальчики, дайте закурить!

Они снова переглянулись, и тот, кого я не пометила скальпелем, протянул мне «Пелл-Мелл». Я усмехнулась.

— Простите, но это курят лишь продавщицы галантереи.

Я полезла в сумку, достала пачку сигарет, которые привозил для меня Карен, ментоловые с медовым запахом, и предложила своим похитителям.

Сосед справа пренебрежительно фыркнул, а сосед слева взял сигарету. Тогда я решила сосредоточить свои чары на нем.

— Прикурить можно? — Я старалась говорить низким бархат-

ным голосом, лаская при этом взглядом полузакрытых томных глаз маленькое, тупое, плохо побритое лицо.

— Куда едем, мальчики? Я предпочитаю утром валютный бар в хаммеровском центре. Там потрясающий кофе и тартинки. Не пробовали?

Сосед справа зашипел, точно проколотый мяч:

— Заткнись, зараза!

А сосед слева с четким восточным акцентом произнес:

— Не надо пугать девушку, девушка будет послушной...

— Вы армянин, как и Карен? — радостно воскликнула я.— Наверное, земляки?

— Я сейчас заткну эту паскуду! — шепотом прошипел сосед справа.

Но тут обернулся водитель и, лениво растягивая звуки, сказал:

— Без нервов, мальчики.

Я узнала реставратора Степу.

Тон был уверенный, но не резкий, улыбка ленивая и добродушная, и все закружилось в моей глупой голове. Люда, его мастерская, «тетя Лошадь» — начинала складываться совершенно неожиданная мозаика, и я поразилась своей тупости. Но нельзя было выпадать из выбранной роли, и я прощебетала кокетливо:

— Привет, Степа, как приятно видеть знакомое, почти родное лицо! А куда вы меня везете? К тебе в мастерскую? Может, все-таки заедем в бар, я не успела позавтракать...

Сосед слева засмеялся:

— Люблю рисковых телок...

Степа укоризненно покачал головой.

— Позавтракаем на даче, дорогая, все пройдет на высшем уровне...

— Но я люблю утром икру...— капризничала я,— с лимоном и чуточку апельсинового сока с коньяком.

— Будет тебе белка, будет и свисток,— сказал сосед слева, погладив мое колено, и я демонстративно придвинулась к нему.

Хотя Степа не мог нас видеть, он произнес ровным голосом:

— Эта не по твоим усам, успокойся, пока тебя не успокоили...

И мой конвойный превратился в бесчувственную статую.

Остановились мы перед двухэтажным домом, с огромными окнами и застекленными верандами. Перед зданием был разбит цветник, уже прибранный и засаженный к лету рассадой, а весь участок опоясывали высокие кусты боярышника, на фоне которых почти не просматривалась проволочная сетка.

— Как тут хорошо! — сказала я непринужденно.— Это ваша дача, Степа? Жаль, что вы никогда не приглашали меня с Людой, она, наверное, бывала здесь не раз...

— Ну, теперь у вас будет время привыкнуть к этой даче,— сказал Степа многозначительно, вылезая из машины, и я снова удивилась непропорциональности его долговязой фигуры и крошечной головки. Мои спутники шагали рядом со мной, зорко следя, чтобы я не сделала неожиданного движения.

— Шаг в сторону считается побегом...— пропела я, и конвойный со шрамом сказал с удивлением:

— Чего радуется, курва?

Его компаньон не издал ни звука, лишь старался не смотреть в мою сторону.

Мы прошли через светлую дубовую переднюю, явно сделанную на заказ, и оказались в кабинете, заставленном шведскими стеллажами. Меня восхитил камин — классический модерн, с изразцами и чугунной отделкой в виде лилий.

— Да, Степа, вкус у вас безукоризненный! — похвалила я реставратора.— Неужели этот дом ваш?!

Он показал мне на кресло возле камина, сел по другую сторону и скомандовал своим подручным:

— Завтрак по вкусу нашей гостьи. А мне кофе, тосты и яичницу с беконом.

— Прямо как в заграничных кинофильмах...— засмеялась я, чувствуя, что напряжение постепенно начало спадать.

Конвойный вкатил дубовый столик на колесах и сдернул крахмальную салфетку.

Степа жевал яичницу лениво и равнодушно, точно травку, и между несколькими глотками кофе сказал:

— Это дача Карена. Ты не знала о ней?

— Нет. Наверное, он ездил сюда с другими девушками.

— Мальчики наглупили,— продолжал Степа.— Убийство им не поручали. Я оплакивал его, как родного брата, такой голове государством руководить...

— А не играть в мафиози...— прервала я.

— При чем тут мафиози? Вы не в Америке, моя дорогая... Просто я по-дружески просил его отдать эти запонки, мне светило приглашение в Южную Америку от одного очень серьезного коллекционера... И я давал Карену максимум, по самой высокой таксе...

— А теперь — ни запонок, ни Карена, ни дачи...

— Нет, дача была оформлена на мое имя, и встречную расписку мы изъяли из твоей квартиры, а запонки, надеюсь, ты нам подаришь... Я просчитал, они могут быть только у тебя, и бедный Карен пострадал напрасно...

— Да что в этих запонках замечательного? — искренне вырвалось у меня.

— Мой миллионер собрал редкую коллекцию в память о невинно убиенном государе-императоре и его семье, и с этими запонками я был бы самым желанным гостем и сотрудником...

Терпение Степы казалось безграничным. Я хотела сказать, что запонки у вдовы Карена, но мне вдруг стало за нее страшно.

— У меня уже нет запонок,— сказала я небрежно,— я их продала.

— Кому? — Степа согнулся в кресле, точно для прыжка.— Пойми, я отдам тебе любые драгоценности Карена. Тут дело не в цене, а в раритете. Если я потребую, миллионер сделает меня директором императорского музея... Так кому ты продала запонки?

— Я их не продала, а поменяла.

Я начала медленно рассказывать, как Карен обнаружил их пропажу из секретера и как орал на меня.

— Да, пока ты была на кухне, Марат не успел их взять и от растерянности бросил под книжный шкаф...

— Так зачем его эти зверята мучили?

Он виновато пожал плечами.

— У мальчиков восточный темперамент...

— Но вы же дружили!

— Какие сантименты! Я платил достаточно щедро, не стоило ему забываться... Тем более что мне деньги доставались честным трудом. Думаешь, реставрация — легкое ремесло, да еще в наших условиях? Пока достанешь нужные компоненты, пока разгадаешь секреты старых составов... Так на что ты поменяла запонки и с кем?

— С «тетей Лошадью»... Ты же знаешь, как она умела въедаться в печенки. Дала пять тысяч и вазу, которую я у нее давно выпрашивала, в технике «Шакудо»... с золотым петухом...

Он с отвращением покачал головой.

— Идиотка!

— А вы ее убили...— начала я, но он меня перебил:

— Да при чем тут мы? Ее отравил Цыган, тот скрипач, который «наколол» старуху в ресторане.

— Наверное, и запонки теперь у него,— сказала я мстительно.— Она мне говорила, что он обещал достать к ним брошку, поэтому и телефон дала, и в квартиру впустила...

Степа качал головой и постанывал от моей глупости и своей нерасторопности.

— Ты посиди тут,— сказал он,— а я попробую навести в городе справки.

— Только не лезь в ее квартиру, вдруг там засада? — решила я проявить заботливость.

— А я — наследник, она постоянно это говорила, да и ключи у меня есть, ее подарок...

Он бесшумным шагом прошелся по библиотеке.

— Потерпи, вечером Людку захвачу, покайфуем. Надо же снять стресс!

— Но твои «шестерки» могут быть нахальными...

— Без моего приказа?

Он тут же позвал своих сообщников и сказал им, что я его гостья, что все мои желания должны выполняться, только надо следить, чтобы я не покидала дачу до его возвращения.

Мне стало смешно, но я сделала вид, что огорчена покушением на мою свободу...

Подождав полчаса после отъезда Степы, я потребовала телефон, но в ответ услышала:

— Не велено...

— Мне надо позвонить парикмахеру... Из-за вас я теряю очередь, имейте совесть, прическа для женщины важнее любовников...

— В какую парикмахерскую звонить? Диктуйте номер...

— Разве я похожа на женщин, которые посещают парикмахерские? — Я гордо пожала плечами.— У меня свой мастер, на дому. Поль Федюнин.

Я достала визитку Юрки.

— Скажите по этому номеру, что я задерживаюсь...

После внимательного изучения визитки мне был передан аппарат на длинном шнуре. Я набрала номер и кокетливо произнесла в трубку:

— Это Анастасия... Добрый день, я записана на сегодня, на три часа, но обстоятельства изменились... Может быть, перенесем на вечер?

— Лучше на завтра...— Бесхитростно посоветовал следивший за мной юнец.

— Вот мне подсказывают, что я не освобожусь раньше завтрашнего дня... Примете?

— Не вешай полностью трубку...— прозвучал в ответ голос Юрки.

Я обернулась:

— Ой, кто это заглядывает в окна?

Юнец кинулся к стеклам, а я осторожно поставила аппарат на пол, не установив полностью трубку на рычаг.

— Никого, вам почудилось...

Я громко вздохнула:

— Наверное, я так устала от всех волнений... А чем вы меня будете развлекать до возвращения Степы?

Он нахмурил чистенький, низенький лоб.

— Телек хотите? Хоккей показывают...

— Мне бы чего-нибудь попроще...— хмыкнула я, подошла к полкам и начала рыться в книгах, вызвав у моего надсмотрщика откровенную зевоту.

— И чего тут читать? Отдыхайте, никто ведь не заставляет вас работать...

Книга у него явно ассоциировалась с тягостной трудовой повинностью.

— Принесите плед,— сказала я капризно,— хоть вздремну, чтоб время шло быстрее.

Юнец выбежал из комнаты, так и не поправив трубку телефона, и я успокоилась, подсчитывая, за сколько минут доберутся сюда работники милиции.

ПИРРОВА ПОБЕДА

Их повязали почти бескровно. Юнцы не успели взяться за оружие, а Степу изъяли из «общественной жизни» на квартире «тети Лошади». Там уже собирались снять засаду, и он попал в объятия тех, кто даже не подозревал о его существовании.

Степа долго отнекивался, кричал, что был крестником «тети Лошади» и считал себя ее наследником. Но юнцы раскололись быстро, так как их пальчики нашли и на трупе Карена, и на трупе Марата.

За ними тянулась такая длинная кровавая цепочка, что их даже показывали психиатрам, не обнаружившим у них ничего, кроме легкого нервного расстройства.

Из-за Степы вызывали многих коллекционеров, которых он

обслуживал. Никто не хотел верить, что такой Мастер стал преступником.

При очередном свидании Юрка сказал, что у него есть для меня сюрприз, и показал мне картину Шагала.

— Твоя?

— Мамина. А как ты узнал, что она у профессора?

Он засмеялся в ответ и спросил:

— Кто атрибутировал это произведение?

— Сначала Степа, потом Лиза. Правда, она признала ее за картину Филонова.

— А в музеи ты не обращалась?

— Нет, отец знал ее стоимость.

«Важняк» хмыкнул, достал какую-то бумагу и протянул мне. Я прочла, что мой Шагал — подделка высокого уровня по мотивам Шагала и Филонова, с использованием подлинных красок 20-х годов...

Господи, сколько было шума и скандалов, и вокруг чего?..

— Если бы художник подписался собственным именем, он не получил бы и сотой доли того, что сорвал как реставратор...

— Неужели и тут Степа?

Следователь кивнул.

— Да, в молодости он этим баловался, набивал руку, работал красками, которые соскребал со старых любительских картин.

Я вспомнила, как «тетя Лошадь» говорила, что у ее крестника невинное хобби — наивные дилетантские картинки начала века...

— Зачем ему нужна была банда?

— Банда была не его, «шестерки» принадлежали Карену. Именно Карен втянул Степу в эти мероприятия... Сначала нанимал охранников, потом стал выполнять конфиденциальные поручения. Последние годы Карен держался очень высокомерно, а Степа считал, что именно он создал ему репутацию коллекционера-знатока. Видимо, по-разному можно отстегивать деньги. Вот Степа и воспользовался тем, что Карен не разрешал трогать своих девочек этим «шестеркам», и переманил их...

— Но бессмысленная жестокость...

— Оба — наркоманы, с двенадцати лет... Иногда наркоманы сознают, что жизнь загублена, и приходит ненависть, желание покуражиться...

— В результате чего погибли три человека...

— А себя ты не считаешь?

— Но я-то цела...

— Карен собирался тебя перепродать одному бизнесмену из Эмирата...

— Арабу? — Меня передернуло при воспоминании о шейхе.

— Да, в счет большой сделки...

— Но как?

— Карен уступал тебя за большую партию компьютеров со скидкой. Тебе была бы предложена туристская поездка в Эмираты, где ты «случайно» попала бы в гарем...

Я рассмеялась, считая, что он берет меня на пушку, и вызывающе вскинула голову.

— Что еще от меня надо?

— Где запонки?

— У вдовы Карена. Я ей отдала. Мне не нужны чужие вещи. На них слишком много крови...

Юра торопливо позвонил по телефону, сказал несколько отрывистых фраз и обозленно посмотрел на меня:

— Не могла сообщить раньше? Она сегодня утром улетела с внуками в Штаты...

— И пусть. Ей запонки пригодятся...

— Но это национальная реликвия.

— Да? Сначала человека убили, труп уничтожили, а теперь начнем слюни пускать, подлизываться к монархистам...

«Важняк» нахмурился.

— Ты обязана была сдать запонки государству...

— По какому праву? Они мне не принадлежали, а в Америке, может быть, попадут в приличный музей...

— Но русское достояние...

— А сколько сплавило наше правительство за бугор «русского достояния», сколько захватило в личное пользование!

Я была очень довольна, что вдова Карена улетела. Каким бы он ни был, но в этой истории тоже оказался орехом для беззубых, задыхаясь от неуемной энергии и предприимчивости... Не чувствовала я ненависти и к несчастной старухе, способной так самоотверженно любить. Это казалось высшим даром, который получает редкий счастливчик на земле.

И я окончательно решила уехать.

Без Карена вернуться к старому образу жизни казалось нелепым, найти нового «босса» было хоть и не сложно, но тревожно, да и ранга они были помельче...

А с долларами я не пропаду в любой стране, где говорят по-английски.

Я заехала к матери и сообщила о своем решении.

Мать выглядела потухшей. Не было ни криков, ни возмущений, ни попреков. Она только сказала:

— Чужие мы...— голос ее дребезжал,— не сумела воспитать в тебе настоящие идеалы, ты всю жизнь только о себе думала...

— Довольно того, что ты страдала за человечество!

Мы помолчали, она не предложила мне поесть, как раньше, словно мы были уже далеко друг от друга...

Я вернулась к себе, лениво достала из почтового ящика газеты и письма и удивилась надрывным телефонным звонкам.

Я сняла трубку и услышала голос Алкиного мужа. Алка умерла от преждевременных родов. Не дослушав его, я повесила трубку и несколько часов просидела в каком-то оцепенении. Алкина смерть казалась самой большой нелепостью, ведь она была частичкой моей души...

Я встала, сняла жакет, повесила его на вешалку и увидела брошенные второпях газеты и письмо без обратного адреса. Я равнодушно подняла его. Почерк крупный, не очень интеллигентный, конверт самый дешевый, без картинок...

Неужели очередные рэкетиры?

Я надорвала конверт и увидела два листка, заполненных незнакомым почерком.

На одном было всего несколько строк:

«Пишу под диктовку Аллы. Она сознает, что умирает, но не может шевельнуться из-за капельницы. Сознание ясное, доктор засвидетельствовал ее подпись и просьбу...»

На другом листке я прочла:

«Дорогая Настя! Жизнь меня переиграла. Остается дочь. Если выживет, возьми к себе. На Ваньку надежда плохая. Он знает, что она не от него. И возиться не сможет. А тебе готовое чадо не помешает. Увези ее туда, где живут по-человечески. Пусть хоть она будет счастливой. О настоящем отце не говори, он не имеет права на детей. Обнимаю вас обеих. Алла».

Все было написано подряд, в одну строку. И только ниже стояло: «Подпись больной заверяем». Врач и старшая сестра. И печать роддома.

Я знала, что могу уехать к отцу, что это маленькое слабое существо будет со мной, но странная неуверенность охватила при мысли, что моя приемная дочь так и не узнает родного языка, вырастет в благополучной, но чужой стране, не подозревая, где остались ее корни, где могила матери.

Раньше, когда я говорила, что трудно рвать нити, связывающие меня со страной, Алка смеялась:

— Ты не репа, чтобы думать о корнях...

— Но и не перекати-поле...

— Чушь! Родина там, где человеку хорошо.

— Почему же ты не уезжаешь?

— Меня там никто не ждет, трудно пересдать диплом, а работать посудомойкой для хорошего врача унизительно.

— Но там даже у медсестры зарплата выше!

— А самоуважение?!.

И я решила, что хотя бы первые три года девочка должна прожить здесь, на родине. С моими деньгами и знанием языка я не пропаду за бугром и через несколько лет. Но лишать ребенка счастья хоть в раннем детстве слышать материнский язык я не имела права.

Раздался звонок. Долгий, настойчивый, упрямый. Пришлось встать, собраться с силами и открыть дверь.

На пороге стояла Ильза, в яркой малиновой куртке, с распущенными волосами, в вечернем макияже.

— Ой, простите, я только услышала о ваших делах. Мы в баре сидели, и я вся обмерла. Может, нужна помощь? Я все умею делать, и постираю, и уберу, только скажите.

Лицо ее, несмотря на грим, выглядело по-детски рассеянным и смущенным.

— А может, вам деньги нужны на первое время? Я достану, завтра же привезу, вы только не молчите.

Значит, Карен хоть раз да ошибся. У этой девочки осталось сердце, несмотря на то что ей пришлось испытать в свои семнадцать.

Я достала простыни, полотенца, объяснила, что в квартире будет жить маленький ребенок, и попросила прокипятить все

белье. И еще продумать, где поставить детскую кроватку.

Выходя из комнаты, я увидела фотографию Карена и вспомнила просьбу его вдовы. Не обращая внимания на изумленную Ильзу, я взяла этот портрет и подожгла с уголка зажигалкой. Стряхнула с пальцев пепел, взяла Алкино завещание и поехала в роддом забирать свою будущую дочь...

ЧИТАТЕЛЬ-«СМЕНА»-ЧИТАТЕЛЬ

«Кто я и откуда?»
Одним — могила, другим — «мерседес»
«Мой муж — теоретик эгоизма»

Вот уже шесть лет я каждый месяц пишу письма в разные инстанции по поводу розыска моих родителей или каких-либо родственников, и, поверьте мне, ни одна организация, куда я направлял письма, так мне и не ответила. Написал я более девяноста писем, но все остались равнодушными к моим запросам. Зовут меня Варламов Сергей Константинович, родился я, как записано в свидетельстве о рождении, 1 мая 1964 года в Металлургическом районе города Челябинска. Мать — Варламова Нина Николаевна. В графе «отец» — прочерк. Из разговора с воспитателем детского дома мне стало известно, что до трех лет я воспитывался у родителей. При невыясненных обстоятельствах попал в Кунгурский детприемник Пермской области, оттуда — в Осинский детский дом, где прожил до семи лет, а потом меня направили в Краснокамскую школу-интернат Пермской области. К сожалению, это все, что я знаю о себе. Когда я попытался навести справки о родителях по записям в детдомах городов Осы и Кунгура, то мне сообщили, что детдома расформированы, а архив не сохранился. Разослал я письма с просьбой о розыске родителей в паспортные столы Челябинска и Перми, но мне так и не ответили. Писал в «Комсомольскую правду», в «АиФ», дважды на телевидение — впустую.

Помогите мне, пожалуйста. Не может же быть, чтобы у меня никого не было. «Смену» читают миллионы людей, и вдруг случится чудо — найдутся родственники, братья, сестры?

Сергей ВАРЛАМОВ,
Соликамск

Мне двадцать восемь лет, замужем. Своего мужа знала еще со школы. Сейчас он наркоман с шестилетним стажем. Это пристрастие привез из армии — служил в Средней Азии. Когда мы решили пожениться, он уже понимал, что наркотики — это кошмар, конец всем надеждам, мечтам, всей жизни.

Я надеялась, что наша любовь и мое терпение помогут нам справиться с этой бедой, но увы! Ни любовь, ни прекрасный ребенок, ни желание мужа не помогли. Сперва он пытался бороться сам, потом испробовал метод Довженко, но оказалось, что важно не только бросить, но и полностью поменять образ жизни, друзей, занятия. А мы продолжали жить, работать на прежнем месте, и через десять месяцев все началось сначала.

Я не буду рассказывать о тя-

готах нашей жизни. Мне просто очень стыдно перед сыном — я виновата, что выбрала ему такого отца; жаль и мужа, который погибает у меня на глазах (а я не хочу его терять), жаль свою маму, которой трудно и работать, и помогать мне и у которой сердце разрывается за судьбу единственной дочери и внука. Своей матери мой муж не нужен, она считает, что его порок — это слабохарактерность, дурь; ждет, когда он умрет или его посадят. Но ведь это болезнь, хотя я знаю, что со мной многие не согласятся.

У нас в Харькове (не знаю, как в других городах) есть люди, живущие за счет здоровья наших мужей, братьев, детей.

Около нас открыто торгуют наркотиками, но сажают, увы, только пацанов за употребление, а торговцы покупают «мерседесы», «тойоты», строят огромные дома (хотя, бывает, и сами же гибнут от наркотиков). Хотела обратиться в милицию, но муж сказал, что милиция все знает, обращаться бесполезно. Была даже мысль поджечь этих ненавистных торговцев, но жаль их детей. Хотели поменять место жительства, но в каком бы районе ни находили квартиру, рядом оказывались торговцы наркотиками.

Сыну скоро три года. Пора выходить на работу из декретного отпуска, потому что жить не на что. Я знаю, меня многие не поймут, скажут: брось его, думай о сыне, о себе; скажут: он слабак, не стоит этих забот. Но мое письмо для тех, кто столкнулся с этой бедой и поймет меня. Если я ему не помогу, то кто же еще? Брошу — буду все время думать, что не все сделала для его спасения. И что я скажу сыну? Да, в конце концов я очень люблю своего мужа.

Каждый день вижу десятки молодых ребят, девушек, которые приезжают за наркотиками — мои ровесники и даже школьники. Хочется остановить их, но как это сделать, не знаю. Может, найдутся люди, знающие, где лечат наркоманов, может, сумевшие вырваться из этого ада поделятся опытом?

СВЕТЛАНА, Харьков

Пишу в минуту отчаяния. Слезы застилают глаза — больно, обидно. Все мои несчастья оттого, что мне совесть не позволяет сдать своего ребенка-инвалида. Три года назад я оставила работу, чтобы постоянно находиться около него, и в семье начался ад. Муж все дальше и дальше отдаляется от нас, живет своими заботами, интересами, считает, что я должна быть довольна тем, что он сейчас, в такое тяжелое время, обеспечивает нас продуктами. Практически с нами не общается. Недавно я узнала: у него есть другая женщина. Мои попытки как-то прояснить ситуацию ни к чему не привели. Он считает, что, если я решила посвятить себя ребенку, это мое дело, а его личная жизнь не должна быть предметом обсуждения. Но ни уходить из дома, ни разводиться он не собирается. И мне не советует. Мол, от этого лучше не будет. Самое страшное, что он прав. Но какие же нужны силы, чтобы все это вынести!

Знаю, не одна я в таком положении. Хотелось бы получить совет женщины, которая все это уже прошла. У меня сейчас такое состояние, как будто из меня вынули сердце и жизнь кончилась. Нет сил. Ведь я не могу предпринять никаких шагов — материально зависима от мужа.

Т. М., Московская область

Шахматная эпиграмма







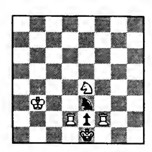
Под редакцией международного гроссмейстера

ВИКТОРА ЧЕПИЖНОГО

Среди задач этого номера читатель видит композиции ряда наших маститых проблемистов. Это, несомненно, способствует росту престижности нашего конкурса и повышению его творческого уровня. Но справедливо также отметить, что композиции авторов не со столь громкими именами достойно выдерживают конкуренцию.

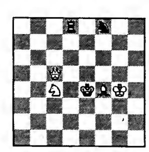
В двухходовках, естественно, доминируют выбор игры с переменой матов. Элегантная малютка 22 содержит три правильных мата! В 23 и 24 решателю следует остерегаться пата. Замысел автора 25 — взаимосвязь ходов белых фигур на одно и то же поле. Завершают публикацию две многоходовки логического стиля.

19. Ю. ГОРДИАН
Одесса



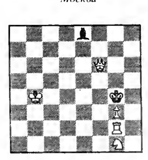
Мат в 2 хода

20. И. КИСИС
Приекули (Латвия)



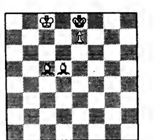
Мат в 2 хода

21. А. ЛОБУСОВ
Москва

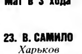


Мат в 2 хода

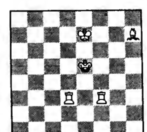
22. С. ПЕТРОВ
Иваново



Мат в 3 хода

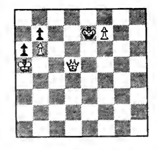


23. В. САМИЛО
Харьков



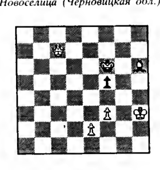
Мат в 3 хода

24. С. НИКОЛАЕВ
Иваново



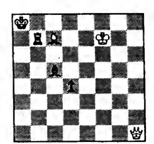
Мат в 3 хода

25. М. МАРАНДЮК
Новоселица (Черновицкая обл.)



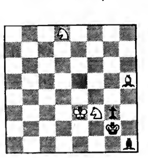
Мат в 3 хода

26. А. ФЕОКТИСТОВ
Московская обл.



Мат в 4 хода

27. Н. ЗИНОВЬЕВ
Усть-Каменогорск



Мат в 5 ходов

По горизонтали:

4. Мастер, делавший мебель для дворцов Наполеона Бонапарта. 10. Знаменитое произведение Гаэтано Брага, о котором писал в рассказе «Черный монах» А. Чехов. 11. «Уж ей-то не до красноречья, не до ораторских потуг: она кричит, как роженица, бесстыдных не скрывая мук» («героиня» в «Романсе» Инес де ла Крус). 12. Черный средневековый капюшон из шелка или кружева. 13. Способ самоубийства самурая в случае, если у него украли или отбили в бою меч. 14. Отрасль знаний о лестницах. 15. Дольче или форте по отношению к музыкальному исполнению. 20. Каждый из мужских духов в мордовской мифологии. 22. Ходит спесь, надуваючись (загадка). 24. Чувство. 25. Отец русской метеорологии. 26. Греческий бог, чьим волшебным шлемом воспользовался Персей, добывая голову Горгоны. 30. Село, под которым русская армия в 1812 году нанесла значительные потери войскам Мюрата. Это была первая победа над французами после битвы у Бородина. 31. Самый, видимо, «минорный» русский композитор. 33. Литературное течение, жрецы которого как основной творческий постулат восприняли слова Г. Флобера: «Я полагаю, большое искусство должно быть научным и безличным». 34. «Свинцовая земля». 36. Антилопа. Самцы дерутся на «коленях». 39. Представитель кавказского народа, само название которого галгаи. 40. Лысина по сторонам лба кверху от висков.

41. Житель пристани на Камском водохранилище. Прежде местные селяне снабжали знаменитую ярмарку в Юрле сибирской рыбой и хмелем. 42. Каждый из «пишущей твари» в устах Репетилова («Горе от ума» А. Грибоедова). 43. Знаменитый революционер Испании. Гимн в его честь стал национальным гимном. 48. Противники землян в «Войне миров» Г. Уэллса. 49. Должность, с которой Шамиль снял Хаджи-Мурата (в повести Л. Толстого). 50. Учреждение в Регби, впервые в Англии организовавшее в 1837 году бег с препятствиями. 51. «Тот, кто, может быть, и заражает других, но ранее сам заражается; в отличие от пророка, который только заражает...» (В. Розанов). 52. Китайская лиана, с 1826 года растущая в Никитском ботаническом саду. 53. Побежка зверя на языке охотников.

По вертикали:

1. Кулик, заглатывающий мелкую добычу, не вынимая клюва из воды или ила. 2. Древнегреческая мужская войлочная шляпа круглой формы. 3. «Ржавчина» морали. 4. Боярин, на средства которого в 1345 году была построена церковь Спаса Преображения на Ковалеве близ Новгорода. 5. Северная морская птица, сопровождающая суда. 6. Стиль плавания, распространенный галлорами, немецкими и швейцарскими добытчиками соли. 7. Место в Королевском парке в Брюсселе, где есть бюст Петра Великого. 8. Мраморное сооружение, под которым в 1937 году захоронено сердце Пьера де Кубертена. 9. «Самое изящное, но и самое трудное из всех положений танца» (балетмейстер К. Блазис). 16. Ближайший родич зяблика. 17. Немецкий архитектор, создавший епископскую резиденцию в Вюрцбурге, известную росписями Дж. Тьеполо. 18. «Серебрецо» испанских завоевателей Колумбии. 19. Нечистая сила, принявшая «привычный для нас» облик. 20. Каждое из десяти воплощений бога Вишну. 21. Великий писатель, промышлявший в юности контрабандой спирта (во время «сухого закона» в США). 23. «Растворитель» дружбы великих психологов З. Фрейда и К. Юнга. 27. Мельник о князе: «Он сам работает, куда как жалко! А за меня вода!.. а мне покою ни днем, ни ночью нет, а там посмотришь: то там, то здесь нужна еще починка, где..., где течь» (А. Пушкин. «Русалка») 28. Стиль романов Дж. Лили, пьесы В. Шекспира «Два веронца». 29. Скрипач, постоянно выступавший в сонатном ансамбле с Л. Обориным. 32. Персонаж комедии дель арте в черной полумаске. 35. Дерево, из семян которого получают масло, незаменимое в производстве высококачественных эмалей, лаков 36 В Армении — ..., в Грузии — дарбази, в Азербайджане — карадам. 37. Английский физик, сконструировавший первые переменные реостаты. 38. Домашняя листовая пастила. Земляничной славился Каргополь. 40. Византийский император, выдавший сестру Анну замуж за киевского князя Владимира. 43. Сторона, которую никогда не увидит орел. 44. Поэтический рассказ монгольского сказителя. 45. Дикий сирийский осел, упоминаемый Тацитом. 46. Металл в сорок с лишним раз тяжелее лития. 47. Ярко-зеленый минерал, добываемый только в Швеции.

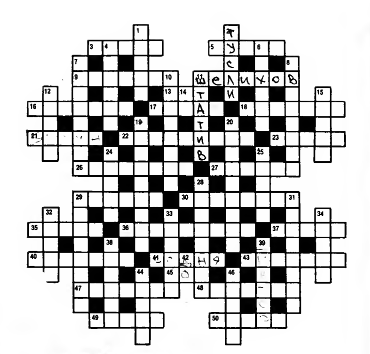
ОТВЕТЫ НА «ЭРУДИТ», НАПЕЧАТАННЫЙ В № 2—3

По горизонтали:

1. Костюм. 6. Внучка (дочь Марины Цветаевой). 10. Чижов. 12. Михраган. 13. Желонщик. 16. Безыменский. 21. Гудович. 22. Таможня. 23. Запятая. 26. Халдеи. 29. Коклен. 32. Ри 33. Шляпа. 34. Ял. 35. Корсак. 38. Фехнер. 40. Евтерпа. 44. Сокотра. 46. Урчание. 48. Мандельштам. 53. Турмалин. 55. Покаяние. 56. Регул. 57. Нефрит. 58. Цветок.

По вертикали:

1. Кума. 2. Саха. 3. ...Юмашев... 4. Цин. 5. Дож. 7. Неодим 8. Чаща. 9. Арка. 10. Чавыча (тихоокеанские лососи). 11. Верста. 14. ...семя. 15. Сумароков. 16. Бонд. 17. Зизи. 18. Каяк. 19. Йорк. 20. Энтелехия. 24. Пульт. 25. Топор. 27. Лир (у Шекспира). 28. Еда. 30. Оже. 31. Лян. 36. Слом. 37. Керн. 38. Фарт. 39. Храм. 41 Ваджир (в Кении). 42. Емля. 43. Пушбол. 45. Татами. 47. Чапаев. 49. Итон. 50. Ариф. 51. ...гнет... 52. Шейк. 54. Ней 55. Пул (пула).



КРОССВОРД составил С. МАЛЕЕВ, Полтава

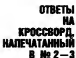
По горизонтали:

3. Приспособление, вес которого зависит от водоизмещения корабля. 5. Грибовидный столбик у причала. К нему с помощью швартовых крепят судно. 9. Овощ, называемый в Италии золотым яблоком, а во Франции — яблоком любви. 11. Купец-землепроходец, основавший первые русские поселения в Русской Америке. 13. Приток Тобола. 16. Медный духовой инструмент, обычный в военных оркестрах. 17. Герой цикла романов Ф. Купера о Кожаном Чулке. 18. Взгляд на вещи, определяющий норму поведения. 21. Грек. 22. Вид гравюры в сочетании со штриховым офортом. 23. Единица градиента силы тяжести. 26. Заросли ягодного кустарника в лесу, где нередко прячутся вальдшнепы. 27. Африканское государство, где женщины намного образованнее мужчин. 29. Остров в проливе Ла-Манш, где В. Гюго написал «Отверженных». 30. Звание председателя яхт-клуба в СССР до 1926 года. 35. Рыба, компонент питания подводников во время автономного плавания. 36. Адмирал, единственный из членов царского суда, кто проголосовал против казни декабристов. 37. Единственный город в Египте, который не смог завоевать Наполеон. 40. Другое название локаяты, материалистического учения древней Индии. 41. Брат, внук, дядя, племянница (совокупность). 43. Знаменитый римский оратор, которому сенат после подавления заговора Катилины пожаловал почетное звание «отец отечества». 45. Судно, на котором

Р. Амундсен в 1918—1920 годах совершил сквозное плавание Североморским путем. 47. Бурное озеро в Мурманской области. 48. Съедобный гриб. 49. Гидротехническое сооружение. 50. Рыба болотистых заливов, популярная у немецких аквариумистов.

По вертикали:

1. Художественный музей в Мадриде. 2. Самый «былинный» музыкальный инструмент. 4. Римский император, появлявшийся в публичных местах одетым в львиную шкуру. 6. Краснобай, рассказчик, сказочник. 7. Представление, что в мире господствует положительное начало, добро. 8. Заносчивость. 10. Чукотский женьшень. 11. Стойка для укрепления химической посуды и инструментов. 12. Автор романа «Колеса». 14. Бык в «юбке». 15. «Но панталоны, фрак, ..., всех этих слов на русском нет» (А. Пушкин. «Евгений Онегин»). 19. Передающая телевизионная трубка. 20. Советский космонавт. 24. Любовная игра. 25. Стихотворная форма, возникшая во Франции в конце XIV века. 28. Настоящее название кинзы. 29. Советский вратарь по прозвищу Гаша, участвовавший в тайном матче футболистов в 1944 году в Москве. 31. Стоимость. 32. Кочевник. 33. Свойственное языку неразложимое словосочетание. 34. Носитель права. 38. Героиня в гоголевских «Вечерах на хуторе близ Диканьки». 39. Работник радио, телевидения. 42. Музыкальная нота. 44. Бантик, плюшка, розочка или улитка. 46. Ящерица, способная залезать на кусты. При опасности «тонет» в песке.



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 2—3

По горизонтали:

1. Жених. 4. Эннен. 9. «Ремингтон». 10. Вицмундир. 12. Звезда. 13. Колизей. 14. Темляк. 18. Ерик. 19. Подосиновик. 20. Ютта. 23. «Одалиска». 24. Чал. 26. Ямщикова. 27. Витим. 29. Перепел. 30. Данглар. 32. Кисет. 35. Борисфен. 36. ...«мир». 37. Гельмонт. 41. Репс. 42. Щитомордник. 43. Феба. 46. Агелад. 47. Родинка. 48. Гамбит. 51. Сикорский. 52. Аллегория. 53. Искра. 54. Нвнка.

По вертикали:

1. Жминда. 2. Нега. 3. Хлорофос. 4. Эниветок. 5. Нимб. 6. Нанаец. 7. Ветеринар. 8. Циклотрон. 11. Силикат. 12. Звено. 15. Крага. 16. «Воскресение». 17. Диамагнетик. 21. Фидеист. 22. Пиранья. 24. Чилим. 25. Лидер. 27. Век. 28. Мат. 31. ...крепление... 33. Симония. 34. Докембрий. 35. Бурка. 38. Тракт. 39. Горошина. 40. Одеколон. 44. Сапоги... 45. Чакона. 49. Усик. 50. Шеин.

ТАНЦУЮЩИЙ ИСО



КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВ
ФОТО АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВА

Тьфу, тьфу — через левое плечо. Если обойдется без травм, Исраэл (Исо, как зовут его друзья) Акопкохян в 31 год выступит на втором в своей жизни чемпионате мира*. Он заслужил...

* Акопкохян стал серебряным призером.

Визитная карточка: Исраэл Акопкохян, 1960 г. р., заслуженный мастер спорта, выпускник Ереванского инфизкульта, чемпион мира 1989 года, трехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира-85, победитель Игр доброй воли в Сиэтле и Москве, лауреат Спартакиады народов СССР, на чемпионатах страны побеждал шесть раз. Самый титулованный советский боксер последнего десятилетия.

— Исо, твою манеру боксировать не перепутаешь ни с какой другой. Нетрадиционная стойка, руки опущены. Словно вызываешь соперника: попробуй, попади... На моей памяти только два боксера, позволявшие себе на ринге держаться столь вызывающе открыто: кумир шестидесятых годов Виктор Агеев и олимпийский чемпион Мюнхена Борис Кузнецов. Ну, из профессионалов, безусловно, Кассиус Клей. Их стиль наложил отпечаток на твое понимание кулачного боя?

— Никого из этих выдающихся спортсменов на ринге мне, к сожалению, увидеть не довелось... Природа моя такая — никогда не хотел быть как все. Из-за этого терпел немало в жизни неприятностей. Начальники любят, чтоб все люди одинаковые были. Одинаковыми управлять легко...

Заниматься спортом я начал поздновато, в 14 лет. (До этого ходил в студию народного танца. Я и сейчас без конца могу танцевать...) Маленький был, сорока килограммов не весил. Но драчливый. Мама и говорит: «Слушай, сынок, иди в секцию бокса, чувствую, там твоя энергия в дело пойдет». Я пошел в детскую спортивную школу — меня не взяли. Не понравился чем-то. А в Доме культуры, где танцевал, тоже была маленькая секция, ее вел нынешний мой тренер Роберт Оганесян. Некоторое время я и танцевал, и боксировал...

— Так вот откуда своеобразность стиля, поразительная легкость...

— Наверное. Но когда пришли первые успехи, ринг потеснил танцкласс. Я выиграл чемпионат республики по юношам, а меня не взяли на Союз. Говорили: «Разве это боксер — циркач какой-то. Правша, а стоит в стойке левши». Потом я снова побеждал, и им уже некуда было деться, брали. Вскоре я стал чемпионом мира среди молодежи.

— Я слышал от специалистов, что это раньше, мол, Акопкохян числился исключительно «игровиком», а в последние годы у него прорезался и мощный удар.

— Мне дают возможность правильно тренироваться, и поэтому я стал бить сильнее. Скажу без обиняков, я себя неуютно чувствовал в прежней сборной, которой руководил Артем Лавров. От этой смеси казармы с детским садом с души воротило... И еще постоянно всех беспокоил мой возраст. Когда в 1989 году команду возглавил Константин Копцев, я спросил его напрямую: «Вас что интересует — сколько мне лет или как я боксирую?» Он мне ответил четко и однозначно: «Выиграешь Союз, будешь драться на мире». И я не упустил ни первый, ни второй шанс.

— Ты женат?

— Нет, холост. Те девушки, которые мне всерьез нравились, предпочитали других парней. Что я могу поделать?

— Да, женщины, они такие, непредсказуемые. А чем занимаешься в свободное время?

— Читаю. Хожу в гости к малышам из детского дома. Я бы хотел хоть немного заменить им, бедным, отца.

— В профессиональный бокс не собираешься перейти?

— За рубеж, в профи, меня зовут с 1985 года. Не хочу. Не могу. Десять дней каждый месяц должен жить в Ереване — иначе тоскую. А кто ж из капиталистов на это пойдет? На одних билетах прогоришь...

— А что ты такого «перченого» наговорил депутатам армянского парламента в прямом эфире республиканского телевидения? Даже до Москвы слухи дошли...

— Сказал, что, если у них своего ума не хватает, пусть ко мне придут займут. С русскими, сказал, всю жизнь дружили и дальше надо дружить. С ними поссоримся, с кем дружить будем?..



МИХАИЛ ЛАРИОНОВ. Венера и Михаил.

Провинциальная кокетка.

(Читайте стр. 60)

ИНДЕКС 70820.



Ростропович.

Муза.

Композиция.

Достоевский.

Работы скульптора МИХАИЛА ГРИЦЮКА. (Читайте стр. 174)